

Записки коменданта Кремля

Мальков П. Д. Записки коменданта Кремля. — М.: Воениздат, 1987.

Аннотация издательства: Книга «Записки коменданта Кремля» создана П. Д. Мальковым в творческом содружестве с кандидатом исторических наук А. Я. Свердловым. Павел Дмитриевич Мальков — член Коммунистической партии Советского Союза с 1904 года, активный участник февральской революции и Великой Октябрьской социалистической революции. Через несколько дней после победы Октября он был назначен комендантом Смольного, а с переездом Советского правительства в марте 1918 года в Москву — комендантом Московского Кремля. На этом почетном посту Мальков оставался в плоть до лета 1920 года. Затем был на ответственной хозяйственной и советской работе. П. Д. Мальков был участником а свидетелем многих исторических событий в Октябрьские дни и в первые годы советской власти. Его память сохранила ряд интересных эпизодов, малоизвестных широкому читателю. Работа в качестве коменданта Московского Кремля давала ему возможность часто встречаться с В. И. Лениным и другими видными деятелями Советского государства. С особой теплотой и любовью рассказывает автор о Владимире Ильиче Ленине. Отдельные черты и детали, порой, казалось бы, незначительные, помогли автору создать зримый, яркий образ Владимира Ильича — вождя и человека. По роду своей деятельности П. Д. Мальков был больше всего связан с Я. М. Свердловым, Ф. Э. Дзержинским, В. А. Аванесовым, выполнял их задания. В книге он рассказывает о пламенных большевиках, об их неутомимой работе в годы становления Советской власти. В основу книги положены личные воспоминания П. Д. Малькова, при работе над книгой использованы архивные документы из личного архива автора, а также периодическая печать 1917–1919 годов.

Часть I.

Петроград, Смольный

Было это так...

Выполнив очередное задание Военно-революционного комитета, я вернулся в Смольный. В широких коридорах вчерашнего Института благородных девиц бурлил и клокотал, как и все последние дни, нескончаемый человеческий поток. Взад и вперед стремительно проходили и пробегали люди в простых пальто или пиджаках, в матросских бушлатах, в солдатских шинелях. Некогда чинная тишина величественного здания сменилась неумолчным гулом голосов, лязгом оружия, топотом ног, обутых в грубые ботинки, в солдатские башмаки, в яловые сапоги. Здесь, в Смольном, был штаб революции, здесь билось ее пламенное сердце, отсюда пульсирующими токами по всей необъятной стране расходились декреты, приказы, распоряжения молодой, только что родившейся Советской власти, первой в мире власти рабочих и крестьян. Здесь, в Смольном, неустанно, напряженно, страстно работал могучий мозг революции, здесь был Ленин!..

Едва я прошел мимо стоявших у входа в Смольный пулеметов, предъявив часовым свой пропуск, как меня охватила атмосфера обычной деловой суеты. Вот навстречу быстро прошел, бросив мне на ходу пару слов, наш балтиец Вахрамеев, всего день назад избранный председателем Военно-морского революционного комитета. Чуть не наскочил на меня с разбегу начальник вооружения Красной гвардии Путиловского завода Маклаков и, пожав мне крепко руку, промчался дальше. В одной из дверей мелькнули черная блестящая кожаная куртка, густая копна волос и пенсне на широкой темной тесьме члена Военно-революционного комитета Варлама Александровича Аванесова...

Я направился на третий этаж, где помещался Военно-революционный комитет.

— Товарищ — Мальков, минутку! — раздался за моей спиной знакомый голос. — Ты-то мне и нужен.

Я обернулся. Передо мной стоял председатель Военно-революционного комитета при Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов Николай Ильич Подвойский.

Невольно вытянувшись (как-никак без малого шесть лет царской службы матросом на флоте не шутка!), я отчеканил:

— Есть Мальков, товарищ Подвойский!

Николай Ильич, профессиональный революционер-большевик, до революции был глубоко штатским человеком. Однако, поставленный партией сразу же после Февраля во главе Военной организации большевиков, он быстро приобрел облик заправского военного. Высокий, стройный, неизменно собранный, энергичный и по-военному подтянутый, Подвойский производил впечатление кадрового военачальника, настоящего строевика.

Пристально глядя мне прямо в глаза, как он всегда делал, Николай Ильич заявил:

— Вот и хорошо, товарищ Мальков, что встретились. Я как раз сейчас велел тебя разыскать. Решено назначить тебя комендантом Смольного. Принимай дела — и за работу!

Я опешил.

— Позвольте, Николай Ильич, ну какой из меня комендант? Я же простой матрос, дела этого я не знаю, не сумею. Тут ведь опыт нужен. Комендант Смольного! Шутка ли?!

Решительно, сверху вниз взмахнув рукой, как бы отрубая, отбрасывая мои возражения, Николай Ильич перебил:

— Сам знаю, что быть комендантом Смольного не шутка. И что опыта у тебя подходящего нет — тоже знаю. Только у кого же из нас есть этот самый опыт? Думаешь, я всю жизнь войсками командовал? Никогда не командовал, а теперь командую — надо! Раз тебя назначаем, значит, доверяем, вот и оправдывай доверие. А опыт придется на работе наживать. Главное — помни, что ты не простой матрос, а большевик и любое задание партии должен выполнить.

Не слушая дальнейших возражений, Николай Ильич потащил меня в Военно-революционный комитет, заседавший в эти дни почти беспрестанно, и тут же было принято решение о назначении меня комендантом Смольного. Так начался для меня день 29 октября 1917 года, так началась моя работа в Смольном.

* * *

Николай Ильич Подвойский был, конечно, прав, говоря об отсутствии у большевиков опыта государственной, административной, командной работы. Да и откуда было в октябре 1917 года, в первые дни и месяцы советской власти этому опыту взяться?

Свергнув власть помещиков и капиталистов и приступив к строительству первого в мире социалистического государства, рабочий класс и беднейшее крестьянство нашей Родины вручили власть в стране партии большевиков, партии, которая десятилетиями готовила народные массы к решающим боям, возглавила их в дни Октябрьского штурма и привела к победе.

Народными комиссарами, командующими вооруженными силами Республики, руководителями промышленности стали испытанные большевики, лучшие представители славной большевистской гвардии, ближайшие соратники и ученики Владимира Ильича Ленина. Руководителями различных ведомств и учреждений, банков и предприятий, командирами и комиссарами дивизий, полков и боевых кораблей стали вчерашние рабочие, солдаты и матросы — большевики. Ни у кого из них, даже ближайших сподвижников Ленина, не было и не могло быть опыта государственной работы. Но было другое — был опыт многолетней борьбы а самой гуще народных масс, опыт организаторов и вожаков трудящихся, агитаторов и пропагандистов. Вооруженные этим опытом, возглавляемые великим Лениным, большевики овладевали и овладели искусством государственного управления, постигали и постигли сложное дело руководства промышленностью, финансами, сельским хозяйством, вооруженными силами первой в мире Республики рабочих и крестьян.

Среди других рядовых большевиков, которых партия двинула после победоносного Октябрьского восстания на различные участки государственной, хозяйственной и военной работы, оказался и я, матрос первой статьи Балтийского флота, член большевистской партии с 1904 года Павел Мальков, ставший теперь, после Октябрьского переворота, комендантом Смольного.

Позади осталась работа в большевистских подпольных организациях, участие в революции 1905 года, царская тюрьма. Позади — годы флотской службы и революционной работы среди моряков Балтики, Февральская революция, Центробалт и, наконец, Октябрь!

В преддверии Октября

Во флот я попал в 1911 году, когда был призван на военную службу в царскую армию. Направили меня в Гельсингфорс, где была тогда стоянка одного из отрядов Балтийского флота, на крейсер «Диана». На этом корабле я и прослужил матросом вплоть до Октябрьской революции.

Вскоре после моего прихода на «Диану», в начале 1912 года, мы встали на ремонт в Кронштадте, где находилась ремонтная база. Кронштадт в то время был революционным центром Балтийского флота. Население его составляли моряки, рабочие судоремонтных заводов да многочисленный портовый люд. Среди кронштадтцев было немало большевиков, поддерживавших регулярную связь с Питером, с Петербургским комитетом большевиков.

Кронштадтцы, ездившие в Петербург, и питерские рабочие, приезжавшие в Кронштадт, нередко привозили большевистские листовки, а потом, когда начала выходить газета «Правда», и ее. Они знакомили нас с политическими событиями, помогали вести работу на кораблях.

Летом 1914 года грянула мировая война, Обстановка сразу резко изменилась. Боевые корабли в Кронштадте стали бывать редко, связь у матросов с берегом нарушилась, да и с командами других судов поддерживать связь стало куда труднее. Суда уходили на боевые задания мелкими группами, значительную часть времени находились в плавании, а когда и возвращались на основные базы — в Гельсингфорс, Або, Ревель, — матросов на берег почти не пускали.

Трудно было в таких условиях встречаться с товарищами, вести партийную работу. И все же к середине 1915 года на ряде кораблей возникли крепкие большевистские группы, налаживалась связь между ними.

Однако развернуть работу как следует не удалось. В декабре 1915 года большевистская организация Балтийского флота была обезглавлена. Царская охранка выследила и арестовала Ховрина, Сладкова, Филиппова, ряд других активных большевиков-балтийцев. Установившиеся было связи оборвались. Каждому из уцелевших большевиков пришлось вести работу у себя на корабле чуть не в одиночку, на свой страх и риск, без достаточной помощи, без столь нужной партийной литературы.

Между тем чем дальше тянулась война, тем больше росло недовольство среди моряков, тем сильнее становилось революционное брожение в матросской массе.

В 1915–1916 годах то на одном, то на другом корабле вспыхивали волнения. Матросы линейного корабля «Гангут» в октябре 1915 года подняли мятеж. Это выступление было жестоко подавлено. Команду «Гангута» расформировали, несколько сот моряков отправили в штрафные части, в пехоту, а человек пятнадцать — двадцать пошло на каторгу.

По приказу командующего флотом на подавление мятежа были посланы команды разных судов. Получил приказ выделить людей на эту операцию и командир «Дианы» капитан первого ранга Иванов 7-й{1}. Однако командир нашего корабля уклонился от исполнения этого приказа. Он доложил командующему флотом, что крейсер только что пришел из похода, команда устала, надо проводить генеральную уборку и выделить людей трудно. Так и сошло. Матросы «Дианы» в усмирении мятежа не участвовали.

В 1916 году чуть не вспыхнули волнения и у нас, на «Диане». Все началось с солонины. Однажды нам на обед дали борщ из гнилой солонины. Матросы возмутились. Команда дружно отказалась от обеда. По тем временам это был настоящий бунт. Трудно сказать, чем бы все это кончилось при другом командире. Но командир «Дианы» Модест Васильевич Иванов, хоть и был офицером высокого ранга, относился к матросам вполне по-человечески. Да и огласки боялся, не хотел скандала. По его приказу весь личный состав корабля выстроили на верхней палубе. Командир «Дианы» вышел к команде в парадной форме, при ордене.

— Мне, — заявил он торжественно, — в условиях военного времени дана неограниченная власть. В случае бунта могу даже взорвать судно. Но пользоваться своей властью сейчас не буду. Сами, надеюсь, одумаетесь.

— Зачинщиков я не ищу, — закончил Иванов 7-й, — беспорядки приказываю прекратить. Если не кончите, пеняйте на себя. Тогда обязательно найду, кто заварил эту кашу, и всех повешу на клотике. Вверх ногами! Так и знайте.

— Угроза командира кое на кого подействовала, настроение спало, да и кормить стали лучше.

Конфликт кончился мирно.

Хотя выступления на отдельных судах и были разрозненны, хотя они жестоко подавлялись, но ни полностью предотвратить их, ни скрыть от всего флота царское правительство и командование были уже не в силах. Революционный подъем среди матросской массы рос и ширился, перекачивался с корабля на корабль. Над Балтийским флотом гремели грозные раскаты нараставшей революционной бури.

...В конце февраля 1917 года по боевым кораблям, сосредоточившимся после окончания навигации в Гельсингфорсе, поползли слухи о революционных выступлениях питерских рабочих и солдат, о волнениях в Кронштадте, в Ревеле. Слухи становились все настойчивей, все упорней, передавались от матроса к матросу, с корабля на корабль. С каждым часом, с каждой минутой нарастало напряжение. Толчком к взрыву послужил приказ командующего флотом Балтийского моря адмирала Непенина, в котором сообщалось об отречении Николая II от престола и переходе власти в руки Временного комитета Государственной думы. Ненавистный адмирал заявлял, что в Ревеле, мол, начались беспорядки, но он, командующий, «со всем вверенным ему флотом откровенно примыкает к Временному правительству» и в Гельсингфорсе не допустит никакого нарушения порядка, никаких демонстраций и манифестаций.

Приказ Непенина зачитали на кораблях 3 марта, и в тот же вечер поднялся весь флот, стоявший в Гельсингфорсе.

Застрельщиками выступили матросы «Андрея Первозванного». Поздним вечером на клотике броненосца ярко засияла красные лампы. Восставший корабль просемафорил всей эскадре: «Расправляйтесь с неудобными офицерами. У нас офицеры арестованы». Вслед за «Андреем Первозванным» поднялись и другие; красные лампы загорелись на всех боевых кораблях.

У нас на «Диане» было тогда всего трое большевиков: Марченко, Манаенко и я. Мы сразу же захватили инициативу в свои руки, и Манаенко поднял красную лампу на нашем, корабле. Тут же мы разоружили всех офицеров и загнали их в кают-компанию, где и заперли. Ни один из офицеров не рискнул оказать сопротивление.

4 марта утром «Андрей Первозванный» поднял сигнал: «Выслать по два делегата от каждого судна на берег». Со всех судов двинулись на берег делегаты. Пошли и мы с «Дианы» (я был одним из делегатов). Это было первое собрание делегатов всех судов. На собрании был создан Совет депутатов. В тот же день на всех кораблях были избраны судовые комитеты. Делегаты с судов рассказывали на собрании о зверствах отдельных офицеров, ярых приверженцев самодержавия, об издевательствах, которые они чинили над матросами. Наиболее злостные из них по приговору команд были расстреляны. Приговор привели в исполнение прямо на льду, возле транспорта «Рига». С «Дианы» были расстреляны двое: старший офицер и старший штурман, сущие изверги. Остальные офицеры в тот же день, 4 марта, были освобождены на всех кораблях и вернулись к исполнению своих обязанностей.

Лютой ненавистью ненавидели матросы командующего флотом адмирала Непенина, прославившегося своей жестокостью, своим бесчеловечным обращением с матросами. Когда утром 4 марта Непенин отправился в сопровождении своего флаг-офицера лейтенанта Бенклевского в город, на берегу их встретила толпа матросов и портовых рабочих. Из толпы загремели выстрелы, и ненавистный адмирал рухнул на лед.

В Гельсингфорсе был установлен твердый революционный порядок. По всем улицам стояли матросские патрули. Не было ни грабежей, ни насилий, не было никаких хулиганских выходов, ни одного серьезного инцидента. Несмотря на то, что стояли еще лютые морозы, а моряки ходили в бушлатах, ботинках да бесkozырьках, никто не отказывался идти на дежурство, не пропускал своей очереди.

Греха таить нечего — среди матросов водились любители выпить. Но в эти дни их словно подменили.

Начальник местного жандармского управления генерал Фрайберг попытался было спойть моряков, внести разложение в их среду. Числа 5–6 марта по его распоряжению в Гельсингфорс доставили несколько цистерн спирта. Жандармские агенты начали рыскать среди матросов и подбивать их на разгром вокзала, убеждая матросов захватить цистерны и поделить спирт. Никто, однако, на эту провокацию не поддался. Спирт конфисковали, а Фрайберга и его подручных арестовали.

Был у меня на «Диане» приятель Егор Королев, большой любитель выпить. Встречаю его как-то на палубе. Настроение, вижу, у него приподнятое, вид возбужденный.

— Чего это, — спрашиваю, — с тобой случилось? Вроде как бы ты сам не свой.

— Да понимаешь, какое дело... Ходил сейчас с ребятами на вокзал, спирт захватывать.

— А, ну тогда ясно. Хватанул, значит, там как следует.

Егор разъярился, даже побагровел:

— Ты что, очумел? Нешто сейчас время пить? Никто из ребят и капли в рот не взял. Все чин по чину. Вагоны со спиртом мы захватили и охрану выставили, чтоб всякой шантрапе неповадно было. Ну, думаю, раз Егорка от дарового спирта отказался, значит, понимает что к чему.

Февральская революция внесла в жизнь флота коренные перемены. Широкие матросские массы втягивались в гущу политической жизни. К политике потянулись все. Не было, кажется, ни одного балтийца, который остался бы в стороне от нее. На кораблях и на берегу постоянно шли собрания, митинги. Уже 5 марта был создан Совет депутатов армии, флота и рабочих Свеаборгского порта, переименованный в апреле в Гельсингфорсский Совет депутатов армии, флота и рабочих. Избирались комитеты и на судах. В середине апреля был образован Центральный Комитет Балтийского флота, или Центробалт, вставший во главе всех флотских комитетов Балтийского моря.

Первый состав Центробалта не избирался на съезде, просто наиболее крупные суда делегировали в комитет своих представителей. Известное количество мест было предоставлено Кронштадту, Ревелю и другим базам Балтийского флота. С «Дианы» в состав Центробалта делегировали меня, потом я избирался уже на съездах моряков Балтийского флота и оставался членом Центробалта вплоть до ноября 1917 года, до своего перехода на работу в Петроград.

С первых же дней революции большевики развернули по всему флоту самую энергичную, живую работу.

Почти на всех кораблях уже к середине марта оформились большевистские партийные организации и образовался Главный судовой коллектив РСДРП (б). Крепкую помощь нам оказала группа товарищей, приехавших в Гельсингфорс из Кронштадта: Ильин Женевский, Пелихов, Жемчужин. Вернулись арестованные в 1915 году матросы-большевики Ховрин, Марусев.

В конце марта мы создали Свеаборгский матросский коллектив РСДРП (б), а в начале апреля провели первое Гельсингфорское общегородское собрание представителей большевистских партийных организаций от каждой организации было по одному, по два представителя. От большевиков «Дианы» нас было двое: я и еще один товарищ. Стояла уже весна. До берега мы добирались уже на шлюпках, а не по льду, как приходилось в первые дни революции.

Общегородское собрание представителей большевистских организаций избрало Гельсингфорсский комитет РСДРП (б). Каждую кандидатуру в состав комитета обсуждали самым придирчивым образом. Во время обсуждения кандидат должен был выйти из зала, где шло собрание, и возвратиться только тогда, когда все желающие высказывали о нем свое мнение. В комитет избрали Ховрина, Жемчужина, еще ряд товарищей. Выбрали и меня.

Незадолго до собрания, в последних числах марта, нам удалось наладить свою газету «Волна». 30 марта вышел уже первый номер.

Сначала «Волну» печатали в какой-то финской типографии, потом достали печатный станок и в помещении, где ранее находилось сыскное отделение, а после Февраля разместились Гельсингфорсский комитет большевиков и редакция «Волны», оборудовали свою небольшую типографию. Работали в газете Дмитриев, Жемчужин, Ильин-Женевский, другие товарищи, а также приехавшие из Петрограда работники, направленные к нам Центральным Комитетом большевиков.

«Волна» играла большую роль в завоевании матросской массы на сторону большевиков. Расходилась она по всем кораблям, по всему флоту. Отправляли мы ее и в Питер. Ехавшие в Петроград матросы прятали номера газеты в форменки, в штаны и доставляли их по назначению. Иначе провезти было нельзя: революция революцией, а в Белоострове, на границе Финляндии с Россией, стоял таможенный пост и большевистские газеты отбирал, хоть они и были легальными. Вот и приходилось прибегать к разным уловкам.

Средств для издания газеты поначалу не было, и мы решили создать железный фонд «Волны»: по кораблям пустили подписные листы и быстро собрали необходимую сумму. Деньги эти шли не только на газету, на них существовали и партийные работники, не служившие на кораблях, и представители ПК и ЦК, приезжавшие в Гельсингфорс. Часть денег посылали в ЦК. Сами мы — матросы, жили в это время скверно, с питанием было трудно, но на себя из собранных денег никогда не тратили ни копейки.

Постепенно наладилась регулярная связь с Петербургским и Центральным комитетами партии. В апреле в Гельсингфорс приехало несколько крупных партийных работников, направленных ЦК к нам на работу: Залежский, несколько позже Старк, другие товарищи. Особенно активно работал Залежский (партийная кличка у него была «Владимир»), он вскоре стал одним из руководителей Гельсингфорсского комитета большевиков. Постоянно бывали в Питере отдельные работники нашего комитета, не раз довелось бывать в Центральном Комитете и мне.

Впервые я был в ЦК в начале мая 1917 года. Мы приехали в Питер вдвоем с товарищем, тоже балтийцем, чтобы доложить Центральному Комитету о работе Гельсингфорсского комитета большевиков и получить указания.

Прямо с вокзала мы направились на Б. Дворянскую улицу, где в особняке бывшей царской фаворитки балерины Кшесинской, недалеко от Петропавловской крепости, разместились после Февральской революции большевистские организации. Там помещались Военная организация большевиков, Петербургский и Центральный комитеты партии.

Добравшись до дворца Кшесинской и выяснив у толпившихся в просторном зале солдат, где находится Центральный Комитет, мы поднялись на второй этаж. Вот и ЦК. Вошли. Смотрим — большая комната, шумно, много народу — солдаты, рабочие. Стоят маленькими группами, оживленно разговаривают. Мы сперва и решить не могли: к кому же обратиться, с кем разговаривать? Видим, у стола стоит человек, густые черные волосы, борода, пенсне. Говорит уверенно, энергично. К нему особенно внимательно прислушиваются.

Толкнул я в бок одного солдата, соседа, спрашиваю:

— Это кто же такой лохматый за столом? Солдат посмотрел на меня этак снисходительно и отвечает:

— Ты что, не знаешь, что ли? А туда же — матрос. Лохматый! Скажет тоже. Свердлов это. Яков Михайлович.

Между тем Яков Михайлович нас сразу заприметил. Кончил он беседу, выходит из-за стола — и к нам.

— Откуда, — спрашивает, — товарищи?

— От Гельсингфорсского комитета партии большевиков, — отвечаем.

— Ну вот и отлично, Рассказывайте, как у вас дела.

Стал он подробно нас расспрашивать о настроении на кораблях, в гарнизоне, в городе. Спрашивал, что делает комитет, как идет работа, кто входит в состав комитета. Интересовался людьми, расспрашивал, как работают Залежский и другие товарищи, направленные в Гельсингфорс Центральным Комитетом. Поинтересовался он и нами: давно ли в партии, во флоте, где работали до мобилизации. Слушал внимательно, пристально вглядываясь в собеседника, порой шутил, смеялся. Говорить с ним было легко. Вопросы он ставил четко, ясно. Советы и указания давал быстро, твердо, решительно. Кончили мы разговор, вышли от Якова Михайловича, мой товарищ и говорит: «Вот это человек! Боевой. Фамилия-то какая — Свердлов. Сверло, значит. Острое... Ну, да он и остер!»

С тех пор мы, балтийцы, приезжая в Питер, обычно бывали у Якова Михайловича Свердлова, от него чаще всего получали советы, указания.

Некоторое время спустя, в июне, там же, во дворце Кшесинской, в ЦК, я впервые встретил Владимира Ильича Ленина. Правда, говорить мне с ним тогда не довелось. Стоял я и беседовал о делах с кем-то из работников ЦК. Слышу, за моей спиной двое разговаривают. Вдруг одни, обращаясь к другому, называют его Владимиром Ильичем. Обернулся — Ленин! Оторопел я от неожиданности, смотрю во все глаза, а Ленин сказал что-то своему собеседнику, кивнул головой и вышел из комнаты...

* * *

Борьба за Балтийский флот развертывалась между тем вовсю. Матросы в своей массе слабо разбирались во всех тонкостях многочисленных платформ разных политических партий, многие причисляли себя к эсерам, на деле же сочувствовали большевистским лозунгам. Четкие и ясные требования большевиками о немедленном прекращении войны, о передаче земли крестьянам, введении 8-часового рабочего дня для рабочих отвечали самым сокровенным думам Матросов. Правда, в Гельсингфорсском Совете с первых дней революции большинство составляли меньшевики и эсеры, но и они вынуждены были прислушиваться к голосу матросов и нередко принимали наши большевистские резолюции.

Преобладание меньшевиков и эсеров в Совете объяснялось не только недостаточной политической зрелостью масс, но и тем, что среди меньшевиков и эсеров много было интеллигентов, людей образованных, хороших говорунов, умевших завоевать популярность. Всеми силами они стремились захватить «высокие посты» в Совете, в Центробалте, работу же непосредственно в матросской массе вели плохо, неохотно. В организационном отношении меньшевики и эсеры были слабы. У них постоянно царил разброд, смешивались всякие течения и направления. Не было у эсеров и меньшевиков ни должной спаянности, ни дисциплины. Действовали они часто кто во что горазд.

В отличие от меньшевиков и эсеров большевики с первых дней революции представляли собой крепкую, сплоченную организацию, проникнутую духом единства, спаянную партийной дисциплиной. Меньше всего каждый из нас думал о себе, все болели за общее дело. На первом

плане была у нас массовая работа. Большинство организации составляли простые матросы, кровно связанные с командами боевых кораблей, на которых служили. Народ нас знал, нам верил. Влияние большевиков быстро росло. У нас на «Диане», например, перед Февральской революцией было всего 3 большевика, а 20 апреля, когда мы провели первое собрание судового коллектива РСДРП(б), в нем участвовало уже до 120 матросов-большевиков. Приняли мы на этом собрании такую резолюцию: «Обратиться ко всем товарищам, еще не примкнувшим к какой-либо организации, к тем товарищам, которым дорога свобода, кто любит нашу многострадальную Русь, только что сбросившую с себя цепи рабства... кому дороги та кровь и те кости, на которых родилась и расцветает наша свобода, не медля ни минуты стать под знамена, на которых начертаны слова великого нашего учителя Карла Маркса: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Знаменитая нота министра Временного правительства Милюкова о продолжении войны «до решительной победы», опубликованная 19 апреля, через день стала известна в Гельсингфорсе и вызвала бурю возмущения. Под давлением народных масс меньшевистско-эсеровский Совет Гельсингфорса принял резолюцию, предложенную большевиками, и выступил с воззванием, где говорилось: «Временное правительство своей нотой изменило народу, настала пора убрать Временное правительство!» Гельсингфорсский Совет отправил срочную телеграмму Исполкому Петроградского Совета, в которой писал, что Гельсингфорсский Совет депутатов армии, флота и рабочих готов «всею своей мощью поддержать все революционные выступления Петроградского Совета, готов по первому указанию Петроградского Совета свергнуть Временное правительство».

Наша телеграмма не на шутку переполошила Временное правительство и его меньшевистско-эсеровских прихвостней из Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. В Гельсингфорс прикатила целая делегация от Петроградского Совета и начала уговаривать матросов. Временное правительство, мол, само ноту Милюкова не одобряет. Оно-де сделало уже ряд оговорок к этой ноте. Совет, дескать, не допустит, Совет не позволит, и всякое такое. Ну, матросы поверили и понемногу успокоились.

В мае в Гельсингфорс пожаловал сам военный и морской министр Керенский. Он намеревался объехать боевые корабли, выступить перед матросами. Одним из первых кораблей, куда направился Керенский, была «Республика». Ребята там были боевые, команда шла за большевиками. Когда появился Керенский, собрание потребовало от него ответа на ряд вопросов, которые были подготовлены заранее: «Скоро ли кончится война? Когда Временное правительство намерено заключить мир? Правда ли, что он, Керенский, голосовал в Государственной думе за продолжение войны?» Вопросов было много, и вес в таком духе. Как Керенский ни крутился, ответами его матросы, остались недовольны, и ему пришлось убраться несолоно хлебавши. Тогда он решил выступить в Гельсингфорском народном доме. Большой зал Народного дома заполнили представители местной буржуазии, они восторженно приветствовали Керенского. Зато галерка была сплошь наша — одни матросы. Едва Керенский взошел на трибуну, с галерки раздались оглушительный свист и крики. Отдельные голоса «чистой» публики, требовавшей дать возможность Керенскому говорить, тонули в невообразимом шуме и грохоте. Так моряки сорвал выступление новоявленного «вождя».

Разгневанный Керенский послал в Або, где стояла часть боевых кораблей, своего помощника по морским делам Лебедева. Тот должен был арестовать наиболее активных матросов-большевиков. Узнав о приезде Лебедева и его намерениях, матросы возмутились и решили задержать посланца Керенского. Плохо пришлось бы Лебедеву, попади он в руки матросов, но офицеры поспешили его предупредить, и он тайком удрал из Або на катере. Тогда Керенский приказал выдать зачинщиков, а матросы ответили: «Мы все зачинщики, бери всех!»

Крепла солидарность русских моряков с финскими рабочими. В начале апреля рабочие организовали в Гельсингфорсе на Сенатской площади митинг и потребовали 8-часового рабочего дня. Большевики решили поддержать финских товарищей: выпустили мы специальную листовку, призывали на митинг всех матросов. Часам к 11 утра на площади собралось несколько тысяч финских рабочих и не менее десяти тысяч матросов. Митинг получился внушительный. В это же время заседали финский Совет союза фабрикантов («Совет хозяев», как его называли) и сенат. Пока мы митинговали, они рассматривали требования

рабочих и решили их отклонить. Как только мы об этом узнали, поднялся на трибуну Кирилл Орлов, матрос:

— Товарищи! Там буржуи против наших братьев сговариваются. Что же мы, так это и допустим?

— Долой! — кричат моряки. — Требуем восьмичасового рабочего дня для финских рабочих!

Пусть сенат правильно решает, не то мы сами ему решение продиктуем!

Послали моряки в «Совет хозяев» и в сенат депутацию и предъявили ультиматум: «Давай закон о 8-часовом рабочем дне!» Это сразу подействовало. Хозяева приняли закон об установлении восьмичасового рабочего дня и через несколько минут огласили его во всеуслышание на площади, где матросы ожидали решения, продолжая митинговать. Только заслушав решение, мы закрыли митинг и грозной демонстрацией прошли по городу.

Крепли партийные организации на кораблях, становился силой на «Диане» и наш большевистский судовой коллектив. 14 мая мы провели общее собрание всей команды, на котором поставили на обсуждение вопрос о коалиционном правительстве. Собрание дружно приняло предложенную нами большевистскую резолюцию. В ней говорилось, что коалиционное правительство нужно буржуазии для спасения своего престижа и продолжения войны, ради чего капиталисты даже вошли в соглашение с Советом рабочих и солдатских депутатов и предоставили социалистам 6 мест из 16 в своем правительстве. Но это обман. Мы должны сами ковать себе счастье, и вся власть должна перейти в руки народа. К нашей резолюции присоединились команды линкора «Республика», канонерской лодки «Бобр» и других судов.

По мере роста большевистской организации и расширения нашего влияния в матросской массе все острее становилась нужда в опытных партийных работниках, большевистских руководителях. У нас не хватало умелых организаторов, опытных агитаторов, пропагандистов. Остро ощущался недостаток интеллигентных сил. Рядовым, зачастую малограмотным матросам, трудно было тягаться в словесных поединках с меньшевистско-эсеровскими краснобаями, имевшими в своем большинстве высшее образование. Нередко они забивали нас на многочисленных митингах и собраниях, происходивших чуть ли не ежедневно.

Правда, Центральный Комитет крепко помогал нам. Помимо товарищей, присланных в Гельсингфорс на постоянную работу, ЦК часто направлял к нам для выступления выдающихся партийных агитаторов — Николая Антипова (партийная кличка «Анатолий»), Александру Михайловну Коллонтай, пламенного оратора, пользовавшуюся огромной популярностью среди моряков. Но теперь этого было мало.

Как-то в конце мая товарищи поручили мне поехать в Петроград и обратиться в Центральный Комитет с просьбой о присылке в Гельсингфорс еще нескольких опытных партийных работников. Я отправился. Приехал в Питер, пришел во дворец Кшесинской, дождался Якова Михайловича и говорю: так и так, нужна помощь, просит Гельсингфорсский партийный комитет прислать еще нескольких товарищей покрепче.

Яков Михайлович глянул на меня, усмехнулся:

— Ну и жадный же вы народ, балтийцы, Залежского вам послали, еще кое-кого. На днях ПК направил Шейнмана. Правда, я его мало знаю, к нему еще надо присмотреться, но питерцы рекомендовали... Однако Балтфлот есть Балтфлот, а хоть туго у нас с людьми, хоть спрос на работников отовсюду огромный, кого-нибудь еще послать придется. Только кого?

Яков Михайлович на минуту задумался. Я молча ждал.

— Знаете что? — восторженно воскликнул Яков Михайлович. — Есть у нас на примете один работник, только-только вернулся из эмиграции — Антонов-Овсеенко. Правда, он одно время путался с меньшевиками. Во время войны ходил в интернационалистах, но сейчас примкнул к большевикам. Ильич его знает. Организатор он хороший и оратор неплохой. На матросских

митингах, где с меньшевиками и эсерами надо драться, он будет на месте. Мы тут его уже посылали кое-куда выступать — справился. Вот его, пожалуй, и пошлем вам в помощь.

Прошло несколько дней, и Антонов-Овсеенко приехал в Гельсингфорс. Он быстро включился во все наши дела и вскоре стал одним из активных работников Гельсингфорского комитета большевиков.

Оратором Антонов-Овсеенко был действительно неплохим и приехал как раз ко времени. Все чаще нам приходилось выдерживать жестокие стычки с эсерами. Порою дело доходило до кулаков (меньшевиков в Гельсингфорсе было мало, они влиянием не пользовались). Как-то явилась в Гельсингфорс делегация от Черноморского флота во главе с Федором Баткиным, именовавшим себя моряком-черноморцем. Этот Баткин был настоящим монархистом, черносотенцем, хотя и состоял в партии эсеров. Надо отдать ему должное, говорил он здорово, оратор был хоть куда.

По случаю приезда черноморцев созвали на центральной площади митинг. Народу собралось тьма, со всех судов. Тут-то Баткин и разошелся. Он начал честить большевиков на все корки, заявляя, что, мол, «у себя», на Черноморском флоте, они давно «избавились от этой заразы». Баткин ратовал за продолжение войны «до полной победы», требовал безоговорочной поддержки Временного правительства. Большевики не растерялись. Выступил от нас Антипов и задал Баткину жару. Черноморцы, видя, что дело их плохо, полезли на Антипова с кулаками. Да не тут-то было. Мы окружили Антипова плотным кольцом и говорим черноморцам: «Проваливайте, покуда целы!»

Пошумели те было, пошумели, да и убрались подобру-поздорову.

В дни, когда в Петрограде заседал I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, мы провели на линейном корабле «Петропавловск» собрание судовых комитетов большинства стоявших в Гельсингфорсе кораблей и вынесли решение: потребовать от съезда Советов удаления десяти министров-капиталистов и передачи всей власти Всероссийскому Совету рабочих и солдатских депутатов. Выдвигались и другие требования: предать суду Николая Кровавого, распустить Государственный Совет и Государственную думу, арестовать всех reactionеров и опубликовать тайные договоры, заключенные Николаем II и буржуазией с союзными державами. Резолюция судовых комитетов была насквозь проникнута большевистским духом.

* * *

Тем временем надвинулись июльские события. 4 июля, едва до Гельсингфорса дошли известия о происходящей в Петрограде демонстрации рабочих, солдат и матросов, сразу же собрался Центробалт совместно с судовыми комитетами. Была принята резолюция с требованием передачи всей власти Советам. На этом же собрании решили послать в Петроград специальную делегацию. Делегация отправилась из Гельсингфорса 5 июля на миноносце «Орфей», когда в Петрограде уже вовсю распоясалась контрреволюция. По прибытии в столицу все наши делегаты были арестованы. Ночью 6 июля в Петроград отправилась вторая делегация на миноносце «Громящий» во главе с председателем Центробалта Павлом Дыбенко, но и ее постигла та же участь, что и первую делегацию.

Временное правительство перешло в наступление. Двоевластие кончилось. Опираясь на поддержку меньшевиков и эсеров, контрреволюционная буржуазия захватила власть в свои руки.

7 июля Керенский издал приказ о роспуске прежнего состава Центробалта и назначил новый, где было полное засилье эсеров и меньшевиков. Большевиков в этом составе Центробалта оказалось считанное количество.

Временное правительство опубликовало распоряжение об аресте Ленина. Вся буржуазная пресса подняла истошный вой, возводя чудовищную клевету на Ленина, на большевистскую партию. Ей вторили соглашательские газеты, обвиняя большевиков в заговоре против Советов. Распоясались всякие агитаторы из контрреволюционеров. В Гельсингфорсе, да и не только в Гельсингфорсе, неустойчивая часть матросов заколебалась. Кое-кто растерялся, кое-кто поверил злобной клевете врагов революции. Подняли голову всякие негодяи, которые после Февральской революции затаились и до поры помалкивали.

У нас на «Диане» был телеграфист, сын какого-то управляющего имением. До июля он молчал, прикидывался «своим», а тут разошелся. Он бегал от матроса к матросу и всех уговаривал: «Малькова нужно за борт бросить!»

15 июля была разгромлена «Волна» и арестован ряд гельсингфорских большевиков: Антонов-Овсеенко, Старк, другие. Однако разгром «Волны» и арест наших товарищей сослужили плохую службу буржуазии. У матросов быстро стали открываться глаза, Загнать нашу партию в подполье в Гельсингфорсе так и не удалось. Кричать контрреволюционеры кричали, а трогать нас боялись, знали, что матросы своих товарищей-большевиков в обиду не дадут.

Как раз в канун июльских событий я выехал по заданию Гельсингфорского комитета большевиков в провинцию и в Петроград попал только в середине июля. Узнав об аресте Дыбенко и других балтийцев, я решил повидаться с товарищами. Свидания мне, конечно, не разрешили, хорошо, что самого не схватили, и я, не задерживаясь в Питере, отправился в Гельсингфорс.

Работа там кипела. Уже через неделю после закрытия «Волны» Гельсингфорский комитет большевиков обратился к командующему флотом Балтийского моря контр-адмиралу Развозову с требованием немедленно снять печати с нашей типографии и вернуть комитету все партийное имущество, захваченное властями при налете на редакцию «Волны».

Несколько дней спустя мы наладили выпуск новой газеты. Назвали ее «Прибой».

А тут начался корниловский мятеж. Балтийские моряки дружно поднялись на защиту революции. Силами питерских рабочих, солдат и балтийских моряков, возглавляемых большевистской партией, мятеж был подавлен в течение нескольких суток.

Отношения между Балтийским флотом и Временным правительством становились все более напряженными. Дело шло к прямому столкновению. В конце августа Временное правительство дало разрешение на выезд за границу царской фрейлине Врубовой и каким-то царским сановникам, но на пограничной станции Рахимяки Вырубову с компанией задержала матросская застава и доставила в Гельсингфорс, откуда их отправили в Свеаборгскую крепость. Это было уже прямым неподчинением Временному правительству.

Дальше — больше. Вскоре после разгрома корниловщины, в начале сентября, большевики провели в Центробалте решение поднять на всех судах красные флаги в знак протеста против декрета Временного правительства, наименовавшего Россию Российской республикой, без упоминания Демократической. Вслед за этим была принята резолюция, в которой говорилось, что Центробалт «стоит за передачу власти Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».

В эти дни, оставшись как-то с глазу на глаз со мной и Дмитриевым, Залезский сказал:

— Имейте в виду, ребята, сейчас здесь, в Гельсингфорсе... Ильич.

— Ильич?! Здесь?

— Да, здесь. Только — молчок, никому ни гугу. Ильич, конечно, живет нелегально. Вам я вот почему сказал: надо быть наготове. Адрес я вам пока не скажу, незачем, а вот оружие держите всегда при себе да отлучайтесь из комитета поменьше, будьте под руками, чтобы в случае нужды мигом поспеть куда потребуется. Куда — тогда скажем.

Мы с Дмитриевым, еще несколько ребят, крепких большевиков, после того разговора почти не смыкали глаз. Все посматривали на Залежского — не надо ли чего? Но все было спокойно. Ильич был укрыт надежно, никто его не тревожил, и наше вмешательство не понадобилось.

25 сентября собрался 2-й съезд представителей Балтийского флота, потребовавший немедленного созыва Всероссийского съезда Советов и передачи всей сласти Советам.

В своей резолюции съезд прямо заявил:

«2-й съезд представителей Балтийского флота требует от Центрального Исполнительного Комитета немедленно созвать Всероссийский съезд Советов; в случае отказа съезд предлагает Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов взять на себя инициативу созыва Всероссийского съезда Советов, который и должен взять власть в свои руки».

Представители Балтийского флота выступили уже не только против Временного правительства, но и против меньшевистско-эсеровского ЦИКа.

Тем временем большевики вновь прочно взяли руководство Центробалтом в свои руки и решительно повернули Центробалт на большевистские рельсы. Из тюрьмы были выпущены, вернулись в Гельсингфорс и возобновили работу Дыбенко и другие товарищи, арестованные Временным правительством 7 июля.

В середине октября Центробалт принял постановление об организации на всех крупных кораблях постоянных боевых взводов, которые были бы готовы выступить по первому требованию Центробалта и выполнить любое его распоряжение. Надвигались решающие дни.

Штурм

Под напором народных масс Центральный Исполнительный Комитет Советов рабочих и солдатских депутатов вынужден был принять решение о созыве II Всероссийского съезда Советов. Съезд сначала был назначен на 20, затем отодвинут на 25 октября 1917 года.

Балтийские моряки избирали своих депутатов на Всероссийский съезд Советов 4 октября на одном из заключительных заседаний 2-го съезда представителей Балтийского флота. 19 октября Центробалт провел дополнительные выборы делегатов на Всероссийский съезд Советов; среди избранных оказался и я. В тот же день состоялось большое заседание Центробалта совместно с делегатами матросских собраний, судовых и ротных комитетов. На этом заседании мы решили власти Временного правительства больше не признавать и его распоряжений не выполнять.

Ребята, матросы, узнав, что я избран на съезд и должен буду поехать в Питер, наказывали мне: «Скажи в ЦК, чего тянут? Начинать пора. Если Питер не начнет, сами выступим. Готовы. Так и передай». Уехал я в Питер 20 октября. Гельсингфорсский комитет партии в Центробалт, не ожидая открытия съезда Советов, послали меня для связи с ЦК большевиков. Дали мне и еще одно поручение: забрать царскую яхту «Штандарт», стоявшую на Неве, и отправить ее в Кронштадт, откуда она должна была быть доставлена в Гельсингфорс. Нужна нам была радиостанция, имевшаяся на яхте, да и сама яхта могла пригодиться для нужд Центробалта.

Дело это оказалось не легким. Для отправки яхты в Гельсингфорс нужна была поддержка Центрофлота, находившегося в Питере, в Адмиралтействе, так как штаб категорически запретил уводить яхту с Невы. Однако в Центрофлоте заправляли меньшевики и эсеры, и, когда я обратился туда за помощью, они встали на дыбы.

Что делать? Решил я тогда отправиться в Кронштадт. Там народ свой, большевики. Уж кто-кто, а кронштадтцы помогут!

Добрался я до Кронштадта благополучно — и прямо в комитет большевиков. Пришел: что такое? Никого из знакомых на месте нет, все куда-то спешат, торопятся. По одному, по два, целыми группами заходят матросы, шумят, перекинутся несколькими словами — и скорее в порт, на корабли. Настроение у всех приподнятое, возбужденное. Стараюсь по обрывкам фраз понять, в чем дело, вдруг вижу Людмилу Сталь, активного работника питерской большевистской организации, с которой не раз приходилось встречаться летом в Секретариате ЦК. Я сразу к ней:

— Товарищ Сталь, хоть вы толком объясните, чего кронштадтцы так взбудоражились?

— А вы что, в Гельсингфорсе ничего не знаете?

— Как, — говорю, — не знаем?! Знать-то кое-что знаем. К восстанию готовы. Но когда? Может, пора? Я из Гельсингфорса, почитай, два дня как уехал, все в Питере по приемным пороги околачивал, вот и поотстал.

— Да, — говорит Сталь, — действительно, вы не в курсе дел. Кстати, по каким это приемным вы там околачивались? Зачем?

Рассказываю ей о своих неудачах со «Штандартом», а в голове мысли: что значит не в курсе дел? Может, в самом деле, пора начинать?

Сталь выслушала меня и говорит:

— Зря вы, товарищ Мальков, сюда приехали. Никто вашей яхтой заниматься в Кронштадте не будет, не до нее сейчас.

Я вспыхнул.

— Как это то есть моей? Да по мне пропади этот «Штандарта пропадом. Но есть приказ Центробалта, и я этот приказ выполнять должен...

— Вот и хорошо, и выполняйте. Подберите сами несколько человек познергичнее и действуйте. Только действуйте решительнее, по революционному, а не ходите по канцеляриям.

Кронштадтцы же возбуждены потому, что по лучено указание Центрального Комитета приводить народ в боевую готовность и с минуты на минуту ждать сигнала.

Дальше расспрашивать я не стал. Все стало ясно. Не теряя времени, я поспешил в Петроград и сразу отправился на «Аврору», рассчитывая на помощь товарищей: со «Штандартом»-то надо скорее кончать и браться за дела посерьезнее. Еще в Центрофлоте, ругаясь с эсерами, я грозил им: «Не поможете, пойду на «Аврору»!» В тот момент я сам особого значения своей угрозе не придавал, ну чем, в самом деле, могли помочь мне авроровцы? Теперь положение изменилось: со дня на день выступаем, пора действовать по-революционному!

С этим я и явился на «Аврору». Товарищи встретили меня радушно, выслушали, посочувствовали, но выделить людей отказались. Не можем, говорят, ждем приказа от Военно-революционного комитета, того и гляди будем пары поднимать и двигаться вверх по Неве, к центру города. Каждый человек должен быть на месте^{2}.

Стоим мы на палубе крейсера, разговариваем, вдруг видим — катит броневик, за ним движется около роты юнкеров. Впереди — прапорщик. Подошли к «Авроре», прапорщик и кричит:

— Эй, на корабле. Там у вас Мальков, член Центробалта, есть?

— Есть, здесь он,— отвечает один из авророацев, — а тебе зачем?

— По приказу Верховного главнокомандующего Керенского мы арестуем Малькова. Пусть немедленно сойдет сюда и следует с нами!

Ну, тут такой шум поднялся, не приведи господи.

— Ишь ты, — кричат ему, — какой прыткий! Может, сам сюда поднимешься, мы тебе покажем такого верховного, что маму родную не узнаешь!..

Прапорщик рассвирепел:

— Это что, измена? Немедленно выдать Малькова, не то силой возьму!

— Силой? А ну, попробуй!

Прапорщик повернулся к своим юнкерам, что-то скомандовал; смотрим, те берут винтовки на изготовку, а броневик начинает поворачивать башню с пулеметом. Авроровцы рассердились не на шутку. Несколько человек бросились к орудиям и стали наводить их на юнкеров. Едва те увидели грозные жерла орудий, направленные на них в упор, их будто ветром сдуло. Прапорщик, подхватив полы болтавшейся шинели, первым бросился за угол. Не заставил себя ждать и броневик, поспешно укативший вслед за юнкерами.

Между тем дело со «Штандартом» у меня ни с места.

Отправился я во 2-й Балтийский экипаж. Разыщу, думаю, двух-трех ребят, что-нибудь сообразим. Только пришел, навстречу наш балтиец Анатолий Железняков, тоже делегат съезда Советов, парень смелый, решительный. Я к нему.

— Пойдешь, — говорю, — Анатолий, со мной царскую яхту забирать? Есть распоряжение Центробалта, надо выполнять.

— Ну что ж, — сразу согласился Железняков. — Пошли!

Отправились мы с ним сначала на «Штандарт» посмотреть, кто там из команды остался, что за народ. Ребята оказались ничего, против отправки яхты в Гельсингфорс никто не возражал. Только, говорят, своим ходом идти не может, буксир нужен, да не один, а несколько. Один не потянет.

— Ладно, — отвечаю, — мне ваше согласие нужно, а насчет буксира сам позабочусь. Будет буксир.

Сошли мы с Железняковым с яхты и двинулись вдоль берега. На мне матросский бушлат, а под бушлатом — здоровый американский пистолет системы «Кольт». Смотрим, буксир вроде подходящий стоит возле берега. Переглянулись мы с Анатолием — и на буксир. Подходим к капитану. Я команду:

— Швартуй «Штандарт». В Кронштадт поведешь.

— Не могу, — отвечает капитан, — у меня приказ командующего портом с места не трогаться.

Я вынимаю кольт:

— Вот тебе приказ!

Капитан сразу согласился. Железняков остался на буксире, а я на другой пошел. Рядом их еще несколько стояло. Там тоже пришлось «нажать». Ничего, подействовало.

Набралось у нас целых пять буксиров. Отшвартовали они «Штандарт» и потащили вниз по Неве, в море, к Кронштадту. У меня — гора с плеч. Наконец-то с проклятой яхтой разделаюсь.

Было это в воскресенье 22 октября 1917 года. Как раз этот день Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов объявил днем Совета, днем смотра и мобилизации сил питерского пролетариата и солдат Петроградского гарнизона. Газета «Рабочий путь» вышла с большим аншлагом:

«Сегодня день Петроградского Совета. Товарищи рабочие и солдаты! Зовите массы под знамя Петроградского Совета! Все на митинги!»

Бурные митинги и собрания шли в этот день по всему городу. Шли они под большевистскими лозунгами, лозунгами передачи всей власти Советам, Настроение среди питерских рабочих и солдат было самое боевое. Про матросов и говорить нечего. Атмосфера была накалена до предела, чувствовалось, что вот-вот должна разразиться гроза.

Готовилась и контрреволюция. В Петроград стягивались верные Временному правительству силы. На улицах появились казачьи патрули, юнкера, броневики. На 22 октября назначили было крестный ход казаков, но в самый канун 22-го Временное правительство его отменило. Перетрусило, как видно.

Отправив царскую яхту в Кронштадт, мы с Железняковым направились на Петроградскую сторону, в Народный дом, где шел один из самых многочисленных митингов. Приходим. На трибуну лезут эсеры и меньшевики, только народ их не слушает, просто стаскивает с трибуны. Требуют большевиков. Большевистские ораторы выступают один за другим. Вот Луначарский, за ним на трибуне Яков Михайлович Свердлов. Луначарский говорит здорово, заслушаешься, а Свердлов и того пуще. Голос у него гремит, ну просто иерихонская труба. Народ кричит, аплодирует большевикам без конца.

Кончился митинг, я отправился в Смольный, к Якову Михайловичу. Застал его в Военно-революционном комитете.

— Так и так, — говорю, — прибыл на съезд Советов из Гельсингфорса. Матросы просили передать, что выступать пора, не то сами начнем. Хотелось бы знать, как ЦК решил.

— Связь с Гельсингфорсом мы держим крепкую, — отвечает Яков Михайлович, — настроение моряков знаем. Вопрос о восстании ЦК решен, выступаем в ближайшие дни. Скажем, когда будет нужно. Тебе же и сейчас дело найдется...

Послал Яков Михайлович меня к Подвойскому, а от Николая Ильича пошли поручения одно за другим.

Днем 24 октября зашел я во 2-й Балтийский экипаж пообедать. Там я кормился, пока находился в Питере. Слышу, матросы говорят: юнкера мосты разводят. Вот, думаю, история! Затягло юнкерье центр от рабочих районов отрезать. Надо проверить! Позвал одного товарища, и отправились мы с ним в порт. Видим, стоит машина начальника порта. Подходим к шоферу.

— Поехали! — говорю.

Он и слушать не хочет: «Кто ты таков?» Я за кольт — шофер сразу переменял топ и стал вводить мотор.

Сели мы с товарищем в машину — и к Николаевскому мосту, Подъехали, будто все в порядке, мост наведен. На мосту и на набережных полно красногвардейцев, матросов. Вышел я из машины (товарищ остался шофера караулить, как бы не удрал), расспросил одного, другого. Оказывается, около двух часов дня явились юнкера, согнали с моста пешеходов, извозчиков, автомобили, остановили трамваи, закрыли всякое движение и начали разводить мост. В это время подоспели красногвардейцы и матросы с «Авроры», которую по распоряжению Военно-революционного комитета подтянули к Николаевскому мосту. Они разогнали юнкеров, навели мост и встали на его охрану.

Смотрю — в толпе один приятель, аврорец. И он меня увидел, подходит.

— Видишь, — говорит, — как дело оборачивается. Надо за юнкеров всерьез браться, такой приказ Ревкома. Так что зря околачиваться нечего!

Я и сам вижу, что надо действовать, только как? Надо, пожалуй, в Смольный ехать, к Подвойскому. Вернулся к машине, рассказал все товарищу.

— Поедем, — говорю, — в Смольный, в Ревком.

А он отвечает:

— Можно, конечно, и в Смольный. Да ведь дело-то ясное! Юнкеров разоружать надо, так и в Ревкоме скажут. Только выругают, что без толку ездим, время тратим. Может, сразу возьмемся?

Я еще утром слышал в Смольном о воззвании Ревкома к солдатам и рабочим Петрограда дать отпор контрреволюции, Там говорилось о решительной борьбе с юнкерами. Чего, думаю, на самом деле? Действовать надо!

Сели мы в машину и велели шоферу на Невский ехать, юнкеров ловить. Он и сам уже понял, в чем дело, парень-то оказался ничего и поехал охотно.

Выехали мы на Невский, смотрим, где юнкера. Как двух-трех юнкеров увидим, сразу к ним. Останавливаем машину, выскакиваем, пистолеты в руках: «Сдавай оружие!»

Наберем полную машину юнкеров и везем в Петропавловскую крепость, там охране сдаем. Так всю ночь проехали.

Под утро товарищ говорит: «Ну, мне пора обратно, в Балтийский экипаж».

Отвез я его, а сам в Смольный поехал. Только вошел, навстречу Николай Ильич.

— Мальков? Ты откуда?

— Да вот по Невскому ездил, юнкеров разоружал и возил в Петропавловскую крепость.

— В Петропавловскую? Правильно. Только ездил на чем же?

— А у меня машина есть, в порту забрал.

— Вот это хорошо. Пошли!

И Николай Ильич стремительно зашагал через две ступеньки. Я за ним. В одной из комнат третьего этажа сидел, понурясь, какой-то военный с погонами подполковника. Возле него два красногвардейца с винтовками.

— Вот, — говорит Подвойский, — начальник контрразведки штаба Петроградского военного округа подполковник Сурниц. Вези этого подполковника туда же, в Петропавловку. Сдашь комиссару крепости.

Взял я начальника контрразведки, вывел из Смольного, посадил в машину — и в крепость. Сидит подполковник в машине ни жив, ни мертв. Трясется. Довез его, сдал комиссару, а сам обратно. Только до Смольного не доехал...

Дело шло к утру, светать начало, по улицам бегут мальчишки-газетчики, тащат пачки разных газет: «Дело народа», «Новая жизнь», «Речь», «Новое время», «Биржевые ведомости» («Биржевка», как эту газету называли), ну и, конечно, наш «Рабочий путь». Только я тут не о «Рабочем пути», а о «Биржевке» подумал. Паршивая была газетенка, черносотенная, вечно всякие пакости печатала, не раз на моряков-балтийцев клеветала. Терпеть мы «Биржевку» не могли. Специально о ней в Центробалте вопрос ставили, принимали резолюции протеста, посылали в «Биржевку», да она их не печатала. Вынесли, наконец, решение: просить правительство закрыть «Биржевые ведомости», как клеветническую, буржуйскую газету. Только никакого проку не было. Вот об этом-то решении я теперь и вспомнил и велел шоферу ехать в Балтийский экипаж.

Приехал, говорю ребятам; пора «Биржевку» прикрыть, нечего с ней церемониться! Есть решение Центробалта. Сразу нашлось несколько охотников. Сели мы в машину и поехали на Галерную, в редакцию «Биржевых ведомостей». Подъезжаем, ребята выскочили из машины, встали у входов, никому ни войти, ни выйти не дают. В это время мальчишки несут последний выпуск «Биржевки». Газеты мы у них отобрали и выбросили, а им велели убираться. Сам же я в редакцию пошел. Вхожу. Сидят несколько человек.

— По постановлению Центробалта, — говорю, — закрываю вашу газету.

Они молчат, как воды в рот набрали. Одна девица начала было спорить, но я с ней и разговаривать не стал.

— Эх вы, культурные люди! В России революция началась, а вы грязную газету издаете, клевету разводите. Брысь отсюда, чтоб и духу вашего не было!

Ну, они и кинулись кто куда.

На другой день эсеровская газета «Дело народа» писала:

«Вчера утренний выпуск «Биржевых ведомостей» не вышел. Редакция газеты на Галерной была захвачена отрядом моряков...»

Когда выходил я из редакции «Биржевки», смотрю, по соседству, в том же здании, журнал «Огонек» разместился. Тоже вредный журнал. Вранья в нем много было, а рабочих, большевиков так просто грязью обливал. Посоветовались мы с ребятами, решили заодно и его закрыть. Закрыли и охрану поставили, а я в Смольный поехал — доложить. Время было около 7 часов утра 25 октября. Не спал я вторые сутки, да и проголодался основательно. Вижу — булочная. Захожу, а продавцы хлеб мне не продают, требуют карточки. Я им говорю:

— Откуда у меня карточки? Вы же видите — я матрос. Нет у меня карточек.

Они, однако, свое. К счастью, женщины, которые были в магазине, вступились за меня:

— Дайте ему хлеба, он за революцию воюет!

Взял я хлеб, половину сам по дороге съел, другую шоферу отдал. А он еле за рулем сидит, на ходу засыпает.

— Отпусти ты меня, — просит, — пожалуйста. Устал, сил моих больше нет тебя возить.

— Ладно, — говорю, — до Смольного довезешь и можешь ехать...

Приехал в Смольный, поднялся на третий этаж, прямо в Военно-революционный комитет. Вхожу. Не очень большая комната, две двери: одна, через которую я вошел, в коридор, вторая направо — в маленькую комнату, смежную с первой. Мебели в комнату почти никакой, только налево от входа два стула. На одном, согнувшись, сидит какой-то человек, положил на другой стул бумагу и быстро-быстро пишет. Повернут этот стул спинкой к стене, а у стены, опершись руками на спинку стула, стоит Владимир Ильич и говорит. Тут же, в комнате, Свердлов, Дзержинский, Подвойский, Урицкий, Аванесов, Антонов-Овсеенко, еще несколько человек незнакомых. Некоторые стоят, другие сидят на полу, на корточках. Всего в комнате человек десять — двенадцать. Обсуждается вопрос о штурме Зимнего дворца, где засело Временное правительство.

Я остановился у двери. Как раз Владимир Ильич кончил говорить. Все зашумели. Посыпались реплики, вопросы. Подвойский сказал:

— Надо составить план штурма Зимнего.

Поручили Антонову-Овсеенко, Лазимиру и мне. Лазимир, совсем молодой прапорщик, почти юноша, был тогда левым эсером, но шел с большевиками. Он очень активно работал в Военно-революционном комитете, был даже первым его председателем, до Подвойского. Вскоре после Октября он окончательно перешел к большевикам.

Вышли мы во вторую комнату. Там стояла высокая тумбочка, вроде учительской кафедры. Возле нее мы и примостились. Обменялись мнениями, и Антонов-Овсеенко стал писать.

Наметили всего пять пунктов:

В 9 часов вечера послать в Зимний парламентаров и предъявить ультиматум.

Если Временное правительство откажется немедленно сдаться, Петропавловская крепость дает сигнал ракетой.

После этого «Аврора» дает три холостых выстрела.

Петропавловская крепость открывает стрельбу по Зимнему дворцу боевыми снарядами.

По этим сигналам красногвардейцы, моряки и солдаты начинают штурм Зимнего.

Между прочим, кое-кто, в том числе и некоторые историки, выражает сомнение: не может, мол, быть, чтобы план штурма Зимнего вырабатывался только 25 октября, да и насчет председательствования Ленина на заседаниях ВРК не известно. Нет этого в документах!

В документах действительно этого может и не быть. Тогда было не до документов, и далеко не все в документах зафиксировано. Но тут на помощь приходят люди, память. В жизни каждого человека бывают моменты, которые врезаются в память навсегда, навечно. Так и это утро 25 октября 1917 года, Ленин, облокотившийся на спинку стула, поручение ВРК, все значение которого я понял лишь много-много позже, никогда не изгладятся из моей памяти (О том, когда

рассматривался план взятия Зимнего, рассказывают и другие. Один из руководителей ВРК, В. А. Антонов-Овсеенко, 1918 году, то есть через год после Октябрьских дней писал:

«Утром 24 октября по распоряжению Военно-революционного комитета выход закрытых газет был возобновлен... Военно-революционный комитет для разработки плана борьбы с Временным правительством выделил особую комиссию из трех лиц: Подвойского, Лашевича и меня, которая отдала ряд распоряжений по занятию вокзалов, наводке мостов, захвату электростанции, телеграфа и телефона, Петроградского телеграфного агентства. Одновременно было принято решение о разгоне Совета республики. Это было осуществлено к 2 часам дня 25 октября. Принят был предложенный мною план захвата Временного правительства в Зимнем дворце»{3}. Другой активный участник Октябрьского восстания и штурма Зимнего, комиссар Павловского полка в Октябрьские дни О. Дзенис, в 1921 году писал: «Так прошла вся ночь с 24 на 25 октября... Утром я направился в Ревком{4} для участия в выработке плана предстоящих действий и для получения дальнейших директив... Утром 25 октября, часов в 11, в комнате Ревкома в Смольном намечался в грубых чертах «оперативный план». Было решено оцепить Зимний дворец и Дворцовую площадь плотным кольцом. Мы, приехавшие из частей, немедленно отбыли на свои места практического проведения задачи»{5}.

Кончив писать, мы вернулись в первую комнату. Антонов-Овсеенко доложил наши соображения, и Военно-революционный комитет их утвердил. Заняло все это около часа. Время было 8 часов утра 25 октября 1917 года.

Мы с Антоновым-Овсеенко тут же вышли из Смольного, сели на стоявший недалеко на Неве буксир и поехали в Петропавловскую крепость. Рассказали комиссару Петропавловки Благоднарову о решении Военно-революционного комитета, велели тащить орудие на стенку и готовить ракеты. Благоднаров принялся за дело, а мы поехали на «Аврору». Там все в нетерпении. Судовой комитет ждет приказа Военно-революционного комитета. Ребята так и горят, похаживают возле орудий. Сказали мы им, что по сигналу Петропавловской крепости нужно дать три холостых выстрела, и поехали на минный заградитель «Амур». «Амур» около полудня доставил из Кронштадта человек пятьсот моряков, народ отборный, одеты прекрасно, все с оружием.

Над палубой «Амура» была натянута сетка. Мы с Антоновым-Овсеенко забрались на сетку, произнесли короткие речи и разъяснили матросам задачу, сказав, что в 9 часов вечера начинается штурм Зимнего, если Временное правительство до этого не капитулирует. Тут такое поднялось, что и сказать трудно. «Ура!» кричат, нас было качать вздумали. Еле мы вырвались и скорее обратно, в Смольный.

Антонов-Овсеенко куда-то ушел, а мне Подвойский дал новое задание:

— Из Гельсингфорса подошли миноносцы «Самсон» и «Забияка». Поезжай сейчас на «Самсон» и жди команды, надо будет — откроете огонь по Зимнему!

Я отправился. Добрался до «Самсона», а он стоит на Неве так, что Зимнего не видно. Другие здания загораживают. Пошли, мы с матросами на берег, развели мост и подогнали миноносец, куда было нужно, поближе к дворцу.

В 9 часов вечера вахтенный матрос доложил, что с Петропавловской крепости дана ракета. Вслед за ней грянули выстрелы с «Авроры». Штурм Зимнего начался.

Время идет, а ружейная и пулеметная перестрелка все не кончается: то вроде стихнет, то опять усилится. Пора, думаю, и нам огонь открывать, время уже к 11 часам вечера подходит, только приказа все нет. Дал на всякий случай команду приготовиться к стрельбе. Подходит ко мне офицер и говорит, что стрелять нельзя. Орудия крупные, откроем пальбу прямой наводкой, все на куски разнесем.

Решил я сам пройти к Зимнему, проверить, как там дело обстоит. Неужели, думаю, о нас забыли, а нам давно пора огонь открыть.

Спустился на набережную, иду, только — что это? Как будто стрельба вдруг прекратилась. С Дворцовой площади крики какие-то доносятся, шум, свист. Кинулся я бежать, выскочил на площадь, гляжу — юнкера, ударницы из женского батальона. Все разоружены. Поодаль кучка штатских жмется, зажатая а плотном кольце матросов, солдат, красногвардейцев, — министры Временного правительства.

Вокруг народ шумит. Взят Зимний! Все!

Народу в Зимний набилось — что-то невообразимое. Тут не только красногвардейцы и солдаты, что дворец штурмовали, а масса всякой публики набежала.

Кто делом занят, а кто и просто глазеет. Чудновский — первые дни он был комендантом Зимнего — собрал красногвардейцев, матросов, велел очистить дворец от посторонних. Я вижу, на «Самсон» мне возвращаться не к чему, там мое дело кончилось, надо пока тут помочь. Дали мне под команду группу матросов, и стали мы из Зимнего лишний народ, удалять. Дворец быстро очистили. За временем я, конечно, не следил, не до того было, а уже поздний вечер, вечером же должен открыться II Всероссийский съезд Советов, наверное, даже давно открылся. А ведь я — делегат! Вот незадача. Кинулся скорей в Смольный.

Машины у меня нет, трамваи не ходят, пришлось пешком, а конец немалый. Пришел в Смольный, ног под собой не чую, — и в зал, где уже давно идет заседание съезда Советов. Только не тут-то было! Едва я вошел, как навстречу Николай Ильич Подвойский. Он в эти дни словно везде поспевал, казалось, в десятке мест был одновременно.

— Прибыл? — спрашивает. — Как «Самсон»?

— «Самсон» в порядке, Николай Ильич. Только мне там делать нечего, и так я вроде самое горячее время даром просидел. Стрельбу наша не понадобилась.

— А ты жалеешь, что без оружейной пальбы обошлось?

— Да нет, не жалею, только обидно, что к шапочному разбору поспел.

— Ну, не горюй, — ободрил меня Николай Ильич, — до шапочного разбора еще далеко. Дела наши, брат, только начинаются.

Послал он меня в Петропавловскую крепость к Благодравову с каким-то поручением, благо заседание съезда все равно уже к концу шло. Там, в комендантской Петропавловки, я вздремнул пару часов (как-никак третьи сутки на ногах!) и вернулся обратно, в Смольный. Наступило 26 октября 1917 года.

Пришел в Ревком, там Антонов-Овсеенко о чем-то оживленно беседует с Николаем Ховриным, тоже членом Центробалта. Я к ним.

— Теперь, — говорю, — что делать?

— Что делать? — переспросил Антонов-Овсеенко. — Центрофлот арестовывать, вот что делать.

Глянули мы с Ховриным друг на друга. Молчим.

— Значит, так, — продолжает Антонов-Овсеенко, — Центрофлот мы прикрываем, хватит терпеть эту меньшевистско-эсеровскую лавочку. Членов Центрофлота арестовать. Это ваше дело. На место Центрофлота создаем Временный Морской революционный комитет, а там разберемся. Председателем Морского Ревкома будет наш же балтиец Иван Вахрамеев, — знаете его? — а членами Ховрин, Мальков, еще несколько человек. Ясно? Действуйте!

Тут же мне и мандат выдали:

«КОМИССАР МОРСКОГО МИНИСТЕРСТВА ОТ ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА»

«26 октября 1917 г. № 4 г. Петроград.

УДОСТОВЕРЕНИЕ.

Предъявитель сего член Временного Морского Комитета тов. Малько, что и удостоверяется»

Взяли мы мандаты, собрали в Смольном еще несколько моряков и отправились в Адмиралтейство распускать Центрофлот и организовывать Временный Морской революционный комитет.

Ясно-то нам было ясно, да не так все просто. Слов нет, в Центрофлоте засели меньшевики и эсеры, но не какие-нибудь буржуи, а все свой брат, матрос. Как тут их будешь арестовывать? Это тебе не юнкеров на Невском хватать: там вроде сражения получалось, кто кого. Здесь дело другое.

Рассуждали мы дорогой, рассуждали и сами не заметили, как дошли до Адмиралтейства. Постояли еще с минуту на улице — и в Центрофлот.

Как вошли, Ховрии сразу скомандовал: «Свистать всех наверх!»

Комната, глядим, большая, народу в ней порядочно, еще и из других комнат сбежались. Много знакомых, мне-то особенно: всего три дня назад я с ними из-за «Штандарта» воевал.

Смотрят на нас, пересмеиваются. Вы, мол, чего сюда явились?

Откашлялся Ховрин и говорит:

— Дело, братва, такое. Есть приказ Ревкома: Центрофлот прикрыть, а вас арестовать. Понятно?

Они посерьезнели.

— Значит, вы за этим и пришли?

— Да, за этим. Именем Ревкома объявляю вас арестованными.

Один из центрофлотцев и спрашивает:

— Что же, теперь, выходит, вы нас в тюрьму поведете?

— Зачем в тюрьму, — отвечает Ховрин, — здесь и будете сидеть, пока Ревком не решит, что с вами дальше делать. Только дайте честное матросское слово, что не убежите (такое решение мы по дороге в Адмиралтейство приняли).

Слово они дали, приставили мы к комнате одного часового, а сами принялись Морской комитет организовывать.

Прошел этот день, другой, надо с центрофлотцами как-то решать. Пошли в Военно-революционный комитет и спрашиваем, как нам с нашими арестантами быть. Подумали там, подумали и говорят:

— А ну их к чертовой бабушке, пусть катятся на все четыре стороны.

У нас гора с плеч. Вернулись в Адмиралтейство и пошли арестованных освобождать. Смотрим, а там всего два-три человека сидят, остальные ждали, ждали, да и разошлись кто куда, невзирая на честное слово и на часовых, которые, впрочем, и не пытались никого задерживать.

Комендант Смольного

29 октября 1917 года Военно-революционный комитет утвердил меня комендантом Смольного. Через несколько дней выдали мне документ:

«Военно-революционный комитет постановил: комендантом Смольного института назначить тов. Малькова. Его помощником по внутренней охране тов. Касюра.

Помощником по составлению личного состава назначается тов. Игнатов.

За председателя *Ф. Дзержинский*»

Так я стал комендантом Смольного. Пришлось принимать дела, хотя принимать особо было и нечего. Собрал я человек тридцать матросов, примерно столько же красногвардейцев и начал организовывать охрану Смольного. А время было горячее. Керенский с Красновым подняли мятеж и во главе казачьих сотен двигались на Петроград. В самом Питере началось выступление юнкеров.

Не успел я разобраться с делами, как вызывает Подвойский:

— Юнкера захватили телефонную станцию, Смольный ни с кем не соединяют. Надо их оттуда немедленно вышибить. Вот тебе мандат, действуй!

Протягивает мандат:

«ШТАБ ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА СОВ. РАБ. И СОЛ. ДЕПУТАТ.».

«29 октября 1917 г.

Сим удостоверяю, что товарищ Павел Дмитриевич Мальков назначается начальником отрядов, действующих против восставших юнкеров, и имеет право пропуска во все революционные учреждения.

Председатель *Н. Подвойский*.»

Человек пятнадцать моряков я оставил вместе с красногвардейцами для охраны Смольного, а с остальными отправился отвоевывать телефонную станцию. До станции, однако, надо добраться, а машин, как назло, нет, времени же терять нельзя. Как тут быть? Видим, трамвай идет. Мы его остановили, публику высадили, и ребята сели в вагон. Взобрался я на переднюю площадку, встал рядом с вагоновожатым и говорю:

— Гони к Петропавловской крепости, да поживее!

Он уперся. Не на тот-де номер сели, у меня маршрут другой... Я на него: вези, говорю, такой-рассякой. Помогло, поехали. Правда, стрелки пришлось всю дорогу самим переводить, но до Петропавловской крепости добрались благополучно. Взяли там пушку, прицепили к трамвайному вагону и двинулись на Морскую, где помещалась телефонная станция. Едем — пушка сзади по мостовой гремит.

Подъезжаем к Морской, вагоновожатый говорит: дальше не проехать, путей нет.

Ну, да тут уж недалеко. Отцепили мы пушку, выкатили ее на руках к телефонной станции и кричим:

— Сдавайтесь, не то сейчас откроем пальбу, камня на камне не оставим!

Посоветовались юнкера, посоветовались и выбросили белый флаг. Что они против орудия могут сделать? Выходит из здания человек тридцать юнкеров. Мы их тут же отправили в Петропавловскую крепость, а сами заняли телефонную станцию. Там полно девушек-телефонисток: кто плачет, кто скандалит, но работать ни одна не желает. Сели вместо них к

считаю матросы, хоть и с грехом пополам, но включили Смольный. Доложил я Подвойскому по телефону, что задание выполнено, и скорее назад, в Смольный, в комендатуру.

Вернулся в Смольный, надо за свои комендантские дела приниматься, а как приниматься, я поначалу и ума не приложу. Добро, если бы можно было спокойно подумать, мозгами пораскинуть, с опытными людьми посоветоваться, а какое тут спокойствие? Время тревожное. Что ни день, то новости, порой грозные, события, события без конца. Говорят, Керенский уже захватил Гатчину, Царское Село, радиотелеграф, рассылает повсюду радиogramмы с призывом не подчиняться ЦИК, избранному II съездом Советов. Казаки будто бы приближаются к Пулкову. На помощь им двигается 3-й кавалерийский корпус. Может, конечно, что и лишнее болтают, да кто его разберет? Вот Дзержинский, Подвойский, Аванесов — те, наверное, знают, но не станешь же к ним с расспросами приставать.

Рассказывают и другое. Говорят, что наши держатся стойко. На передовых — красногвардейцы и матросы. Подходят из Питера солдатские части, Выступили Измайловский и Литовский полки. Преображенцы и семеновцы пока митингуют, но, надо думать, тоже выступят — туда, поехал Николай Ильич Подвойский.

Не все спокойно и в самом Питере. Еще не полностью покончено с восставшими юнкерами. Они отсиживаются в Михайловском манеже, в юнкерских училищах. Военно-революционный комитет вызвал с «Авроры» катера с пулеметами для защиты Смольного, на всякий случай. От Обводного канала до Смольного патрулируют красногвардейские пикеты.

Смольный по-прежнему так и кипит. Здесь Ленин. Здесь другие члены Центрального Комитета большевиков. Тут закладываются основы нового государственного устройства России, разворачивается деятельность первого в истории человечества Рабоче-крестьянского правительства. Здесь руководство Центрального Исполнительного Комитета Советов, Петроградский Совет и Военно-революционный комитет. Тут же различные общественные организации, профсоюзы, редакции газет и журналов.

Внизу, на первом этаже, в комнате № 31 — комендатура. Рядом — караульное помещение. Всего нас в охране человек шестьдесят — семьдесят матросов и красногвардейцев, а сколько одних постов выставить надо, да надежных, крепких. Здание-то огромное. Ответственность и того больше.

Впрочем, посты бы еще полбеда, справиться можно, но дело постами не обходится: надо и арестованных охранять, и продовольствие для Смольного добывать, и об отоплении заботиться, и выдачу пропусков организовывать — одним словом, забот у коменданта больше чем достаточно. А тут еще то одно поручение, то другое, ничего общего со Смольным не имеющее. И все важные, все неотложные. То Военно-революционный комитет предписывает двинуть броневик на разоружение трех рот и пулеметной команды женского батальона в Левашове, по Финляндской железной дороге; то делегирует меня вместе с Дзержинским в комиссию по распределению помещений в Петрограде; то надо идти винные склады по городу ликвидировать; то в Зимнем дворце порядок наводить — что ни день, то новое дело. Но главное — Смольный, за Смольный с меня первый спрос, охрана Смольного — первая обязанность, А ее, по существу, приходилось налаживать заново.

Вернувшись 29 октября с телефонной станции, я взялся было за расстановку постов, только куда их ставить и в каком порядке, сам черт не разберет. Одно очевидно — существующая расстановка постов никуда не годится. Ворот в Смольном много, а охраняются далеко не все, кто хочет, тот в Смольный и идет, прямо проходной двор получается.

Решил я, чтобы получше разобраться, обойти все посты. Пошел по зданию: чудеса, да и только. Смольный делится на две части: Николаевская, меньшая, и Александровская, большая. В Николаевской разместились Совнарком, ВЦИК, ВРК и прочие советские учреждения, Александровская же, оказывается, занята старыми классными дамами Смольного института благородных девиц, бывшими воспитательницами да несколькими институтками, по той или иной причине застрявшими в институте. Одним словом, осиное гнездо, да и только. Даже старая начальница Смольного, водившая дружбу с императорской фамилией, тут же. Комната ее чуть не пососедству с Совнаркомом и Военно-революционным комитетом.

Заглянул в подвал — час от часу не легче! И там полно жильцов: старая прислуга Смольного, швейцары, судомойки, прочая публика. Народ, одним словом, ненадежный.

Ходил я, ходил по Смольному, как вдруг во дворе, возле одного из входов Александровской половины встречаю двух офицеров. Оба расфранченные, усы напояжены, одеколоном за версту разит. Я к ним:

— Откуда такие взялись? Пропуск!

Они остановились. Один, помоложе, окрысился было, да старший его за рукав дернул: не связывайся, мол, с матросом шутки плохи.

Предъявляют пропуска, все чин по чину: печать, подпись.

— Кто, — спрашиваю, — пропуска вам выдал? К кому? По какой надобности?

Младший опять сорвался:

— А тебе, собственно говоря, зачем об этом знать? Ты-то кто такой? Пропуск тебе предъявили, и хватит. Проваливай, откуда пришел.

— Ах, вы так, ваши благородия! Ну что ж, познакомимся. Я — комендант Смольного, а вот кто вы такие, сейчас разберемся. Не пожелали добром говорить, не надо. Марш в семьдесят пятую комнату, там выяснят, что вы за птицы...

С господ офицеров вся спесь мигом слетела. Семьдесят пятая комната Смольного института, где помещалась Следственная комиссия, с первых дней революции приобрела грозную славу среди буржуазии, офицеры и прочей подобной публики. Младший из офицеров совсем растерялся, залопотал что-то несурзное, а старший пустился в объяснения:

— Позвольте, господин комендант, позвольте! Это же просто недоразумение. Зачем в семьдесят пятую? Извольте, мы все объясним. Тут, видите ли, вопрос интимный, для чего же шум поднимать? Мы с поручиком, так сказать, с визитом к знакомым дамам. Они, знакомые то есть, и пропуска нам получили.

Я опешил.

— К дамам? Это к каким же дамам? Уж не к воспитательницам ли? Так там самой молодой лет за пятьдесят, наверное. Что у вас с ними за дела? Не кругло, господа, получается.

— Зачем же к воспитательницам? Мы, с вашего позволения, к братьям, пардон, к сестрам по оружию, в штаб ударниц. Там, разрешите доложить, замечательное общество. Усиленно рекомендую обратить внимание, господин комендант. В случае чего почту за честь лично рекомендовать. Слово офицера — не пожалеете!

Ах ты, думаю, собачий сын. На свой похабный аршин меряешь! Отобрал у офицеров пропуска, выгнал их со двора и пошел проверять, что еще за штаб ударниц такой объявился в Смольном.

Оказывается, в нижнем этаже Александровской половины действительно разместился штаб женских ударных батальонов. И как я раньше не обнаружил? Хорош комендант! Девицы там подобрались одна отчаяннее другой. Называется штаб, а на деле сущий притон.

Доложил я эту историю Николаю Ильичу Подвойскому. Так и так, говорю, в сутолоке и горячке первых дней недоглядел, «Да что уж тут, — отвечает Николай Ильич, — и мы в Ревкоме прохлопали. Ничего, поправим». Через пару дней появился приказ: расформировать всякий женские батальоны и ликвидировать их штабы.

Прогнали ударниц из Смольного, а я между тем занялся проверкой порядка выдачи пропусков. Проверил. Выдает пропуска, оказывается, кто угодно и кому угодно. Выписывают-то их в

комендатуре, но кто выписывает? Писаря, которые сидят в комендатуре с дооктябрьских дней, набраны из военных писарей царской службы. Писари же да фельдфебели — первые шкуры, вечно около начальства терлись, это каждый матрос и солдат знает. Пойди разберись, кому эти писари дают пропуска.

Вижу, так дальше нельзя. Какая уж тут охрана? Пошел к Дзержинскому. Надо, мол, Феликс Эдмундович, меры принимать. В тот же день Военно-революционный комитет вынес постановление: расформировать весь наличный состав комендатуры Смольного. На следующий — другое: коменданту Смольного еще раз тщательно осмотреть все здание, выставить надежную охрану и доложить.

Посоветовался я с Бонч-Бруевичем, управляющим делами Совнаркома, собрал несколько человек моряков из охраны, самых сметливых, и двинулись мы в капитальный обход Смольного. Облазили здание снизу доверху, все осмотрели, записали и представили подробную докладную записку: «В Военно-революционный комитет. Об охране Смольного института».

Нарисовав детальную картину положения в Смольном, мы предложили следующие меры:

«1. Выселить из основного здания Смольного все посторонние элементы.

Проверить штат прислуги.

Создать коллегия из представителей ответственных работников отделов, представителей Красной гвардии, матросов и комендатуры для общего наблюдения за охраной и порядком в Смольном институте, причем число членов этой коллегии не должно превышать десять человек.

Реорганизовать комендатуру, изгнав контрреволюционную часть, и привлечь к участию в ней представителя от упомянутой в предыдущем пункте коллегии».

Не откладывая дела в долгий ящик, 2 ноября 1917 года Военно-революционный комитет обсудил доклад об охране Смольного института. 29 октября вопрос о моем назначении комендантом Смольного решался на ходу, несколькими членами ВРК, теперь Военно-революционный комитет утвердил меня официально и предоставил мне право набрать служебный штат комендатуры с последующим утверждением его ВРК. Одновременно Военно-революционный комитет решил выселить из Смольного института все ненадежные элементы.

Легко сказать, набрать штат комендатуры, а как его наберешь? Где? Пришлось опять идти к Дзержинскому за помощью. Выслушал меня Феликс Эдмундович и говорит:

— Дело не легкое. Люди везде нужны. Так что на многое не рассчитывай. Несколько человек покрепче возьмем из Кронштадта. Вместе с теми матросами, что пришли в Смольный с тобой, они составят основной костяк комендатуры, его ядро. Ну, а в остальном поможет Красная гвардия.

Сел Феликс Эдмундович к столу, набросал несколько слов на листке бумаги и протянул мне:

— На, двигай в Кронштадт за подмогой.

Я прочитал:

«В КРОНШТАДТСКИЙ МОРСКОЙ КОМИТЕТ

4 ноября 1917 г.

Прошу назначить семь человек матросов для обслуживания Смольного института.

Предс. Дзержинский».

— Семь? Маловато будет, Феликс Эдмундович...

— А ты думал, семьдесят тебе дадим?

Взял я бумагу, расписался на копии (Дзержинский писал на листке блокнота под копирку. Тогда многие так делали — оставляли себе копии для контроля) «Подлинник получил. Комендант Мальков» и отправился в Кронштадт.

С кронштадтцами дело уладил быстро. Договорились, что народ они подберут самый надежный и завтра же пришлют в Смольный.

— Ну, а ты-то сам как? — вдруг спрашивают. — У тебя как дела?

— У меня? Сами видите мои дела. Налаживаю охрану Смольного.

— Это мы видим, да не о том речь. Ведь ты же на «Диане» числишься, а застрял в Смольном. Надо как-то оформить, а то неладно получается.

Действительно, правы товарищи. Я об этом и не подумал, не до того было. А что получается? Состою на действительной военной службе, матрос первой статьи крейсера «Диана», а на крейсере свыше двух недель не был! Вроде дезертир.

Вернулся в Смольный, улучил удобный момент и обратился к Феликсу Эдмундовичу: надо, мол, мне оформляться чин по чину, а то нехорошо получается.

Он согласился: ну что ж, оформим. Тут же Дзержинский написал два документа, сам подписал, дал подписать Гусеву и вручил мне.

Первый документ:

«6 ноября 1917 г.

В центральный комитет Балтийского флота.

По распоряжению Военно-революционного комитета матрос Павел Мальков оставлен в Петрограде в качестве коменданта Смольного института.

За председателя *Дзержинский*

Секретарь *Гусев*».

И второй, того же содержания, в судовой комитет крейсера «Диана». Так кончилась моя морская служба.

Грустно, конечно, было расставаться с морем, с товарищами, с кораблем — как-никак без малого шесть лет на «Диане» проходил, но раз надо — значит надо. А с другой стороны, какая там грусть? Старая жизнь и старая Россия полетели кувырком, в преисподнюю. Началось строительство новой, невиданной в истории жизни; советской, социалистической России!

...Охрана Смольного постепенно налаживалась. Военно-революционный комитет установил строгий порядок выдачи пропусков, возложив это дело на комендатуру. Постоянные пропуска выдавались сроком на один месяц, по спискам от организаций и отделов, находящихся в Смольном. По истечении месяца они отбирались и заменялись новыми. Лица, непричастные к Смольному, получали разовые пропуска только по предъявлении документов, не так, как раньше, когда пропуск мог получить кто угодно, хоть вовсе без документов.

В середине ноября Военно-революционный комитет принял специальное постановление об организации караульной службы в Смольном. В этом постановлении подчеркивалось, что все караулы Смольного и все дежурства подчиняются коменданту Смольного института; караульные начальники обязаны являться к коменданту для докладов и для получения инструкций. Были введены постоянные постовые ведомости, которых раньше не было.

Удалось наконец, хоть и не сразу, хоть и не без труда, очистить Смольный от посторонних жильцов, от всех этих классных дам, воспитательниц, институток, прислуги и прочей публики.

12 ноября 1917 года я был назначен комендантом Чрезвычайного Всероссийского съезда Советов крестьянских депутатов. Съезд открылся 23 ноября в Петрограде. Заседал он то в помещении городской думы, то в бывшем императорском училище правоведения, на Фонтанке, а заканчивал свою работу в Смольном. Возни со всякими делами, связанными со съездом, было достаточно.

Как-то раз в дни заседаний крестьянского съезда вызывает меня Яков Михайлович Свердлов, к тому времени уже избранный председателем Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.

— Товарищ Мальков, как у вас с очисткой от посторонних Александровской половины Смольного? Помнится, Военно-революционный комитет выносил такое постановление.

— Постановление было, Яков Михайлович, только, так сказать, в принципе. Практически еще не выселили. Да и куда их девать? Вон их сколько...

Яков Михайлович нахмурился.

— Это плохо, когда практические дела расходятся с принципами. Придется вам поторопиться. Александровская половина Смольного нам нужна, мы в ней разместим Исполнительный Комитет, который будет избран крестьянским съездом. Надо к окончанию съезда очистить помещение и привести его в порядок, так что поспешите. Что же касается классных дам, то в Петрограде помещений хватит. Проверьте, нельзя ли их переселить в Александро-Невскую лавру или в Ксенъинский институт. Он ведь своего рода младший брат Смольного. Одним словом, надо сделать, и сделать быстро.

Раз надо — значит надо. Послал я несколько человек матросов в лавру, только ничего хорошего из этого не вышло. Монахи их встретили чуть не с пулеметами. Даже во двор не пустили. И разговаривать не стали. Ребята кричат монахам: «Вы же христиане, Христос велел любить ближнего, так приютите божьих старушек!» Куда там, и слушать не хотят.

Махнул я рукой на лавру, решил не связываться. Устрою, думаю, своих жильцов в Ксенъинском институте. Заведение-то действительно Смольному сродни.

В Ксенъинский послал я на переговоры одну из наиболее энергичных классных дам. Люди они, думаю, свои, скорее договорятся. Не тут-то было! Как только директор Ксенъинского института услышал, зачем к нему пожаловала представительница Смольного, замахал руками и отказал наотрез: «Помилуйте, — говорит, — и помещения-то у нас нет и своих девать некуда, не то что двести — триста человек, а и десятка взять не можем. Рады бы, да некуда».

Прямо из Ксенъинского явилась эта дама ко мне, чуть не плачет. Не то чтобы ей уж очень хотелось из Смольного уезжать, нет, но обидно было такой отказ получить, И от кого? От своих же, которых всегда смольненцы держали за «бедных родственников».

Выслушал я ее и успокоил: ничего, мол, не огорчайтесь, у вас не вышло, так мы попробуем. Авось с нами этот директор будет поговорчивее! Вызвал своего помощника и велел ему тотчас ехать в Ксенъинский институт.

— Передай, — говорю, — директору, что ежели у него, в Ксенъинском, не найдется места для благородных девиц и прислуги из Смольного, так мы у себя, в Смольном, найдем место для него, а найдем сразу же, сегодня, самое надежное...

Не прошло и часа, возвращается мой помощник обратно. Ну, говорит, и комедия. Чистый цирк! Директор Ксенъинского согласен не только всех классных дам и прислугу разместить, а и еще кого-нибудь в придачу. Представительница Смольного его-де не так поняла, он просто шутил, а она приняла шутку всерьез и зря беспокоила господина коменданта.

Дипломатические переговоры с Ксенъинским институтом были успешно завершены, и через день мы начали эвакуацию наших соседок.

Наконец-то Смольный был очищен от посторонних. Освободилась не только Александровская половина, по и полуподвальный этаж, помещение в общем вполне приличное. Туда решили перевести арестованных. Их, правда, в Смольном было немного, но кое-кто имелся.

Вообще с этими арестованными морока была немалая. В комнату № 75, где работала Следственная комиссия, приводили отъявленных контрреволюционеров, белогвардейцев, офицеров, юнкеров. Порой, бывало, и просто подозрительную публику. Комиссия разбиралась: кого задерживала, а большинство сразу отпускала на все четыре стороны. Поначалу мы были очень доверчивы и многих, даже матерых зубров, отпускали под честное слово. Отпустили самого генерала Краснова, руководителя первого мятежа против Советской власти, захваченного в Гатчине. А он, дав слово не воевать против Советов, вышел на свободу и был таков. Удрал на Дон и стал во главе тамошней белогвардейщины. Вот тебе и офицерская честь, генеральское честное слово!

Или Гоц, эсеровский вождь. Его поймали, когда он пытался пробраться из Петрограда в Гатчину, к Керенскому. Привели в Смольный, предложили явиться в комнату № 75, в Следственную комиссию. Он дал слово, что тут же явится.

Только его без охраны оставили, он и улизнул.

О тех, кого отпускали, у комендатуры забот было мало. Отпустили и отпустили. Это дело Следственной комиссии, не наше, не комендантское. С задержанными иначе. Некоторых из них отправляли в Петропавловскую крепость или в Кресты (так называлась одна из петроградских тюрем), а кое-кого оставляли в Смольном. Эти целиком были на ответственности комендатуры. И разместить их надо, и ночлег организовать, и питание, и, конечно, охрану. А они капризничают: того не хочу, этого не желаю, известно — баре. Родственники без конца за справками обращаются, и все в комендатуру. Свиданий требуют. Продукты арестованным тащат, белье, постели — хоть специальных людей на это ставь.

Немало хлопот доставляли мне вопросы продовольствия, отопления. В Петрограде не было продуктов, не было дров. Город жил впроголодь. Из окон роскошных барских особняков торчали короткие, изогнутые коленом трубы «буржук» — небольших железных печурок, дававших тепло только тогда, когда топились. Их ненасытные пасти поглощали стильную мебель красного дерева, шкафы мореного дуба, дорогой паркет, и все равно в квартирах стоял собачий холод.

Частенько мерзли и мы в Смольном, мерзли в своих кабинетах наши руководители, мерз Ленин. Уголь и дрова доставались ценой героических усилий, но порою в Доставке бывали перебои, а зима, как назло, выдалась лютая.

Не легко было в Смольном и с продовольствием. Смольный питался так же, как и весь рабочий Питер. Для сотрудников Смольного была организована столовая, в которой мог получить обед и любой посетитель, лишь бы он имел пропуск в здание. Здесь, в этой столовой, питались и руководители ВЦИК, и ВРК, и наркомы, забегавшие из своих наркоматов в Смольный.

Столовую обеспечивали продуктами продовольственные отделы ВРК и Совета, а что это были за продукты? Пшено да чечевица, и то не каждый день. Бывало, в тарелке с супом можно было по пальцам пересчитать все крупинки, причем вполне хватало пальцев на руках. Второго же не было и в помине.

Особенно тяжело было ответственным товарищам, работавшим чуть не круглые сутки напролет, на пределе человеческих сил, без отдыха. А ведь у многих из них здоровье было подорвано тюрьмой, годами тяжких лишений. Каково им-то было вечно недоедать, недосыпать? Кое у кого дело доходило до голодных обмороков.

В конце 1917 года вызвал меня Яков Михайлович и велел организовать в Смольном небольшую столовую для наркомов и членов ЦК. Нельзя, говорит, так дальше. Совсем товарищи отощали, а нагрузка у них сверхчеловеческая. Нужно народ поддержать. Подкормим хоть немногих — тех, кого сможем.

Организовал я столовую. Обеды в ней были не бог весть какие: то же пшено, но зато с маслом. Иногда удавалось даже мясо достать, правда, не часто. Но все-таки наиболее загруженных работников и тех из товарищей, у кого особенно плохо было со здоровьем, поддерживали.

Комендатура делами столовой не занималась, но довольствие охраны лежало на нас. Вот тут-то и приходилось туго. Первое время, когда основное ядро охраны составляли матросы, было немного полегче. Нет-нет, но то с одного, то с другого корабля продуктов подкидывали. В складах морского интендантства кое-что имелось, и флот до поры до времени снабжали. Матросов, однако, становилось в охране все меньше и меньше: кому давали самостоятельные поручения, кто уходил драться с Калединым, поднявшим восстание на Дону, с Дутовым под Оренбург; на Украину. Связь с кораблями постепенно ослабевала, и с продуктами становилось все труднее и труднее. Сплошь и рядом самому приходилось воевать с продовольственниками, чтобы хоть чем-то накормить людей.

Иногда, правда, выдавались счастливые случаи, когда при ликвидации какой-нибудь контрреволюционной организации, тайного притона или шайки спекулянтов (нам постоянно приходилось участвовать в таких операциях) мы обнаруживали нелегальные склады продовольствия, которые тут же реквизировали. Один раз захватили 20 мешков картофеля, другой — большой запас сухарей, как-то — 2 бочонка меду, всяко бывало. О каждой такой находке я докладывал Ревкому, и иногда некоторую часть продуктов передавали в продовольственный отдел Смольного, остальное же — в городскую продовольственную управу.

Особенно повезло нам как-то раз с халвой. Разузнал я, что в одном из пакгаузов Николаевской железной дороги давно лежит около сотни ведер халвы, а хозяин исчез, не обнаруживается.

Я тут же доложил Варламу Александровичу Аванесову, секретарю ВЦИК и одному из руководителей Ревкома. Надо, говорю, подумать, как быть с той халвой.

— А что тут думать, — отвечает Аванесов, — пропадать добру, что ли? Тащи халву сюда, будем хоть чай с халвой пить.

В тот же день провел он это решение в Ревкоме, и я доставил в Смольный чуть не целую подводу халвы.

А то конфисковали один раз 80 подвод муки. Привезли в Смольный и сложили мешки штабелем в одной из комнат, вроде склада получилось. Выставил я охрану из красногвардейцев, велел никого до мешков не допускать, а сам доложил Ревкому.

Обычно Ревком такие вопросы быстро решал, а на этот раз дело что-то затянулось. Лежит себе мука и лежит, пост рядом стоит, будто все в порядке. Только зашел я как-то в караульное помещение, что такое? В комнате — чад, блинами пахнет, да так аппетитно — слюнки текут. Глянул, а ребята приспособились, достали здоровенную сковороду и на «буржуйке» лепешки пекут.

— Это, — спрашиваю, — что такое? Откуда. Молчат. Наконец один молодой парень, путиловец, шагнул вперед.

— Товарищ комендант, может, и нехорошо, по ведь жрать хочется, спасу нет, а мука — вот она, рядом лежит. Все равно нашему же брату пойдет, рабочему. Не буржуям ведь? Ну, мы и того, малость реквизируем...

Он замялся а замолчал, и я молчу. Что ему скажешь? Вроде должен я их изругать, может, даже наказать, а язык не поворачивается; сам знаю, изголодались ребята.

— Насчет муки понятно, а масло откуда?

— Масло? Так это масло не простое, святое вроде... Мы его в здешней церкви нашли (в Смольном была своя церковь, я велел стащить в нее всю ненужную мебель).

— В церкви?..

— В церкви, товарищ комендант. Там, почитай, все лампы были полные, ну мы их и опорожнили.

— Ну, — говорю, — раз в церкви, тогда дело другое. «Святую» лепешку и мне не грех бы отведать!

Все разом заговорили, задвигались, уступили место возле «буржуйки». Лепешки оказались вполне съедобными. Я ребятам сказал: жарить жарьте, но домой — ни-ни, ни горстки муки! Они меня заверили, что и сами понимают. Еще несколько дней красногвардейцы питались лепешками, а там муку увезли, и праздник их кончился.

...Бурный темп событий первых дней революции постепенно сменялся не менее напряженным, не менее страстным, но более организованным, более планомерным движением вперед, созидательной работой по закладке основ новой жизни. Вырабатывался опыт, рождались традиции.

Вездесущий в первые дни революции Военно-революционный комитет — боевой штаб вооруженного восстания и первый орган государственной власти рабочих и крестьян — уступал постепенно свое место вновь создаваемым органам Советского государства. После победы пролетарской революции одна функция за другой от ВРК отходила, и он стал исполнительным органом Совнаркома и ВЦИК. Основными задачами ВРК были теперь борьба с контрреволюцией и наведение революционного порядка в стране и столице. Прошло немного времени, и Военно-революционный комитет изжил себя. В декабре 1917 года по инициативе Ленина была создана Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией, возглавленная славным рыцарем революции, пламенным большевиком Феликсом Эдмундовичем Дзержинским.

Быт Смольного как зеркало отражал происходившие изменения. Жизнь налаживалась, входила в нормальную колею. Становилось ясно, что поддерживать необходимый порядок и нести охрану Смольного силами матросов (которых почти не осталось) и красногвардейцев невозможно. При всей своей преданности революции, стойкости и дисциплине красногвардейцы не обладали ни достаточными военными знаниями, ни опытом несения караульной службы. Обучить охрану из красногвардейцев военному делу, привить ей твердые знания обязанностей часового на посту, выработать необходимые навыки не было никакой возможности. Как и чему можно было научить красногвардейца, пришедшего для охраны Смольного со своим отрядом с завода или фабрики на 3–5 дней, самое большее на неделю, и опять возвращавшегося на завод? Едва успевал он получить элементарное представление о караульной службе, как на его место приходил уже новый, которого нужно было учить заново.

Постоянная текучка в личном составе охраны Смольного таила в себе и другое. Как ни тщательно партийные комитеты и завком и отбирали красногвардейцев для охраны Смольного, никогда нельзя было быть уверенным, что в отряд не затешется какой-либо ловкий негодяй, контрреволюционер. Мы же, коренной состав охраны и ее руководители, не имели возможности не только проверить или изучить людей, которым доверялась охрана Смольного, но даже поверхностно познакомиться с ними, узнать их в лицо. Не проходило дня, чтобы я, обходя посты, не наталкивался на часовых, которых ни я не знал, ни они меня не знали. Сплошь и рядом на этой почве возникали самые нелепые недоразумения, бесконечные конфликты. То я или мои помощники хватали и тащили упиравшегося часового в комендатуру, приняв его за постороннего, то часовой наставлял мне штык в грудь, пытаясь меня арестовать. Просто не хватало терпения.

Поговорил я с Подвойским, ставшим теперь Народным комиссаром по военным делам, с Аванесовым, Дзержинским. Надо, мол, что-то с охраной Смольного делать, нельзя так дальше.

Уговаривать никого не пришлось: все не хуже меня понимали, что красногвардейцам трудно нести охрану Смольного, что нужна воинская часть, но такая, которая сочетала бы в себе красногвардейскую пролетарскую закалку и преданность революции с опытом и знаниями кадровых военных.

Среди войск Петроградского гарнизона найти часть, где преобладал бы пролетарский состав, вряд ли было возможно. Большинство солдатской массы составляли крестьяне, не имевшие той пролетарской и революционной закалки, что заводские рабочие. Да и существовали ли вообще в армии такие части, где основным костяком, основной массой были бы кадровые рабочие?

Я не говорю про матросов, про технические подразделения вроде автоброневого, где процент рабочих был всегда велик. По своему составу они, конечно, подошли, бы, но все такие части были, как правило, малочисленны и выделить из их состава необходимое количество (а нужно было человек 300–400, не меньше) не было никакой возможности, тем более тогда, в конце 1917 года, когда старая армия разваливалась, когда шла стихийная демобилизация, а до создания новой, рабоче-крестьянской армии было еще далеко.

И все же нужные воинские части нашлись. Это были регулярные стрелковые полки, в основной своей массе состоявшие из рабочих, насквозь пронизанные пролетарским духом, почти целиком большевистские, беззаветно преданные революции. Это были полки латышских стрелков, славная гвардия пролетарской революции.

Кому именно пришла в голову мысль возложить охрану Смольного института на латышских стрелков: Свердлову или Дзержинскому, Подвойскому или Аванесову, а может быть, самому Ленину, я не знаю, но решение было принято, и Исполнительному Комитету латышских стрелков (Исколастрел, как его сокращенно называли) было приказано направить в Смольный 300 лучших бойцов для несения караульной службы.

К началу 1918 года количество это было доведено до 1000 человек. Затем часть людей была демобилизована, оставался только тот, кто добровольно хотел продолжать нести службу, и к марту 1918 года в Смольном насчитывалось около 500 латышских стрелков.

Это они, мужественные латышские стрелки, вслед за героическими красногвардейцами Питера и доблестными моряками Балтики выполняли в суровую зиму 1917/18 года, вечно впроголодь, самые сложные боевые задания сначала Военно-революционного комитета, затем ВЧК, Совнаркома и ВЦИК.

Это они, красноармейцы, матросы и латышские стрелки, бдительно несли охрану цитадели революции — Смольного, охрану первого в мире Советского правительства, охрану Ленина!..

* * *

...Ленин! Его неукротимая воля двигала и направляла ход событий, его могучая мысль билась в каждом декрете, каждом постановлении Советской власти. Присутствием Ленина была пронизана вся атмосфера Смольного. Разве можно представить себе Смольный дней революции, Смольный первых месяцев Советской власти без Ленина?

Вот он своей быстрой, уверенной походкой идет по широкому коридору; вот остановился возле окна с каким-то путиловцем в стоптанных сапогах и поношенном пальто, миг — и вокруг плотное кольцо рабочих, солдат, матросов; вот Ленин на трибуне огромного бело-колопного зала сдерживает вскинутой рукой бурю неистовых оваций; вот он в скромном, небольшом кабинете на третьем этаже Смольного склонился над рабочим столом, намечая пути строительства социалистического государства, решая тысячи и тысячи важнейших дел; вот Ильич внизу, в своей комнате, в редкие минуты отдыха...

Ленин пришел в Смольный поздним вечером 24 октября 1917 года, пришел, чтобы двинуть на решающий штурм вставшие под ружье могучие пролетарские колонны, революционные полки и батальоны Петроградского гарнизона, отряды балтийских моряков, чтобы взять в свои руки непосредственное, практическое руководство восстанием, которое он так настойчиво, с такой гениальной прозорливостью готовил.

...Ночь на двадцать пятое октября 1917 года, день двадцать пятого октября, ночь на двадцать шестое октября, еще день, еще ночь, нескончаемые рапорты и донесения, приказы и распоряжения, летучие совещания Центрального Комитета, заседания Петроградского Совета и Военно-революционного комитета, II Всероссийский съезд Советов, доклады о мире и земле, декреты о земле и мире, образование Совета Народных Комиссаров — Ленин! Ленин!! Ленин!!!

Кабинет Ленина наверху, на третьем этаже Смольного. Вход — через небольшую приемную, разделенную на две части простой, незатейливой перегородкой вроде перил: несколько точеных столбиков, на них деревянные поручни, и все. За перегородкой, у маленького столика, секретарь Совнаркома, Он регулирует прием — вызывает к Ленину одних, пропускает других, просит обождать третьих.

Возле столика секретаря дверь в кабинет Ленина — тоже небольшую светлую комнату. Там — письменный стол, несколько стульев, книжный шкаф. Ничего лишнего, никакой роскоши. Все просто, скромно, как сам хозяин кабинета.

Работал Ленин бесконечно много, не знаю, спал ли он и когда. В 10 часов утра он неизменно был у себя в кабинете, днем выезжал на фабрики, заводы, в солдатские казармы, выступал почти ежедневно. Вечером снова в кабинете часов до 4–5 утра, а то и всю ночь. И так день за днем, сутки за сутками. Нередко, обходя под утро посты, я осторожно приоткрывал дверь в приемную и видел дремлющего возле стола секретаря или дежурную машинистку Совнаркома — значит, Ленин еще не ушел, еще работает, а ведь скоро утро.

Квартиры у Ленина в Петрограде не было. По возвращении из эмиграции в апреле 1917 года он поселился с Надеждой Константиновной у своей сестры Анны Ильиничны Елизаровой. С июльских дней — подполье: стог сена в Разливе, Гельсингфорс, Выборг. В начале октября Ильич нелегально вернулся в Петроград, жил на Выборгской стороне в специально подготовленной квартире. Вечером 24 октября он покинул эту квартиру и больше туда не возвращался. Остался в Смольном. Там проходили первые послеоктябрьские дни, нередко и ночи. Если и уходил иногда ночевать, так к знакомым, к Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу.

Недели через две после революции, когда я был уже комендантом Смольного, внизу, в комнате какой-то классной дамы, мы оборудовали жилье для Ленина и Крупской. Это была небольшая комната, разгороженная пополам перегородкой. Вход был через умывальную с множеством кранов, здесь раньше умывались институтки. В комнате — небольшой письменный стол, диванчик да пара стульев, вот и вся обстановка. За перегородкой простые узкие железные кровати Владимира Ильича и Надежды Константиновны, две тумбочки, шкаф. Больше ничего.

Прикомандировал я к «квартире» Ильича солдата Желтышева. Он убирал комнату, топил печку, носил обед из столовой: жидкий суп, кусок хлеба с мякиной и иногда каша — что полагалось по пайку всем. Бывало, Ильич и сам шел вечером в столовую за супом. Несколько раз я встречал его с солдатским котелком в руке.

Потом, когда организовалась совнаркомовская столовая, стало немного лучше. В это же время за квартирой Ильича начала присматривать мать одного из старейших питерских большевиков — Александра Васильевича Шотмана, специально приходившая в Смольный. Она взяла под свое руководство Желтышева, наводила чистоту, следила за питанием Ильича.

Ильич был необычайно скромен и непритязателен. Очень редко он обращался к кому-либо с личными просьбами, а если и просил что-нибудь для себя, то именно просил, а не требовал, неизменно вежливо, деликатно, явно не желая обременять кого-либо своими личными нуждами.

Сижу я как-то у себя в комендатуре, вдруг открывается дверь — на пороге Владимир Ильич, в шубе, шапке, как видно, едет на собрание или на митинг. В руках небольшая изящная деревянная шкатулка.

— Товарищ Мальков, у вас найдется пара минут?

Я вскочил.

— Владимир Ильич, да я...

Он замахал рукой.

— Сидите, сидите. Я ведь по личному делу.

Вид у Ильича какой-то необычный, пожалуй, даже чуть-чуть смущенный. Бережно протягивает мне шкатулку.

— Если вам не трудно, откройте эту шкатулочку, никак у меня не получается. Только, пожалуйста, осторожно, поаккуратнее, не испортьте. Я очень дорожу ею, тут письма от моей мамы.

«От мамы» — так и сказал!

— Владимир Ильич, я сейчас же сделаю.

— Зачем же сейчас? Что вы? Когда время найдется, тогда и откроете. Сейчас я все равно уезжаю. Только, пожалуйста, сегодня. Пока поберегите ее, а когда вернусь, тогда и отдадите.

Владимир Ильич ушел, а я принялся за шкатулку. Взял ее бережно, осторожно, не только что поцарапать, старался не дышать на нее. Провозился с полчаса, открыл. С какой радостью вернул я ее Ильичу, когда он приехал!

Взял Ильич шкатулку, любовно погладил ее полированную поверхность, глянул на меня вприщур:

— Спасибо, товарищ Мальков, большое спасибо!

Когда достали мы халву, я роздал ее работникам Совнаркома, ВЦИКа, Ревкома. Несколько фунтов выделил для Ильича и сам отнес к нему в комнату.

Проходит несколько часов, стук в дверь.

— Войдите!

Входит Надежда Константиновна и кладет мне на стол сверток с халвой.

— Желтышев сказал, что это вы принесли, товарищ Мальков. Спасибо большое, только нам не надо, спасибо. Хотя тут и немного, только вы поровну между всеми товарищами разделите.

— Надежда Константиновна, помилуйте, да у нас этой халвы сколько угодно, я не только вам, всем дал.

— Ну тогда иное дело. Только все равно вы ее возьмите, дайте кому-нибудь другому.

— Другому? Но почему? Быть может, Владимир Ильич не любит халвы?

— Да нет, любить-то еще как любит, только, знаете, она ведь дорогая, а у нас сейчас денег нет. Вы уж извините.

— И не просите, Надежда Константиновна. Не возьму. А о деньгах не думайте. Халва бесхозная, так что раздаем мы ее бесплатно.

Еле-еле уговорил Надежду Константиновну взять халву. Такие они были, Ленин и Крупская, большевики...

В 1917 году Ленин ездил и ходил всюду без всякой охраны. Очень меня это беспокоило. Несколько раз пытался я говорить на эту тему с Владимиром Ильичей, он только рукой махал:

— Помилуйте, батенька, только этого не доставало!

Спорить с ним было бесполезно.

Говорили с Владимиром Ильичей об охране и Яков Михайлович и Феликс Эдмундович, но и они ничего не добились. А ведь Владимир Ильич не только постоянно выезжал из Смольного, частенько под вечер он отправлялся пешком вдвоем с Надеждой Константиновной побродить по улицам, отдохнуть от нечеловеческого напряжения. Пешие прогулки, как я заметил, были излюбленным отдыхом Владимира Ильича.

В 1917 году Ленина, правда, немногие знали в лицо, портретов его еще не публиковалось, но все же мало ли что могло случиться. Когда Владимир Ильич отправлялся на очередную прогулку, на сердце у меня бывало беспокойно. Не говоря ничего Ильичу, я строго-настрого приказывал часовым не спускать глаз с него и Надежды Константиновны, когда они гуляли невдалеке от Смольного, но делать это так, чтобы не попасться Ильичу на глаза. (Знал: заметит, будет сердиться.) А уж если кто чужой к ним приблизится да покажется подозрительным, тут действовать решительно, оберегая Ильича от возможной опасности.

Делать это было сравнительно легко, потому что вокруг Смольного постоянно выставлялись подвижные посты, которые следили, чтобы не было скопления подозрительной публики.

Однажды вечером вбегает ко мне начальник караула и докладывает, что неподалеку от Смольного собралось человек пятнадцать — двадцать, преимущественно баб, и честят на все корки Ленина. А Ильич, как нарочно, недавно отправился с Надеждой Константиновной на прогулку.

Не раздумывая долго, я послал наряд красногвардейцев. Женщин задержали и доставили в Смольный. Решил сам с ними поговорить, разобраться. Отправился было в ту комнату, куда их заперли, только едва вошел, они такой галдеж подняли, хоть святых выноси. Плюнул я в сердцах и ушел. Ладно, думаю, утром разберемся.

Наутро зашел к Надежде Константиновне. Выручайте, говорю. Задержали мы вчера возле Смольного ватагу баб. Очень нехорошо они об Ильиче отзывались, а разговаривать с ними нет никакой возможности: кричат все сразу, слова сказать не дают. Ничего у меня не получается. Может, вас, как женщину, послушают? Передавать же их прямо в 75-ю комнату неловко. Вдруг ничего серьезного нет, меня же на смех поднимут.

— Ладно, — говорит Надежда Константиновна, — ведите меня к вашим арестованным. Посмотрим.

Пошли, а там и половины задержанных нет, за ночь разбежались. Я к часовому; ты чего смотрел? А он плюется:

— Ну их к бесу, товарищ комендант. Они же бешеные. Как дверь я открыл (одна там попросила), они на меня так набросились, еле цел остался. Слава богу, не все разбежались. Нескольких, что посмирнее, успел обратно запереть.

Тем временем Надежда Константиновна — она одна к ним в комнату зашла — выходит. Смеется. Да они, говорит, просто темные обывательницы, какая тут контрреволюция? Отпустите-ка их поскорее, и дело с концом.

1 (14) января 1918 года Владимир Ильич выступал на многолюдном митинге в Михайловском манеже. Вместе с ним на митинге были Мария Ильинична, сестра Владимира Ильича, и швейцарский социалист Фридрих Платтен, сопровождавший Ленина еще при его возвращении из Швейцарии в Россию после Февральской революции.

Едва все трое сели после митинга в машину и машина тронулась, как загремели выстрелы. Платтен, мужчина рослый, здоровый, схватил Владимира Ильича за плечи, пригнул к сиденью и закрыл собственным телом. Шофер дал полный газ, и машина умчалась. Никто из пассажиров, кроме Платтена, не пострадал, да и Платтен отделался легким ранением: пуля поцарапала ему руку. Но кузов машины был прострелен в нескольких местах. Произошло это незадолго до открытия Учредительного собрания. Вот тут уж не посчитались с мнением Ильича и организовали надежную охрану, особенно когда Ильич поехал на заседание Учредительного собрания.

Охрана Смольного все эти дни находилась в полной боевой готовности. Посты были усилены, количество постов увеличено, отпуска в город сотрудникам охраны отменены. В день открытия Учредительного собрания Бонч-Бруевич, управляющий делами Совнаркома, позвонил мне по телефону и передал распоряжение Ленина: поставить всю охрану под ружье, выкатить пулеметы, самому неотлучно находиться в Смольном. Так я и не попал на открытие Учредительного собрания. И охрану Ильича в Таврическом дворце, где заседала учредилка, поручили не нам, а кому-то другому.

Впрочем, даже после покушения Ленина как следует охраняли недолго, считанные дни. Потом он решительно запротестовал и настоял, чтобы охрану убрали. Опять Владимир Ильич ходил и ездил по Петрограду без охраны.

Текущие дела коменданта

Не успел я как следует разобраться с комендатурой Смольного, не успел наладить охрану, как начались «текущие дела», да так и пошли одно за другим. Порою сутками в Смольном не бываешь. Хорошо, помощники у меня подобрались дельные, энергичные, не подводили.

С первого дня работы в Смольном я установил себе незыблемое правило: несколько раз в сутки обойти и лично проверить все посты, утром — особенно тщательно.

31 октября, через день после назначения комендантом Смольного, возвращаясь с утреннего обхода постов, я на пороге комендатуры столкнулся с Николаем Ильичом Подвойским.

— Ты где пропадаешь? — накинулся на меня Николай Ильич.

— Никак нет, не пропадаю. Посты проверял.

— Посты проверял? Ну, это дело другое. Собирайся, едем.

Спрашивать я не привык, куда да зачем, приказ есть приказ. Бушлат, бескозырка на мне. Кольт пристегнут к поясу. Собирается нечего, и так готов.

Подвойский быстро направился к выходу, я за ним. Во дворе ожидала легковая машина, в ней — двое матросов с винтовками. За легковой — грузовик.

Подвойский сел впереди, рядом с шофером, я сзади, на откидное сиденье, и мы тронулись. Грузовик — за нами.

Когда выехали из ворот Смольного, Николай Ильич обернулся ко мне:

— Ты постановление Совнаркома об открытии банков, принятое вчера, знаешь?

Я отрицательно покачал головой. Нет, говорю, не читал. Мне это постановление ни к чему.

— Директора и служащие банков — саботажники, — продолжал яростно Николай Ильич, — являться в банки являются, а денег не выдают, дверей не открывают. Совнарком вчера обязал все банки возобновить сегодня с десяти часов утра нормальную работу, предупредив директоров и членов правлений банков, что в случае неповиновения они будут арестованы. Вот мы сейчас с этими мерзавцами и побеседуем, проверим, как они выполняют постановление Совнаркома.

Между тем машины подкатили к сумрачному, казенного вида зданию одного из банков и остановились. Мы вышли. С грузовика соскочили несколько матросов и красногвардейцев. Приказав им дожидаться на улице, Николай Ильич направился прямо к парадному входу. Я за ним. Дверь была заперта, хотя время уже пятнадцать минут одиннадцатого.

На наш энергичный стук дверь слегка приоткрылась, и на пороге показался величественный, с седыми бакенбардами швейцар. Николай Ильич отстранил его, и мы направились на поиски директора.

Смотрим — окошки у касс настезь, все служащие на местах, но на столах пусто, ни одного документа, ни одной денежной купюры. Кто читает пухлый, потрепанный роман, кто — газету, кто просто беседует с соседями. Итальянцы.

Едва поспевая за стремительно шагавшим Подвойским, я вошел вслед за ним в просторный, роскошно обставленный кабинет директора банка. Из-за обширного стола нам навстречу поднялся дородный, представительный господин лет пятидесяти:

— Чем могу...

Николай Ильич гневно прервал его, не дав окончить фразу:

— Почему банк не работает, а чем дело?

Тот молча пренебрежительно пожал плечами. Подвойский взорвался:

— Не желаете отвечать? Наденьте пальто, собирайтесь. Вы арестованы!

Я положил руку на кольт. Толстяк испуганно заморгал глазами. Чуть побледнел, но продолжал хорохориться:

— Позвольте, на каком основании, по какому праву?

— Не позволю! Основание — постановление Совнаркома. Вон оно, у вас на столе. — Николай Ильич указал на листок бумаги, который директор второпях не успел спрятать, — А право — право дано нам народом, хозяином своей страны. Или вы немедленно откроете банк, или...

Директор молча стал одеваться. Банк открывать он не хотел. Мы забрали еще несколько заведующих отделами, посадили в грузовик и отправились в другой банк. Там повторилась та же история.

Набрав таким манером десятка полтора-два руководящих банковских деятелей, вернулись в Смольный. Николай Ильич повел задержанных под охраной нескольких матросов куда-то наверх, а я вернулся в комендатуру. Не прошло и получаса, как арестованных вывели обратно, посадили на грузовик и развезли по местам. Не знаю, о чем с ними говорили, но через час банки были открыты.

Когда я направлялся в комендатуру, меня окликнул Манаенко, минер с «Дианы», старинный приятель. Он теперь работал у меня помощником.

— Павел, тут к тебе один твой дружок пришел, в комендатуре дожидается! — Манаенко подмигнул и хитро улыбнулся.

Что еще за «дружок»? Открыл дверь комендатуры, глянул — батюшки вы мои светы! Вот так гость! Вытянулся нарочно у порога и рявкнул не своим голосом:

— Здравия желаю, ваше благородие!

Передо мной сидел не кто иной, как бывший командир крейсера «Диана» капитан первого ранга Иванов 7-й, Модест Васильевич. Только в каком виде? От блестящего флотского офицера не осталось и следа. Вместо белоснежной фуражки на его голове красовалась грязная драная папаха; вместо расшитого золотом морского мундира на плечах болталась серая, затасканная, местами изодранная в клочья солдатская шинель.

Злобы против капитана я никогда не имел, наоборот, всегда относился к нему с уважением. Человек он был не глупый, прямой и к нашему брату, матросу, относился неплохо. Навсегда запомнилось его поведение во время восстания на «Гангуте», когда он не допустил участия команды «Дианы» в карательной экспедиции против мятежного крейсера. Запомнилось и его поведение во время волынки у нас на «Диане», чуть не вылившейся в бунт. Ведь все это сошло тогда нам с рук, никто из матросов не пострадал, хотя кое-кто из офицеров и хотел разделаться с зачинщиками.

Да, Модеста Васильевича Иванова матросы знали хорошо, уважали его, верили ему. Недаром в Октябрьские дни, когда встал вопрос о составе коллегии по морским делам, мы — Ховрии, я, другие матросы — рекомендовали капитана первого ранга Иванова. И вот Модест Васильевич, мой бывший командир, здесь, в Смольном. Но в каком виде? Что за маскарад?

— Что, братец, уставился? Трудно узнать капитана первого ранга? — произнес Модест Васильевич с горькой улыбкой.

Из его рассказа я узнал, что еще в момент Октябрьского восстания Иванов заявил некоторым офицерам, предложившим ему принять участие в борьбе против большевиков, что против своего народа, против России не пойдет. Его тут же окрестили «большевиком» и пригрозили расправой.

Сразу после восстания он уехал в Царское Село, где жила его семья: собраться с мыслями, как он объяснил.

Там, в Царском Селе, на его дачу напали красновцы, все разграбили, сам еле живой ушел. Спасибо, бывший вестовой помог достать эту шинелишку.

— Зато теперь во всем разобрался! — закончил свой печальный рассказ бывший командир «Дианы».

Я взволнованно пожал руку капитану первого ранга и отправился разыскивать Подвойского, чтобы рассказать ему всю эту историю. А через день или два, 4 ноября 1917 года, я прочитал подписанное Лениным постановление Совнаркома:

«Назначить капитана первого ранга Модеста Иванова товарищем морского министра с исполнением обязанностей председателя Верховной Коллегии Морского Министерства».

...Прошло еще несколько дней. Понемногу я осваивался со своими комендантскими обязанностями, налаживал охрану. Однажды вечером — звонок. Беру телефонную трубку, слышу голос Варлама Александровича Аванесова:

— Зайди в Ревком, срочно.

Поднимаюсь на третий этаж. В просторной комнате Военно-революционного комитета, как всегда, людно. У большого длинного стола сидит несколько человек: Дзержинский, Аванесов, Гусев... У стены, прямо на полу, кинуты матрацы. Здесь спят в минуты коротких передышек члены Ревкома.

Феликс Эдмундович поднял от разложенных на столе бумаг утомленные глаза, приветливо улыбнулся, кивнул на стул:

— Садись!

Я сел.

— Ты про офицерские клубы слышал? — обратился ко мне Аванесов. — Знаешь, что это такое?

— Слышать слышал, только знать их не очень знаю, бывать там не доводилось.

— Ну вот, теперь побываешь... Развелось в Питере этих офицерских клубов, как поганых грибов после дождя. И в полковых собраниях, и в гостиницах, и на частных квартирах. Идет там сплошной картеж, пьянка, разврат. Но это хоть и мерзость порядочная, все же полбеда. Дело обстоит хуже: есть данные, что кое-какие из этих клубов превратились в рассадники контрреволюции. Надо прощупать.

Возьми четыре-пять матросов порешительнее (народ там с оружием, офицеры, всякое может случиться) и поезжай. Карты, вино, конечно, уничтожишь, клуб прикроешь, а наиболее подозрительную публику тащи сюда, здесь разберемся. Вот тебе адрес одного из клубов, с него и начинай.

Я поднялся.

— Ясно, — говорю. — Можно отправляться?

— Да, действуй.

Вернулся я в комендатуру, отобрал пять человек матросов поотчаяннее, вызвал грузовик, и мы двинулись. По дороге объяснил ребятам задачу. Главное, говорю, не теряться, действовать быстро, энергично. Не дать господам офицерам прийти в себя, пустить в ход оружие...

Подъехали к большому богатому дому. В некоторых окнах свет, а время позднее, за полночь. Поднялись на второй этаж, толкнул я дверь — отперта. Входим в просторную прихожую. Вдоль стены — вешалки, на них офицерские шинели, роскошные шубы, дамские и мужские. Возле большого, в человеческий рост, зеркала на стуле дремлет швейцар. В прихожей несколько дверей, из-за одной доносится сдержанный гул голосов, отдельные выкрики, женский смех, визг.

Увидев нас, швейцар стремительно вскочил, испуганно заморгал. Я молча приложил палец к губам, а другой рукой угрожающе похлопал по пистолету, заткнутому за пояс. Швейцар понимающе кивнул.

Вижу, мужик соображает, можно договориться. Говорю ему шепотом:

— Ну-ка, объясняй географию: что тут за заведение, сколько комнат, как расположены. Много ли сейчас народу, что за публика?

Через несколько минут все стало ясно; большая двустворчатая дверь слева ведет в главный зал, там идет картежная игра. За этим залом две комнаты поменьше — буфет. За буфетом — кухня, в ней «гости» не бывают. Дверь прямо — в туалет, направо — в коридор, вдоль которого расположено несколько небольших комнат. Отдельные кабинеты.

— Только в отдельных кабинетах сейчас редко кто бывает, — пояснил швейцар, — не только господа офицеры, даже дамы совсем стыд потеряли, безобразничают на глазах у всех, в общем зале. Иной раз такое вытворяют, смотреть тошно.

— Ладно, — перебил я швейцара, — безобразия эти прекратим, лавочку вашу прикроем.

Быстро, на ходу наметили план действий: один из матросов остается в прихожей, на всякий случай, если кто попытается бежать. Он же караулит дверь в коридор с отдельными кабинетами. Остальные — в зал: двое остаются в главном зале, трое — в буфетные, собираем всех посетителей, проверяем документы, а там видно будет. Оружие пускать в ход только в крайнем случае.

Выхватили мы пистолеты, дверь — настежь и в зал:

— Руки вверх! Сидеть по местам, не шевелиться.

Мгновенно воцарилась мертвая тишина. Послышалось было пьяное бормотание, истерическое женское всхлипывание, и вновь все смолкло.

Я быстро оглянулся вокруг. В огромной, с высоким потолком комнате по стенам стояло десятка полтора-два столиков. В центре — свободное пространство. Большинство столиков покрыто зеленым сукном, на них — груды бумажных денег, золото, игральные карты. Несколько столов побольше уставлено закусками, бутылками, бокалами вперемежку с грязной посудой.

Вокруг столиков преимущественно офицеры, есть и штатские, несколько роскошно одетых женщин. Одни сидят за столом — таких большинство, — другие сгрудились за спинами игроков вокруг нескольких столиков, где, по-видимому, идет самая крупная игра.

Вдоль стен, между столиками, мягкие невысокие диваны. На них тоже офицеры. Полуобнаженные женщины.

В воздухе плавают густые облака табачного дыма, стоит запах пролитого вина, спиртного перегара, крепких духов... Лица почти у всех землистые, обрюзгшие, под глазами темные круги.

— Советую вести себя спокойно, сидеть на местах. Оружие — на стол, документы тоже. У кого в порядке — отпустим. В случае сопротивления церемониться не будем.

Я многозначительно глянул на свой пистолет.

За столиками засуетились. С мягким стуком на зеленое сукно ложились наганы, офицерские «смит-вессоны», браунинги. Из карманов поспешно вытаскивали офицерские удостоверения, паспорта, разные бумажки. Только что за чудо? Чем больше на столах оружия и документов, тем меньше денег. Вороха банкнот буквально тают на глазах, исчезая, как видно, в карманах игроков. И делается это так ловко, что ничего не заметишь.

Я на мгновение задумался. Насчет денег указаний никаких не было, не говорилось и о личном обыске. Эх, думаю, чего тут церемониться!

— Денег на столах не трогать, они конфискованы!

Тут послышался сдержанный гул, отдельные возгласы. Я чуть повысил голос, и все опять смолкло.

Пока господа офицеры и прочие выкладывали оружие и документы да совали потихоньку деньги в карманы, из буфетной привели еще нескольких посетителей заведения. Кое-кто из них едва держался на ногах, таких ребята не очень почтительно подталкивали в спину.

Мы начали проверять документы, а одного из Матросов а послал, на всякий случай, на кухню посмотреть, нет ли кого там, да заодно раздобыть несколько мешков. Вскоре он вернулся, доложил, что ничего подозрительного на кухне не обнаружил, и принес три мешка.

Проверка документов продолжалась. Тем, у кого они были в порядке, мы предлагали тут же обратиться вон. Повторять просьбу не приходилось, и зал постепенно пустел.

Тем временем я взял один из мешков и сгреб в него со столов все деньги и карты. В другой сложил оружие. Затем принялся за вино. Набил порожний мешок бутылками и поволок в туалетную комнату. Одну за другой отбивал горлышки у бутылок и содержимое выливал в раковину.

Покончив с вином, находившимся в зале, я взялся за буфет. Тащу в туалет очередную партию бутылок, смотрю, в дверях, загородив мне дорогу, стоит шикарная дама лет тридцати — тридцати пяти.

Я остановился.

— Вам что, гражданка?

Она молчит, только вдруг ее начинает бить мелкая дрожь, а на накрашенных губах появляется не то какая-то странная улыбка, не то гримаса. Ну, думаю, оказия. Только мне сейчас и дела, что с припадочной дамочкой возиться. Спрашиваю:

— Документы у вас проверили? Раз проверили, можете идти домой, вы свободны.

Она ни с места. А потом как схватит меня за рукав, сама вся трясется и шепчет:

— Матросик, а матросик, зачем добро переводишь? Дай бутылочку вина, всю жизнь буду за тебя бога молить.

Ну и ну! Вот тебе и шикарная дама!

Отстранил я ее осторожно (все-таки женщина!), подтолкнул к выходу и говорю:

— Идите, идите отсюда, гражданка. Вина я вам не дам, не просите.

Она бух на колени. Обхватила меня за ноги и чуть не в голос кричит:

— Дай, дай бутылку вина! Умираю!

Тут уж меня взорвало. Схватил я ее под мышки, поднял, поставил на ноги, повернул и толкнул к двери. Хватит, мол, тут комедию ломать.

Отскочила она, ощерилась да как завопит:

— Пропади ты пропадом, будь проклят, большевистская зараза!..

Выпалила и бежать. Ну, думаю, и чертова баба. Надо же!

Пока я разделялся с вином, ребята закончили проверку документов. Человек десять офицеров, показавшихся подозрительными, задержали, а остальных выпроводили.

Собрал я всю прислугу и говорю:

— Кто тут у вас главный, разобрать трудно, да нас это и не касается. Зарубите себе на носу и передайте своим хозяевам: ваше заведение по распоряжению Ревкома закрываем.

Если что-нибудь такое еще раз обнаружим, всех заберем. Разговор тогда будет коротким.

Вывели мы задержанных, посадили в грузовик и двинулись в Смольный. Оружие, деньги и задержанных офицеров я сдал в Ревком, а ребят отпустил отдыхать. Ночь кончилась, наступило утро.

Следующей ночью опять пришлось ехать другой офицерский клуб закрывать, а там — еще и еще.

Не успели покончить с офицерскими клубами, как свалилась новая забота — винные склады.

Чего-чего, а вин всяких в Петрограде было запасено вдоволь. Чуть не по всему городу были разбросаны большие и малые винные склады и подвалы. Огромные склады были под Зимним дворцом, на Гутуевском острове и в ряде других мест.

Уже с начала ноября по городу покати́лась волна пьяных погромов. Она разрасталась и ширилась, приобретая угрожающий характер. Иногда погромы возникали стихийно, а чаще направлялись опытной рукой отъявленных контрреволюционеров, стремившихся любым путем нанести ущерб Советской власти, подорвать и вовсе уничтожить советский строй.

Зачинщиками погромов были, как правило, хулиганье, приказчики многочисленных петроградских лавок и лавчонок, обыватели и разный деклассированный элемент. К погромщикам зачастую присоединялись солдаты, а иногда и кое-кто из отсталых рабочих, недавно пришедших из деревни.

Погромщики разбивали какой-либо винный склад, перепивались сами до безобразия, спаивали население, ведрами тащили вино и водку. Разгром винных складов сопровождался дебошами, грабежами, убийствами, порою пожарами. Каждый раз требовалось немало сил и энергии, чтобы обуздать пьяную, одичавшую толпу людей, потерявших человеческий образ. Питерскому пролетариату, молодой Советской власти пришлось принять самые решительные, суровые меры, чтобы прекратить в Петрограде пьяные погромы. Практически организация борьбы с винными погромами была возложена на Военно-революционный комитет.

Одним из первых подвергся нападению винный склад под Зимним дворцом. Разграбить его полностью не разграбили, это было невозможно, так был он велик, но пьяницы кинулись в Зимний толпами.

Мы вначале ничего не знали о существовании винных подвалов в Зимнем дворце. Кто мог предполагать, что русские цари создали под своим жильем запасы вина на сотни, если не на тысячи лет!

Тайну подвалов открыли старые дворцовые служители, и открыли ее не Ревкому, а кое-кому из солдат, охранявших дворец после 25 октября.

Узнав, что под дворцом спрятаны большие запасы вина, солдаты разыскали вход в подвалы, замурованный кирпичом, разбили кирпичную кладку, добрались до массивной чугунной двери с решеткой, прикладами сбили замки и проникли в подвалы. Там хранились тысячи бутылок и сотни бочек и бочонков самых наилучших отборных вин. Были такие бутылки, что пролежали сотни лет, все мхом обросли. Не иначе еще при Петре I заложили их в Санкт-Петербургских подвалах.

Пробравшись в склад, солдаты начали бражничать. Вскоре перепился чуть не весь караул Зимнего. Слухи о винных складах под Зимним дворцом поползли по городу, и во дворец валом повалил народ. Остановить многочисленных любителей выпить караул был не в силах, уж не говоря о том, что значительная часть караула сама еле держалась на ногах.

14 ноября Военно-революционный комитет обсудил создавшееся положение и принял решение: караул в Зимнем сменить, выделить для охраны дворца группу надежных матросов, а винные склады вновь замуровать.

Проходит дня четыре-пять. Сижу я как-то вечером в Ревкоме, беседую с Аванесовым. Тут же Гусев, еще кто-то из членов Ревкома. Является Благодоров, назначенный после Чудновского комендантом Зимнего дворца. На нем лица нет.

— Что там у тебя в Зимнем еще стряслось? — спрашивает его Варлам Александрович.

— Опять та же история! Снова высадили дверь в подвал и пьют как звери. Ни бога, ни черта признавать не желают, а меня и подавно. Вы только подумайте, — обратился ко всем присутствовавшим Благодоров, — за две с небольшим недели третий состав караула полностью меняю, и все без толку. И что за охрана была? Хоть от самой охраны охраняй! Как о вине пронюхают, словно бешеные делаются, никакого удержу. А теперь...

— Позволь, позволь, — перебил Аванесов, — что «теперь»? Кто дверь выбил? Кто пьянствует? Матросы?

— Какие там матросы! Матросов мне еще не прислали, все только обещают. Выделили пока красногвардейцев...

— Так что, красногвардейцы перепились? Что ты мелешь?!

— Нет, красногвардейцы не пьют, но вот народ удержать не могут, тех же солдат... Орут, ругаются, глотки понадрывали, а их никто не слушает. Они было штыки выставили, так солдаты и всякая шантрапа, что из города набились, на штыки прут. Бутылки бьют, один пьянчужка свалился в битое стекло, в клочья изрезался, не знаю, выживет ли. Как их остановишь? Стрелять, что ли?

— Стрелять? Еще что скажешь! — Аванесов на минуту задумался, потом повернулся ко мне. — Знаешь что, Мальков, забирай-ка ты это вино сюда, в Смольный. Подвалы под Смольным большие, места хватит, охрана надежная. Тут будет порядок, никто не позарится.

Я на дыбы.

— Не возьму! К Ильичу пойду, в Совнарком, а заразу эту в Смольный не допущу. Мое дело правительство охранять, а вы хотите, чтобы сюда бандиты и всякая сволочь со всего Питера сбежалась? Не возьму вино, и точка.

— Н-да, история. — Аванесов снял пенсне, протер его носовым платком, надел обратно. Побарабанил пальцами по столу. — А что, товарищи, если уничтожить это проклятое вино вовсе? А? Да, пожалуй, так будет всего лучше. Ладно, посоветуемся с Владимиром Ильичем, с другими товарищами и решим...

Тем временем в Зимний прибыли балтийцы и сразу по-хозяйски взялись за дело. Вместе с красногвардейцами — кого кулаками, кого пинками, кого рукоятками пистолетов и прикладами — всю набившуюся в винные погреба шантрапу и пьяниц из Зимнего вышибли. Трудно сказать, надолго ли, но подвалы очистили, а тут и приказ подоспел: уничтожить запас вина в погребах под Зимним дворцом.

Принялись моряки за работу: давай бутылки об пол бить, днища у бочек высаживать. Ломают, бьют, крушат... Вино разлилось по полу рекой, поднимается по щиколотку, по колено. От винных, паров голова кругом идет, того и гляди очумеешь. А к Зимнему чуть не со всего Питера уже бежит разный люд: пьянчужки, обыватели, просто любители пожить на даровщину. Услышали, что винные склады уничтожают, и бегут: чего, мол, добру пропадать? Того и гляди опять в подвалы прорвутся...

Вызвали тогда пожарных. Включили они машины, накачали полные подвалы воды, и давай все выкачивать в Неву. Потекли из Зимнего мутные потоки: там и вино, и вода, и грязь — все перемешалось.

Толпа между тем все густеет. Подходят рабочие: правильно, говорят. Давно пора эту заразу уничтожить, чтобы не поддавался, у кого гайка слаба. Приказчики же, жулье всякое (монахи, между прочим), те — наоборот. В голос вопят, протестуют. Некоторые, самые отчаянные, становятся на четвереньки и пьют эту пакость. Иные тащат ведра и бутылки. День или два тянулась эта история, пока от винных погребов в Зимнем ничего не осталось.

Ликвидацию винных складов на Гутуевском острове поручили охране Смольного. А склады там были большие. Каждую ночь я отправлял туда наряд в тридцать человек, который уничтожал винные запасы. Пришлось повозиться около месяца, пока все уничтожили.

Один небольшой винный склад довелось нам с Манаенко самим ликвидировать, собственноручно. Шли мы однажды вечером с ним вдвоем по улице, слышим шум, крики. Прямо на нас, пригнувшись, бежит человек, за плечами — мешок, в нем что-то гремит. Манаенко хватя его за шиворот (а силища у Манаенко — на троих хватит), рванул покрепче, мешок и трах о мостовую. В нем бутылки с вином, все вдребезги. Ясно! Значит, рядом винный склад грабят.

Мы поспешили на шум. Подходим — винный подвал, дверь настежь. Оттуда несутся пьяные крики, ругань, звон бьющейся посуды.

Я к двери; «Выходи!» — кричу. Никакого внимания. Орут по-прежнему. Вынул я тогда кольт, сунул в дверь и выстрелил вверх, в потолок. На минуту все смолкло. Несколько солдат выскочили наружу с полными мешками и попытались прошмыгнуть мимо нас, да не тут-то было. Мешки мы у них отобрали — и оземь, а их прогнали. Тем временем в подвале опять шум поднялся, все идет по-прежнему. Что тут делать? Нас-то ведь только двое, а их там, судя по крику, не меньше сотни.

Стоим совещаемся. Слышим вдруг конский топот. Во весь карьер скачет конный разъезд. Подскакали, и прямо на нас, того и гляди сомнут. Схватил я у одного лошадь под уздцы, кричу: «Вы что, очумели, я комендант Смольного!»

Они видят — матросы. Спешились, стали разбираться. Оказывается, их встретили солдаты, у которых мы вино отобрали, и заявили, что на них напали бандиты, грабящие винный склад.

Пока мы с разъездом объяснялись, с улицы опять послышался шум. Бегут солдаты, чуть не целая рота, штыки наперевес. Впереди наши «жертвы».

— Вот они, бандиты, — кричат, — лови их!

Ребята из конного разъезда за винтовки схватились, еще минута, и начнется перепалка. Времени терять нельзя.

— Стой! — гаркнул я что было мочи. — Именем революции, стой!

Солдаты остановились. Несколько человек вышли вперед, приблизились к нам.

— Я — Мальков, комендант Смольного. Ясно? Приказываю подвал очистить, вино уничтожить.

Часа два мы провозились, ни одной целой бутылки, ни одного бочонка не оставили. Все уничтожили.

Вылез я из подвала, а от меня за версту винищем разит. Брюки хоть выжимай: по колено в вине ходил.

Вернулся в Смольный, навстречу Антонов-Овсеенко. Потянул носом воздух:

— Мальков, ты никак пьяный? Неужели выпил?

— Не то что выпил, а прямо залился вином, купался в нем, проклятом!

— А-а, тогда понятно. Склад какой ликвидировал? От такой работы действительно опьянеешь. Надо скорее с этими складами кончать.

26 ноября Военно-революционный комитет вынес решение уничтожить все вино, все винные склады, все запасы спирта, представляющие опасность.

29 ноября был опубликован приказ Военно-революционного комитета по комендатуре Красной гвардии и полковым комитетам Петрограда:

«1. Немедленно арестовывать всех пьяных и лиц, про которых имеется основание полагать, что они участвовали в хищении из винного склада Зимнего дворца и других складов. Полковым комитетам проверять состав рот и задерживать всех участников разгромов винных складов.

2. Немедленно при районных комендатурах Красной гвардии образовать революционные суды, а в воинских частях — гласные товарищеские суды по всем проступкам, унижающим достоинство гражданина-воина.

3. Предать немедленно всех пьяниц и лиц, участвовавших в хищении, революционным и товарищеским судам и немедленно судить их.

4. Революционным и товарищеским судам выносить приговоры: не свыше шести месяцев общественных работ.

5. Особой ответственности подвергнуть и судить полной мерой всех чинов, несущих караулы при винных складах и не исполняющих свой гражданский долг.

6. Немедленно сообщить о всех арестованных и о вынесенных приговорах в Военно-революционный комитет».

Питерские рабочие, Красная гвардия, революционные солдаты, матросы энергично принялись за дело. Пьянство в Петрограде резко пошло на убыль, с погромами винных складов было покончено.

Ликвидация винных подвалов и погребов требовала, конечно, известной смелости и решительности, но в общем-то дело это было не хитрое. Труднее приходилось в тех случаях, когда сталкивались с ловким и изворотливым врагом, когда идти напролом было нельзя, сама специфика операции требовала от ее участников известного опыта и навыков, которых у нас как раз поначалу и не было.

Взять те же офицерские клубы или тайные явки различных контрреволюционных организаций, которых немало расплодилось в Петрограде зимой 1917/18 года. Тут нужно было обеспечить многое: и конспирацию, чтобы никто лишний не знал о сведениях, которыми мы располагаем, о наших планах ликвидации вражеских притопов и явок; надо было обеспечить и внезапность операции, чтобы не дать контрреволюционерам возможности организовать оборону, скрыться или уничтожить улики, и многое другое.

Каждый матрос, красногвардеец, революционный солдат готов был грудью идти на врага: с пистолетом, винтовкой, бомбой в руке кидался в любую схватку. Но тайных методов вражеской деятельности контрреволюционных заговорщиков мы поначалу не знали. Необходимый опыт, знания и навыки приобретались постепенно, в суровой школе беспощадной борьбы с врагами революции. Раз от разу мы действовали искуснее и увереннее. Действовать же приходилось постоянно. Редкий день в Смольный не являлся рабочий или солдат, молодой парнишка или пожилая женщина, являлись и говорили: такой-то человек подозрителен, там-то злоумышляют контрреволюционеры. Действуйте! Защищайте нашу родную Советскую власть. И мы ехали, проверяли, если было надо — обыскивали, явных врагов, накрытых с поличным, арестовывали, вступали в вооруженную борьбу, стреляли, сами кидались под пули, когда иначе было нельзя.

Очень часто сигнал от рядового рабочего, солдата, крестьянина помогал раскрыть контрреволюционный заговор. «...Когда среди буржуазных элементов организуются заговоры, — говорил Ленин, — и когда в критический момент удастся эти заговоры открыть, то — что же, они открываются совершенно случайно? Нет, не случайно. Они потому открываются, что заговорщикам приходится жить среди масс, потому, что им в своих заговорах нельзя обойтись без рабочих и крестьян, а тут они в конце концов всегда натываются на людей, которые идут в... ЧК И говорят: «А там-то собрались эксплуататоры».

Бывало, правда, что подозрения кое-кого из наших добровольных помощников оказывались неосновательными, а простая обывательская болтовня принималась за контрреволюционную вылазку, но чтобы в этом разобраться, требовалась в каждом случае самая тщательная проверка.

...Шел Студеный, вьюжный декабрь 1917 года. Меня срочно вызвал Николай Ильич Подвойский.

— Поступило сообщение, что в Петроград нелегально пробрался Керенский и готовит мятеж. Скрывается он по одному из этих адресов. — Николай Ильич протянул мне клочок бумаги, где карандашом были написаны два адреса.

— Необходимо срочно проверить. Бери людей и поезжай. Если надо, переверни квартиры вверх дном, но разыщи этого паршивого адвокатишку и притащи сюда. Ясно?

Я внимательно прочитал адреса. Одна квартира находилась в районе Зимнего дворца, другая — на Литейном проспекте. Решил начать с той, что возле Зимнего.

Выйдя из Ревкома, я разыскал Манаенко, позвал еще трех из оставшихся в Смольном балтийцев и объяснил им задачу.

Ребята оживились:

— А, старый знакомый! Как же, с Гельсингфорса его помним. Ну, от нас он не уйдет.

Вызвал я машину, и вот мы, пятеро балтийских матросов, уже мчимся по безлюдным заснеженным улицам ночного Петрограда.

Нужный дом нашли без труда. В глубине подворотни, закутавшись с головой в длинный, до пят, овчинный тулуп с высоким стоячим воротником, спал непробудным сном, примостившись на табуретке, здоровенный дворник. Проснулся он лишь после того, как Манаенко приподнял его за шиворот и силой поставил на ноги, да и проснувшись, не сразу понял, что от него требуется.

Сообразив, наконец, что мы намереваемся с его помощью проникнуть в одну из квартир бельэтажа, дворник не на шутку встревожился. Судя по его виду, по тем взглядам, которые он исподлобья бросал, не трудно было догадаться, что он принял нас за грабителей.

Стремясь успокоить дворника, я сказал, что мы не бандиты, а революционные матросы к действуем по приказу Военно-революционного комитета. Если мои слова и произвели на него какое-либо впечатление, то скорее обратное тому, которого я добивался. «Революция», «Военно-революционный комитет» — все эти слова действовали на матерого блюстителя буржуазного благополучия, много лет дружившего с городскими да жандармами, совсем не успокоительно. По его понятию, революционные матросы были ничуть не лучше бандитов. Дворник кряхтел, угрюмо бурчал что-то в свою дремучую бороду и не выражал ни малейшего желания выполнить наше требование. Пришлось снова взять его за воротник тулупа и основательно встряхнуть, прежде чем он отпер массивную парадную дверь и показал нужную квартиру.

Поднявшись по широкой, устланной ковровой дорожкой лестнице, мы остановились. В голове теснились тревожные мысли: что, если, услышав за дверью незнакомые голоса, нам не откроют? Дверь-то такая, что скоро не выломаешь. А вдруг в квартире помимо парадного имеется черный ход, и, пока мы будем ломиться в парадную дверь, Керенский им воспользуется и убежит? Немало было всяких «если», но предаваться размышлениям не было времени.

Наскоро обменявшись мнениями и выяснив у дворника, что черный ход действительно есть, мы разбились на две группы. Двое матросов отправились караулить черный ход, а мы, втроем, выждав минут пять — десять, чтобы дать товарищам время занять пост, приступили к действиям.

Вынув из-за пояса пистолет, я велел дворнику позвонить в дверь и сказать, что он принес срочную телеграмму. Потоптавшись с минуту на месте, дворник нерешительно потянулся к звонку. Позвонил один раз, другой, наконец за дверью послышались чьи-то быстрые шаги и взволнованный женский голос спросил:

— Кто там?

— Телеграмма барыне, срочная, вы уж извиняйте, — скороговоркой выпалил дворник, с опаской поглядывая на мой пистолет.

— А, это ты, Потапыч! Минутку.

В голосе говорившей послышалось облегчение. Загремели запоры, и дверь широко распахнулась. В то же мгновение я оттолкнул плечом неуклюжего Потапыча и стремительно шагнул в неярко освещенную роскошную прихожую. Миловидная молодая женщина в простеньком, небрежно накинутом халатике слабо вскрикнула и, испуганно прижав руки к груди, прислонилась к стене, глядя на внезапно появившихся матросов широко раскрытыми от ужаса глазами.

— Не волнуйтесь, гражданка, — как можно деликатнее сказал я, — по приказу Военно-революционного комитета мы должны проверить, нет ли у вас посторонних.

— Что вы, что вы, какие посторонние? Ведь ночь на дворе! Дома только барыня и ее сестра, даже барина нету, он в отъезде.

— Барыня? А вы кто же будете?

— Я? Я — горничная. Маша...

Несколько придя в себя и осмелев, она даже кокетливо улыбнулась.

— Коли так, давай, Маша, сюда свою барыню да показывай квартиру. Проверим.

В отличие от Потапыча Маша весьма ревностно отнеслась к нашим распоряжениям, и уже через пару минут перед нами предстали две пожилые дамы, а в многочисленных комнатах загорелся яркий свет.

Спросив хозяйку, нет ли в квартире посторонних, и получив отрицательный ответ, мы приступили к обыску. Осмотрели все комнаты, ванную, кухню, заглянули в гардеробы, под диваны и кровати, обшарили каждую щель — никого. Тогда я решил действовать напрямик.

— Гражданка, — обратился я к барыне, — нам известно, что у вас скрывается Керенский, куда вы его спрятали?

— Александр Федорович?! — всплеснула руками хозяйка. — Ночью? Помилуйте! Да он вообще месяца два не показывался. С тех самых пор, как уехал, как произошел этот ужасный... — она запнулась, — этот, эта... революция.

На лице ее было такое неподдельное изумление, что сомневаться в правдивости ее слов не было никаких оснований. Извинившись за поздний визит, мы покинули квартиру и отправились по второму адресу, на Литейный. Там повторилась примерно такая же история. Пришлось возвращаться в Смольный с пустыми руками.

— Ну, — встретил меня Подвойский, — привез Керенского?

Я удрученно развел руками.

— Что, не нашли? Признаться, я этого ожидал. Данные-то были не очень надежные, однако проверить следовало. Зато теперь мы твердо уверены, что в Петрограде Керенского нет. Так что, Павел Дмитриевич, не расстраивайся, не зря съездил.

Пришлось утешиться разъяснением Николая Ильича, а досада все же оставалась. Куда как было бы хорошо поймать этого мерзавца Керенского!..

А тут прибавилось новое огорчение. Дня через два после неудачи с Керенским мне приказали арестовать группу студентов и гимназистов из буржуйских сынков, затеявших контрреволюционный заговор.

Группка была небольшая, этак с десятков человек — молокососы, белоподкладочники. Направил я на операцию несколько латышских стрелков во главе с заместителем командира отряда, охранявшего Смольный, а сам не поехал. Дело, решил, ерундовое, обойдутся. А получилась сплошная чепуха. То ли адрес товарищам записали не совсем точно, то ли латыши сами что-то напутали, только, найдя дом, где проходило контрреволюционное собрание, и поднявшись на нужный этаж, латыши начали стучать в дверь противоположной квартиры, а не туда, куда следовало.

Из-за запертой двери спросили, что нужно. Не тратя времени на дипломатию, командир группы ответил:

— Отпирай! Как враги народа, вы арестованы.

В ответ загремели выстрелы.

Командир, человек смелый и решительный, недолго думая, кинулся к двери и начал ее высаживать. Ну, его сквозь дверь и подстрелили, как куропатку. Он упал, обливаясь кровью.

Ребята оттащили своего командира от злосчастной двери, залегли и открыли огонь из винтовок. Им отвечали из пистолетов. Такая пальба поднялась, настоящее сражение.

Стреляли латыши, стреляли, извели по паре обоим, никакого проку: противник не сдается, а командир истекает кровью. Оставив двух человек на страже, стрелки подхватили своего командира и поспешили в Смольный за подмогой.

Ввалились они ко мне, докладывают, а тут не до доклада. Командир еле дышит. Вызвали мы скорее врача и отправили раненого в госпиталь, потом начали разбираться.

Рассказ латышей удивил меня необычайно. Чтобы студентики и гимназисты, белоручки, маменькины сынки оказали такое сопротивление и устояли против латышских стрелков? Не может такого быть! Что-то тут не так. Надо самому ехать!

Вместе с расстроенными латышами отправились к месту происшествия. Поднялись на третий этаж, где нас ожидали двое стрелком, оставшихся в охране, глянул я на номер квартиры и плюнул с досады. На двери ясно виднелась цифра пятнадцать, студенты же отсиживались в шестнадцатой квартире.

Разбил я свой отряд на две группы: одним велел штурмовать квартиру № 16, а сам с несколькими латышами решил прорваться в пятнадцатую квартиру. Надо же разобраться, что за воинственный народ там засел.

С шестнадцатой квартирой никакой возни не было. Вышибли латыши дверь, а за ней — никого. Обшарили всю квартиру, опять ни души. Заслышав перестрелку, студенты вместе с хозяевами квартиры удрали через черный ход (поймали их только несколько дней спустя).

Пока латыши обыскивали шестнадцатую квартиру, я занялся пятнадцатой. Встал сбоку двери (чтобы шальная пуля не зацепила) и крикнул во весь голос:

— Я комендант Смольного Мальков. Открывай немедленно, никого не тронем. Не то забросаем ваше логово гранатами к чертовой бабушке!..

Прошло около минуты, и дверь чуть приоткрыли, не снимая цепочки. Кто-то пристально посмотрел на меня и сказал в глубину квартиры:

— Не брешет. Верно, Мальков!

Дверь распахнулась. На пороге стоял невысокий худощавый пожилой человек с пистолетом в одной руке и гранатой в другой. Я его знал. Это был известный тогда в Питере «идейный» анархист, из тех, которые дрались лихо. Выходит, наши латыши вместо студентов нарвались на анархистов, а те, народ отчаянный, услышали, что их кто-то намеревается арестовать, и, не раздумывая долго, кинулись в драку.

Жертвы были не только с нашей стороны, у анархистов подстрелили одного из вожаков. Насмерть. Наш же командир ничего, выжил. Пролежал в госпитале недели полторы-две, встал на ноги и явился в Смольный. Здоров, говорит, возвращаюсь в строй, а на самом лица нет.

Велел я ему еще с недельку отлежаться, а начпроду приказал усиленно питать его. Сложнее было с одеждой. Его теплая, почти новенькая офицерская шинель на меху была продырявлена пулями и так залита кровью, что никуда не годилась. Ничего взамен у него не было, морозы же стояли лютые.

Надо выручать парня. Пошел я в Ревком, чтобы выпросить денег на покупку новой шинели; куда там, насчет денег и слушать не хотят. Еле уговорил Феликса Эдмундовича. Он меня поддержал и дал указание выдать 300 рублей на покупку новой шинели.

На следующий день после стычки с анархистами в комендатуру Смольного явился один из них, тот, что вчера дверь нам открыл. Волосы до плеч, борода клинышком, на голове мятая

фетровая шляпа, на плечи накинута теплая пелерина — носили тогда такую одежду: пальто не пальто, а что-то вроде широкого балахона без рукавов.

Вошел, сел без приглашения, небрежно развалившись на стуле. В углу рта дымится изжеванная папироса.

— Товарища нашего убили. Так? Хоронить надо по всей форме. Так? Веди к Ленину! Так.

Встал я из-за стола, подошел к нему и как мог спокойно отвечаю.

— Прежде всего сядь прилично, не в кабак пришел. К Ленину я тебя не пущу, не о чем тебе с Лениным разговаривать. Насчет похорон можешь с управляющим делами Совнаркома Бонч-Бруевичем договориться. Только и к Бонч-Бруевичу я тебя тоже не пущу, пока не бросишь фокусничать.

Он вскипел:

— Что значит фокусничать?

— А то. Вынь сначала бомбы, — я ткнул пальцем во вздувшуюся возле пояса пузырями пелерину, — отдай пистолет, вот тогда я, так и быть, спрошу Бонч-Бруевича, захочет ли он с тобой разговаривать.

Анархист гулко расхохотался, обнажив гнилые, прокуренные зубы.

— А ты, оказывается, ушлый. Так? Ладно, на тебе бомбы, держи, буду возвращаться от вашего Бонча, возьму. Так! Веди к своему управляющему, Так.

Распахнув пелерину, он вытащил из-за пояса несколько ручных гранат-бутылок и здоровенный кольт.

— Все?

— Нет, — говорю, — не все. Пистолеты, что у тебя в карманах, тоже давай. Тут они тебе ни к чему.

Продолжая заливисто хохотать, анархист вынул из каждого кармана брюк по нагану и, выложив на стол, присоединил к бомбам, Я сгреб весь его арсенал в ящик стола, запер на ключ, позвонил Бончу и отправил анархиста к нему.

Вернулся мой анархист от управляющего делами Совнаркома примерно через час, вполне довольный.

— Ну вот, договорился. Так. Похороны устроим что надо, первый сорт. Так. Давай оружие. Так. Я пошел.

— Договорился так договорился. Тем лучше. А насчет оружия... Зачем тебе столько? Того и гляди сам взорвешься, людей покалечишь. Держи свой револьвер, — я протянул ему один наган, — а остальное пусть останется у меня, сохраннее будет.

Думал я, расвирепееет анархист, уж больно они все до оружия были падки, однако ничего.

— Жмот ты, — говорит, — вот кто. Так! Ну, да черт с тобой, оставь себе эти цацки на память. Так. У нас этого добра хватит, не пропаду. Так!

На сей раз наша встреча с представителем анархистов закончилась мирно.

Сами по себе «идейные» анархисты, состоявшие в своем большинстве из бунтующей деклассированной интеллигенции, особой опасности не представляли. Но, вольно или невольно,

они служили притягательным центром для всякой темной публики, любителей легкой наживы, аферистов, авантюристов, просто отъявленных бандитов, грабителей и прочих представителей уголовного мира. Нередко разнузданная, демагогическая агитация анархистов оказывала некоторое влияние и на кое-кого из незрелых и недостаточно классово закаленных солдат, матросов и даже рабочих. Поэтому Советской власти вскоре пришлось всерьез взяться за анархистов.

Прошло какое-то время, и я воочию увидел, к чему приводит разлагающая деятельность.

Как-то под вечер позвонил мне по телефону Подвойский и попросил зайти в Ревком. Прихожу, сидит Николай Ильич туча тучей. Я сразу смекнул, что стряслась какая-то беда. Так оно и оказалось.

Спокойно, не повышая голоса, Николай Ильич рассказал, что несколько дней тому назад в Петроград вернулся с Украины отряд моряков-кронштадтцев, человек этак в пятьсот или даже побольше. Расположился отряд в помещении какого-то училища на Невском. Ведут себя матросы безобразно, разложились, пьянствуют, дебоширят. Завелись в отряде анархисты, они и верховодят. Довели отряд до ручки.

— Придется, как видно, отряд разогнать, а зачинщиков арестовать и судить по всей строгости революционных законов.

— Вот тебе и кронштадтцы! Опозорили Балтийский флот! — с горечью закончил Подвойский.

Мне стало до того горько, что и слов нет. Чтобы наши балтийцы, краса и гордость революции, превратились в шайку бандитов? Не может того быть!

— Николай Ильич! А не вышла ли какая ошибка? Может, это не кронштадтцы, не матросы вовсе?

— Нет, брат, данные точные. И что отряд матросский — точно и что безобразничают — тоже точно. Другое дело, может, весь отряд и не так плох, только какая-то его часть разложилась. Проверить проверим, но отряд придется, по-видимому, расформировать. Зачинщиков — под суд. Вот тебе и поручаем проверить всю эту историю.

Вышел я из Ревкома как вводу опущенный. Словно в самую душу мне наплевали. Неужто, думаю, до такого наша братва докатилась? Нет, не так тут что-то.

Рассуждать, однако, особо не приходится. Надо действовать, а как? 500 моряков не шутка, это тебе не дюжина анархистов.

Чтобы наметить конкретный план действий, решил провести основательную разведку. Дело это поручил комиссару 1-го коммунистического отряда латышских стрелков Озолу.

На Озола, рижского металлиста, большевика-подпольщика, можно было положиться как на каменную стену. Немногословный, всегда спокойный и выдержанный, Озол обладал поистине стальной волей, когда речь шла о борьбе за дело революции. Латышские стрелки, да и все, кто знал Озола, уважали его и крепко любили. Хороший был парень, надежный!

Пригласив Озола к себе, я коротко изложил ему суть дела. К моему предложению пойти на разведку он отнесся с таким невозмутимым спокойствием, как будто речь шла о прогулке ради собственного удовольствия. Между тем задача ему предстояла не легкая. Надо было проникнуть в отряд, тщательно изучить его расположение, лично осмотреть места хранения оружия, ознакомиться с караульной службой, присмотреться к матросам. И все это нужно было делать так, чтобы никто тебя ни в чем не заподозрил, иначе могли вышвырнуть из отряда, не дав собрать никаких сведений, а то и просто прикончить, если информация, которой располагал Подвойский, хоть вполовину соответствовала действительности.

Все тщательно обсудив и взвесив, мы избрали самый простой, естественный путь. Озол, захватив на всякий случай кого-либо из своих стрелков, является в отряд будто бы в поисках приятеля, матроса Иванова, с которым вместе брал Зимний. С какого корабля Иванов, ему неизвестно, знает одно — кронштадтец. Дело это в те времена было обычное и никаких подозрений вызвать не могло. Среди моряков отряда наверняка найдется не один Иванов. Всех их Озолу, конечно, покажут, Матросы — народ радушный. С каждым из Ивановых Озол будет разговаривать и, убедившись, что это не тот Иванов, который ему нужен, будет просить показать другого, таким образом проведет два-три часа в отряде, выяснит все, что требуется.

Наступило утро, и Озол вместе с одним из латышских стрелкой отправился на разведку.

Прошло два часа, три, Озол не возвращался. Я начал уже не на шутку тревожиться, как вижу — идет. Вошел. Молча сел. Не спеша закурил.

— Ну как?

— Все в порядке.

Скучно, немногословно, но с предельной точностью Озол обрисовал обстановку. Он выяснил все, что нас интересовало. Чего не удалось посмотреть самому, то рассказали словоохотливые матросы — помощники в розысках мифического Иванова.

В отряде действительно человек пятьсот. Все кронштадтцы. Пьяных Озол не встретил, особых безобразий не заметил, но и порядка не видно. Караульной службы, как положено, не несут, пост только один, да и тот снаружи, у входа в училище. Внутри здания постов нет.

Разместился отряд на первом этаже какого-то учебного здания. Коек нет, спят в нескольких больших комнатах на полу, на матрацах. Больше половины отряда — в огромном актовом зале. Там же, по стенам, в пирамидах все винтовки отряда. Пулеметы хранятся отдельно, в комнате, примыкающей к залу. Поста возле нее нет.

Есть дневальные и дежурные, но к обязанностям своим относятся небрежно, по ночам спят. Здесь, говорят, не фронт, чего зря стараться?

Как понял Озол из услышанных краем уха разговоров, в отряде беспокойно, идет какая-то буза, но в чем дело, выяснить не удалось.

...Наступила ночь. К центральному подъезду Смольного института подошли два грузовика и легковая машина. В грузовиках разместилось около тридцати человек латышских стрелков с тремя пулеметами, в легковую сели Озол, командир латышских стрелков Берзин, я и Манаенко, и наш небольшой отряд двинулся.

По указанию Озола остановились метрах в двухстах не доезжая училища, чтобы грохот грузовиков не вызвал преждевременной тревоги. Быстро, в абсолютном молчании выгрузились.

Возле подъезда, подняв воротник подбитого ветром бушлата, заложив руки в рукава и держа прижатую локтем винтовку наперевес, прогуливался матрос-часовой.

Головная группа латышских стрелков, предводительствуемая Озолу, молча миновала часового. Вслед шли мы с Манаенко, а замыкала шествие остальная часть нашего небольшого отряда во главе с Берзиным.

Поравнявшись с часовым, мы с Манаенко (тоже в бушлатах и бескозырьках) остановились, и я закурил. Вспышка зажигалки была сигналом. Группа Озола развернулась и приблизилась к училищу с одной стороны. Берзин подходил с другой.

Шагнув к часовому, я положил руку на ствол его винтовки. Манаенко стоял рядом, готовый в любой момент прийти мне на помощь.

— Не признаешь, браток? — спокойно, не повышая голоса, спросил я часового.

Он рванул винтовку к себе.

— Но-но! Не шути. Приятель нашелся!..

В то же мгновение Манаенко схватил его за руки и сжал, как в стальных тисках. Опешивший от внезапного нападения часовой не мог и шевельнуться. Без труда я выдернул у него винтовку.

— Приятель не приятель, а узнать меня ни мешало бы. Я комендант Смольного Мальков. Слыхал? За плохое несение караульной службы пойдешь под арест. Посидишь на губе, авось поумнееешь. Взять его!

Латыши моментально подхватили вконец обескураженного часового, и наш отряд беспрепятственно проник в здание. Оставив по указанию Озола у входов в комнаты, где размещалась часть матросов, небольшой, заслон с пулеметом, мы ворвались в актовЫй зал. Ни один из спавших там моряков не успел проснуться и толком понять, что произошло, как латыши с винтовками наперевес цепочкой встали вдоль пирамид с оружием, а Берзин, Манаенко, я и двое пулеметчиков, латышских стрелков, выкатили пулеметы в центр зала, взяв весь зал под обстрел.

— Лежать на местах, не шевелиться! — рявкнул я. — Первого, кто поднимет голову, прострочу к чертовой матери!

Тут проснулись все. На матрацах зашевелились, послышался сдержанный гул голосов, но ни один матрос не попытался подняться. Не упуская ни на минуту инициативы, не давая морякам прийти в себя и подумать о сопротивлении, я продолжал:

— Я комендант Смольного Мальков, матрос крейсера «Диана». Прибыл по приказу Ревкома. Отряд ваш разоружаю. Пьянствуете, безобразничаете, позорите весь Балтийский флот, а еще кронштадтцы! Да какие вы кронштадтцы...

И тут я не сдержался и завернул такое, что, несмотря на весь трагизм положения, откуда-то из угла донесся восторженный возглас:

— От чешет! Ай да «Диана»!

Этот возглас разрядил напряжение. Раздался смех, полетели шуточки, вопросы. И все — лежа, под грозно ощерившимися дулами наших пулеметов.

Подняв руку, я восстановил тишину.

— Где начальник отряда, комиссар? Давай их сюда. Буду с ними говорить. При всех!

— Да их тут нет, — ответили с одного из ближних матрацев, — они там, в той комнате.

Из-под одеяла высунулась голая рука, указывая на дверь в дальнем углу зала. Я молча кивнул Берзину, Он направился к этой двери, как вдруг она с треском распахнулась. На пороге стояли двое матросов с пистолетами и бомбами в руках. В зале вновь воцарилась угрюмая, настороженная тишина. Латыши припали к пулеметам, стоявшие у пирамид защелкали затворами. Еще минута, и могло такое начаться. Только тут один из матросов, стоявших в дверях (как оказалось, комиссар отряда), глянул на меня и вроде неуверенно спрашивает:

— Мальков? Павел, никак ты?

Смотрю, а это один из авроровцев, с которым в канун Октября мы обсуждали, как отогнать в Кронштадт царскую яхту «Штандарт».

— Я-то я, а вот ты до чего дошел! На весь Питер флот осрамили. Не успели приехать — пьянки, грабеж. Глаза бы мои не смотрели!

— Стоп, комендант. Задний ход! Грех, конечно, есть. Только ты отряд не хули. С заразой мы разделились сами.

Я недоуменно смотрел на комиссара.

— Ты вот что, машинки-то свои убери, — невозмутимо продолжал комиссар, кивнув на наши пулеметы. — Не к контрикам пришел, не в офицерское собрание. Ребятам дай встать, тогда и поговорим по-человечески, по-матросски.

Комиссара поддержал дружный гул голосов. В них не было ни угрозы, ни озлобления. Действительно, ведь к своим пришли, к балтийцам!

— Ладно, вставайте уж, вояки! Тоже боевой отряд, кронштадтцы. Дрыхнут, как у жены на перине. Приходи и бери голыми руками!

Тем временем моряки дружно поднимались, поспешно натягивали брюки, матроски. Некоторые узнали Озола, слышались восклицания:

— Гляди, гляди, бисов сын! Вот какого дружка он искал.

— Ну и хитер, ох, хитер!

Начался митинг. Командир отряда и комиссар рассказали, что еще перед отъездом на Украину, при комплектовании отряда, в него попало несколько анархистов. Своей демагогической агитацией им удалось вскружить голову некоторым молодым матросам. Уже там, на Украине, во время жарких боев было несколько случаев нарушения дисциплины, но дальше незначительных проступков дело не шло, зато когда отряд вернулся а Питер и напряжение спало, анархисты развернулись вовсю. Достали откуда-то вина, перепились, устроили один дебош, другой...

Как раз вчера за них взялись всерьез. Зачинщиков под вечер арестовали и заперли в одной из комнат, решив сдать в Смольный. Остальные, кто сдуру за ними потянулся, дали слово никогда больше не безобразничать. Отряд им верит, за них отвечает.

— А вот насчет дисциплины, насчет того, что поймали вы нас, как курей на насесте, — закончил комиссар, — это правильно. Только об этом разговор особый. Дело это внутреннее, так что не обессудьте, сами разберемся, без посторонних.

Митинг был окончен. Нам тут делать было нечего. Дружески распрощавшись с нашими недавними «противниками», мы с легким сердцем покинули отряд.

— Что за ребята, — мечтательно проговорил Озол, когда мы ехали обратно в Смольный, — золотой народ!

Несколько минут он молчал, потом заговорил совсем другим тоном, жестко, сурово:

— И вот заведется такая пакость. Бурьян. Выдирать его надо. Без всякой пощады!

Ранним утром моряки доставили в Смольный под конвоем зачинщиков безобразий. Посадив их под стражу, я пошел в Ревком и подробно доложил обо всем Николаю Ильичу.

— Думаю, — закончил я свой доклад, — разоружать и расформировывать отряд не следует.

— Да, не следует, — поставил точку Подвойский. — С этим кончено!

Наступил 1918 год. Положение в Питере упрочилось, жизнь постепенно налаживалась. Советская власть победоносно распространилась по всей стране. 22 января (4 февраля) 1918 года Совнарком выступил с обращением:

«Всем, всем, всем!

Ряд заграничных газет сообщает ложные сведения об ужасах и хаосе в Петрограде и пр.

Все эти сведения абсолютно неправильны. В Петрограде и Москве полнейшее спокойствие. Никаких арестов социалистов не произведено. Киев в руках украинской Советской власти. Киевская буржуазная Рада пала и разбежалась. Полностью признана власть харьковской украинской Советской власти. На Дону 46 полков казаков восстало против Каледина. Оренбург взят советскими властями, и вождь казаков Дутов разбит и бежал...

С продовольствием в Петрограде улучшение, сегодня, 22 января 1918 старого стиля, петроградские рабочие дают 10 вагонов продовольствия на помощь финляндцам».

Текст этой радиogramмы, облетевшей весь мир, был написан Владимиром Ильичей Лениным.

Да, Советская власть крепко стала на ноги, по всей стране устанавливается твердый революционный порядок.

Конечно, трудности на нашем пути стояли еще огромные. В стране свирепствовала разруха, доставшаяся молодой Советской Республике в наследство от векового господства помещичье-самодержавного строя и четырех лет тяжелой империалистической войны. По-прежнему не хватало продовольствия, топлива, одежды. Многие фабрики и заводы стояли, Нет-нет, а обнаруживались контрреволюционные заговоры. Русские помещики и капиталисты не собирались без боя отказаться от утраченного господства, не желали признавать Советскую власть, пакостили везде и всюду. Их усиленно поддерживала буржуазия Англии, Франции, Соединенных Штатов Америки и других капиталистических государств. Значительную часть территории нашей Родины попирали кованые сапоги солдат кайзеровской Германии, война с которой не была еще закончена.

Начало января 1918 года ознаменовалось раскрытием крупного контрреволюционного офицерского заговора в Петрограде, приуроченного к 5 (18) января 1918 года — дню открытия Учредительного собрания. Заговор был своевременно ликвидирован ВЧК, Однако в день открытия Учредительного собрания отдельные провокаторы из числа уцелевших заговорщиков пытались устроить на улицах Питера манифестацию, а когда эта затея провалилась, открыли кое-где стрельбу по красногвардейским, солдатским и матросским патрулям, охранявшим порядок в городе. На следующий день организаторы стрельбы пустили по городу грязную сплетню, будто красногвардейцы расстреливали рабочих.

7 января 1918 года, в воскресенье, Исполком Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов выступил на страницах «Известий» с воззванием:

«Ко всему населению Петрограда!

Враги народа, контрреволюционеры и саботажники распространяют слухи о том, что в день 5 января революционные рабочие и солдаты расстреливали мирные демонстрации рабочих.

Делается это с одной целью: посеять смуту и тревогу в рядах трудовых масс, вызвать их на эксцессы и под шум произвести те покушения на вождей революции, которыми они давно грозятся.

Уже установлено, что имели место провокационные выстрелы в рабочих, солдат и матросов, охранявших порядок в столице.

Исполнительным Комитетом Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов предпринято самое строгое расследование событий 5 января. Все виновные в пролитии крови

революционных рабочих и солдат, буде таковые имеются, будут привлечены к ответственности...

Исполнительный комитет Петроградского Совета Р. и С. Д.».

Учредительное собрание, сразу же обнаружившее свое антинародное, враждебное Советской власти лицо, не просуществовало и суток и на следующий день после открытия было распущено решением Совнаркома и ВЦИК.

«Закрыв» Учредительное собрание Анатолий Железняков, с которым еще недавно мы отправляли в Кронштадт царскую яхту, командовавший охраной Таврического дворца в день открытия Учредительного собрания. Он был свидетелем того, как Ленин, Свердлов и другие большевики покинули собрание, отвергшее внесенную Яковом Михайловичем ленинскую Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Ранним утром 6 января Железняков поднялся на трибуну и предложил остававшимся в зале правым эсерам, меньшевикам и прочим врагам революции очистить помещение, непреклонно заявив: «Караул устал!»

Прошел январь 1918 года, начался февраль. 18 февраля (далее везде по новому стилю, выведенному в Советской России с 1 февраля 1918 года) германское командование вероломно нарушило перемирие с Советской Россией, и орды немецких захватчиков двинулись в глубь страны. Над Советской Республикой нависла смертельная опасность. Ленин потребовал немедленного заключения мира с Германией и одновременно обратился к трудящимся нашей Родины с пламенным призывом: «Социалистическое отечество в опасности!»

В Петрограде тревожно загудели фабричные и заводские гудки. Питерский пролетариат грудью встал на защиту революционной столицы. Вновь, как и в Октябрьские дни, к Смольному нескончаемым потоком потянулись рабочие и работницы красного Петрограда. Всяк, кто мог держать винтовку, становился в строй. Спешно формировались отряды и дружины, батальоны и полки и прямо из ворот Смольного с песней отправлялись в бой.

В Петрограде был создан Комитет революционной обороны города. В него вошли Свердлов, Благонравов, Бонч-Бруевич, Володарский, Гусев, Еремеев, Косиор, Крыленко, Механошин, Подвойский, Урицкий и другие видные деятели нашей партии и крупные военные работники.

Комитет революционной обороны, работавший под непосредственным руководством Ленина, возглавил мобилизацию сил на борьбу с немецкими захватчиками и одновременно твердой рукой пресекал всякие попытки контрреволюции в Петрограде нанести Советской власти удар в спину.

В Петрограде в те дни был выявлен ряд небольших контрреволюционных групп, и ликвидация их возлагалась сплошь и рядом на латышских стрелков. Действовали латышские стрелки безукоризненно, как безукоризненно они несли и охрану Смольного. В значительной своей массе коммунисты, они были беспредельно преданы делу пролетарской революции, Советской власти. Суровые, решительные, не знавшие страха в борьбе с врагами революции, на редкость сплоченные и дисциплинированные, латышские стрелки по праву могут быть названы, наряду с красногвардейцами Питера и моряками Балтики, железной гвардией Октября.

...В первых числах марта 1918 года мне позвонил Урицкий. Оказалось, что рабочие Колпино схватили отсиживавшегося под Петроградом брата Николая II — великого князя Михаила Александровича Романова и решили с ним разделаться. Сколь ни справедлив был гнев рабочих против великого князя, беспрестанно интриговавшего и строившего различные козни против Советской власти, допускать самосуд было нельзя.

Урицкий приказал мне немедленно забрать Михаила Романова и посадить в Смольный под стражу, не туда, где содержались прочие арестованные, а куда-нибудь в другое место, так, чтобы никто лишний не знал.

— Если придут к вам представители колпинских рабочих и потребуют Михаила, вы им отвечайте; нет, мол, такого. Ничего не поделаешь, придется так поступить, уж очень народ озлоблен. А мы тем временем решим, как быть с ним дальше.

Так я и сделал. Запер Михаила Романова в отдельную комнату на третьем этаже Смольного и приставил надежную охрану. Сам по несколько раз на день ходил проверял, крепко ли стерегут царского брата.

Опасения Урицкого оказались напрасными. Никто из рабочих за Михаилом не явился. Уверенность в том, что Советское правительство правильно решит судьбу этого отпрыска ненавистного дома Романовых, была у рабочих куда сильнее, чем стихийный гнев и ненависть.

9 марта 1918 года Совет Народных Комиссаров постановил:

«Бывшего великого князя Михаила Александровича Романова, его секретаря Николая Николаевича Джонсона, делопроизводителя Гатчинского дворца Александра Михайловича Власова и бывшего начальника Гатчинского железнодорожного жандармского управления Петра Людвиговича Знамеровского выслать в Пермскую губернию впредь до особого распоряжения. Местожительства в пределах Пермской губернии определяется Советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, причем Джонсон должен быть поселен не в одном городе с бывшим великим князем Михаилом Романовым.

Председатель Совета Народных Комиссаров *В. Ульянов (Ленин)*».

Мне в эти дни было уже не до Михаила Романова. Надвинулись другие дела, поважнее.

В первых числах марта как-то ночью меня вызвал Яков Михайлович Свердлов и сообщил, что по предложению Ильича принято решение о переезде Советского правительства из Петрограда в Москву. Сначала переедет ВЦИК, сказал Яков Михайлович, следом — Совнарком. В дальнейшем постепенно будут переведены все правительственные учреждения.

— Вам, товарищ Мальков, придется принять самое активное участие в организации переезда правительства. Охрана поезда Совнаркома возлагается на вас. Вы назначаетесь комендантом поезда. Учтите, в поезде Совнаркома поедет Владимир Ильич. Об охране Ильича в пути надо особо побеспокоиться, все организовать наилучшим образом. Яков Михайлович сообщил мне, что охрану поезда Совнаркома будут нести в пути следования латышские стрелки из охраны Смольного.

— Выделите человек сто пятьдесят — двести самых надежных, которые поедут с вами. Отряд латышских стрелков переводится в Москву весь, целиком. Кто не поедет с поездом Совнаркома, выедет из Петрограда в следующие дни. В Москве, латышским стрелкам поручается охрана Кремля, где будет находиться Советское правительство, и здание гостиницы «Националь». В «Национале» будет жить Владимир Ильич и еще ряд товарищей. Разместятся латыши в Кремле.

— Ясно, Яков Михайлович. — Я поднялся, полагая, что беседа окончена.

— Ну, а ваша собственная судьба вас не интересует? — остановил меня Яков Михайлович.

— Интересует, конечно. Только, думаю, когда будет надо, вы скажете.

— Обязательно скажу! — Яков Михайлович усмехнулся, — Так вот. Вы назначаетесь комендантом Московского Кремля и по прибытии в Москву сразу же вступите в исполнение своих обязанностей.

Через несколько дней я получил из Управления делами Совнаркома секретный приказ:

«УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ КРЕСТЬЯНСКОГО И РАБОЧЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ РОССИИ

9 марта 1918 г.

г. Петроград

Коменданту Смольного товарищу Малькову

ПРИКАЗ

Предписывается Вам сдать Ваши обязанности коменданта Смольного товарищу, которого Вы оставляете себе в преемники. Завтра, 10 марта с. г., к 10 часам утра Вы должны и прибыть по адресу: станция «Цветочная площадка» Эта станция находится за Московскими воротами. Пройдя ворота, надо свернуть налево по Заставской улице и, дойдя до забора, охраняющего полотно железной дороги, и тут вблизи будет железнодорожная платформа, называемая «Цветочная площадка». Здесь стоит поезд, в котором поедет Совет Народных Комиссаров. Поезд охраняется караулом из Петропавловской крепости. Этот караул должен быть замещен караулом латышских стрелков, которые по особому приказу в числе 30-и человек должны будут выступить из Смольного с двумя пулеметами в 8 часов утра. В Петропавловской крепости сделано распоряжение о передаче караула. После принятия караула латышскими стрелками Вы должны немедленно выступить в отправление обязанностей коменданта поезда. Охранять весь поезд вместе с паровозом, на тендере которого должен быть поставлен караул.

Кругом поезда все проходы к нему должны охраняться. Никто из посторонних не должен быть допускаем в поезд. Багаж будет грузиться с 11 часов утра. Принимайте багаж, грузите от каждого отдельного лица в одном месте и охраняйте его. С этим поездом поедет 100 человек латышей, которые должны будут нести охрану поезда во время движения.

70 латышей придут на станцию часам к 7-ми вечера. Остальные латыши 1-го коммунистического отряда поедут в Москву завтра же с Николаевского вокзала, о чем будет издан особый приказ. Озаботьтесь, чтобы всем латышам было бы отпущено надлежащее довольствие в дороге.

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров *Влад. Бонч-Бруевич*.

Началась подготовка. Я выделил 150 человек латышских стрелков и тщательно их проинструктировал, не говоря, конечно, раньше времени, кто поедет в поезде, который надлежит им охранять.

9 марта утром Президиум и часть членов ВЦИК покинули Петроград, отбыв специальным поездом в Москву. Владимир Ильич должен был выехать на следующий день, 10 марта 1918 года.

У меня все было готово к отъезду, как вдруг вечером вызывает Урицкий.

— Получены сведения, что в двух стрелковых полках затевается скверная история. Пробрались туда юнкера, кое-кого обработали и готовят контрреволюционное выступление. Необходимо немедленно принимать меры.

Я растерялся.

— Как же так? Ведь я имею распоряжение Якова Михайловича выехать с Владимиром Ильичем, обеспечить его охрану, а сегодня и от Бонча получил официальный приказ, Я уже начал дела сдавать...

В кабинет Урицкого вошел Володарский.

— Вот он, Мальков, а я его по всему Смольному разыскиваю!

Новая напасть! Оказывается, кое-кто из ответственных работников, остающихся в Петрограде, узнав, что на следующий день я должен уехать со значительной группой латышей, неожиданно запротестовал. По их мнению, передать охрану Смольного новым частям я должен был сам, лично, и мне не следовало уезжать и выводить большое количество латышей, пока не будет полностью организована новая охрана.

Особенно паниковал, по словам Володарского, Зиновьев.

Урицкий недовольно поморщился.

Рассеянно глядя на приказ Бонч-Бруевича, который я ему передал, Урицкий задумчиво произнес:

— Видишь, как получается. Ты действительно нужен в Петрограде, и не только для наведения порядка в полках, но и для организации охраны в Смольном, которую из-за вашего отъезда нужно строить заново. С другой стороны, на тебя возложено ответственнейшее поручение, и ни я, ни он, — Урицкий кивнул в сторону Володарского, — отменять распоряжение Якова Михайловича не можем. А его уже нет, уехал. Остается один выход: идти к Владимиру Ильичу. Ильич все и решит.

На следующее утро, часов около восьми, мы с Володарским, узнав, что Владимир Ильич у себя (пришел пораньше, готовится к отъезду), отправились к нему. А в это время у подъезда Смольного уже тарахтели грузовики и собирались латышские стрелки, назначенные в охрану поезда Совнаркома.

К доводам Володарского — Смольный-де остается почти без охраны — Владимир Ильич отнесся поначалу довольно скептически; как же! Трехсот латышей мало?! Однако, когда мы рассказали ему о напряженном положении в двух стрелковых полках и передали точку зрения Урицкого, Ленин изменил свое мнение.

— Что же, — сказал Владимир Ильич, — пусть Мальков остается. Можно оставить и часть латышских стрелков, выделенных для охраны поезда Совнаркома. Обойдемся меньшим количеством.

Тут уж я решительно запротестовал: коли надо, я останусь. Не уеду, пока не наведу порядок в полках и не организую охрану Смольного, но на одного человека с поезда Совнаркома не сниму. Нельзя.

— Ну смотрите, — согласился Владимир Ильич, — вам виднее.

Отправив несколько латышских стрелков посмышленнее в подозрительные полки на разведку, сам я поехал на станцию «Цветочная площадка», чтобы проследить за погрузкой и организацией охраны поезда. Все прошло благополучно, и в назначенное время поезд Совнаркома был отправлен. Ленин уехал в Москву.

Когда я вернулся в Смольный, наши разведчики были уже там. В ту же ночь две большие группы латышских стрелков, человек по сорок каждая, двинулись на операцию. Я поехал с одной из групп, вторую возглавил Озол.

Обезоружив без особого шума часового у ворот казарм, мы захватили полковые склады оружия и подняли полк по тревоге. Никто из солдат не пытался оказать сопротивления. Все прошло тихо и спокойно. Солдаты сами погрузили в подошедшие грузовики полковые пулеметы, винтовки, патроны.

Так же гладко все прошло и у Озола.

Покончив с разоружением полков, мы принялись за передачу охраны Смольного новым частям, пришедшим на смену латышским стрелкам. Все это заняло около недели. Когда последний латышский стрелок покинул Смольный, я сдал дела новому коменданту и выехал в Москву. Кончилось мое комендантство в Смольном, в славной цитадели Великого Октября. Впереди была Москва, Кремль...

Прощай, Смольный!

Часть II.

Москва, Кремль

Комендант Кремля

Вот и Москва! Какая-то она, первопрестольная, ставшая ныне столицей первого в мире государства рабочих и крестьян?

В Москве я никогда ранее не бывал и ко всему присматривался с особым интересом. Надо признаться, первое впечатление было не из благоприятных. После Петрограда Москва показалась мне какой-то уж очень провинциальной, запущенной. Узкие, кривые, грязные, покрытые щербатым булыжником улицы невыгодно отличались от просторных, прямых, как стрела, проспектов Питера, одетых в брусчатку и торец. Дома были облезлые, обшарпанные. Там и здесь на стенах сохранились следы октябрьских пуль и снарядов. Даже в центре города, уж не говоря об окраинах, высокие, пяти-шестизэтажные каменные здания перемежались убогими деревянными домишками.

Против подъезда гостиницы «Националь», где поселились после переезда в Москву Ленин и ряд других товарищей, торчала какая-то часовня, увенчанная здоровенным крестом. От «Националя» к Театральной площади тянулся Охотный ряд — сонмище деревянных, редко каменных, одноэтажных лабазов, лавок, лавчонок, среди которых громадой высился Дом союзов, бывшее Дворянское собрание.

Узкая Тверская от дома генерал-губернатора, занятого теперь Моссоветом, круто сбегала вниз и устремлялась мимо «Националя», Охотного ряда, Лоскутной гостиницы прямо к перегородившей въезд на Красную площадь Иверской часовне. По обеим сторонам часовни, под сводчатыми арками, оставались лишь небольшие проходы, в каждом из которых с трудом могли разминуться две подводы.

Возле Иверской постоянно толпились нищие, спекулянты, жулики, стоял неумолчный гул голосов, в воздухе висела густая брань. Здесь да еще на Сухаревке, где вокруг высоченной Сухаревой башни шумел, разливаясь по Садовой, Сретенке, 1-й Мещанской, огромный рынок, было, пожалуй, наиболеелюдно. Большинство же улиц выглядело по сравнению с Петроградом чуть ли не пустынными. Прохожих было мало, уныло тащились извозчицьи санки да одинокие подводы. Изредка, веерами разбрасывая далеко в стороны талый снег и уличную грязь, проносился высокий мощный «Паккард» с желтыми колесами, из Авто-Боевого отряда при ВЦИК, массивный, кургузый «Ройс» или «Делане-Бельвиль» с круглым, как цилиндр, радиатором, из гаража Совнаркома, а то «Нэпир» или «Лянча» какого-либо наркомата или Моссовета. В Москве тогда, в 1918 году, насчитывалось от силы три-четыре сотни автомобилей. Основным средством передвижения были трамваи, да и те ходили редко, без всякого графика, а порою сутками не выходили из депо — не хватало электроэнергии. Были еще извозчики: зимой небольшие санки, на два седока, летом пролетка. Многие ответственные работники — члены коллегий наркоматов, даже кое-кто из заместителей наркомов — за отсутствием автомашин ездили в экипажах, закрепленных за правительственными учреждениями наряду с автомобилями.

Магазины и лавки почти сплошь были закрыты. На дверях висели успевшие заржаветь замки. В тех же из них, что оставались открытыми, отпускали пшено по карточкам да по куску мыла на человека в месяц. Зато вовсю преуспевали спекулянты. Из-под полы торговали чем угодно, в любых количествах, начиная от полфунта сахара или масла до кокаина, от драных солдатских штанов до рулонов превосходного сукна или бархата.

Давно не работали фешенебельные московские рестораны, закрылись роскошные трактиры, в общественных столовых выдавали жидкий суп да пшенную кашу (тоже по карточкам). Но процветали различные ночные кабаре и притоны. В Охотном ряду, например, недалеко от «Националя», гудело по ночам пьяным гомоном полулегальное кабаре, которое так и называлось:

«Подполье». Сюда стекались дворянчики и купцы, не успевшие удрать из Советской России, декадентствующие поэты, иностранные дипломаты и кокетки, спекулянты и бандиты. Здесь платили бешеные деньги за бутылку шампанского, за порцию зернистой икры. Тут было все, чего душа пожелает. Вино лилось рекой, истерически взвизгивали проститутки, на небольшой эстраде кривлялся и грассировал какой-то томный, густо напудренный тип, гнусаво напевавший шансонетки.

Новая, пусть голодная и оборванная, но полная жизни и сил, суровая, энергичная, мужественная Москва была на Пресне и в Симоновке, на фабриках Прохорова и Цинделя, на заводах Михельсона и Гужона. Там, в рабочих районах, на заводах и фабриках, был полновластный хозяин столицы и всей России — русский рабочий класс. И сердце этой новой Москвы, новой России уверенно билось в древнем, седом Кремле.

Такой была Москва в конце марта 1918 года.

Впрочем, узнал я Москву не сразу. Новая столица Советской России раскрывалась передо мной постепенно. Шаг за шагом я узнавал не только ее фасад, но и изнанку. В день же приезда навалилось столько неотложных хлопот, что и вздохнуть как следует было некогда, не то что смотреть или изучать.

Прибыли мы на Николаевский вокзал часов около одиннадцати утра 20 или 21 марта 1918 года. Ехал я с поездом, в котором переезжал из Петрограда в Москву Народный комиссариат иностранных дел. В этом же поезде разместился отряд латышских стрелков в двести человек — последние из тех, что охраняли Смольный в ныне перебазировались в Кремль. Надо было организовать их выгрузку, выгрузить оружие, снаряжение.

Была и еще забота. Поскольку в Москве с автомобилями было плохо, переезжавшие из Петрограда учреждения везли с собой закрепленные за ними машины. Погрузил и я на специально прицепленную к нашему составу платформу автомобиль, который обслуживал комендатуру Смольного. Теперь надо было его снять с платформы и поставить на колеса.

На вокзале царил невероятная толчея. Пришлось немало пошуметь и поругаться со станционным начальством, пока все было сделано.

Наконец по прошествии часа или двух латыши разгрузились и походным порядком двинулись в Кремль. Машина была снята с платформы и, урча мотором, стояла возле вокзала. Можно было трогаться. Так нет! Откуда ни возьмись бежит секретарша Наркомата иностранных дел и слезно молит взять какой-то ящик с ценностями, принадлежащими наркомату. Пришлось нам с шофером отправиться за грузом.

Ящик оказался солидным. Он был лишь слегка прикрыт крышкой, и мы разглядели золотые кубки, позолоченные ложки, ножи и еще что-то в том же роде. Секретарша объяснила, что это банкетные сервизы Наркомата иностранных дел. Когда разгружали эшелон, про этот ящик попросту забыли.

Мы благополучно доставили ценности в Кремль и оставили их во дворе здания бывших Судебных установлений. Там злополучный ящик и стоял недели две-три, никто за ним так и не пришел. Тогда я сдал ценности в Оружейную палату.

Добирались мы с вокзала до Кремля не без труда — ведь ни шофер, приехавший со мной из Петрограда, ни я дороги не знали. Но вот, наконец, и Манеж, вот и Кутафья башня. На часах — латышские стрелки, наши, смольнинские. Дома!

Через Троицкие ворота едем по Троицкому мосту вверх, Проникнуть в Кремль тогда можно было только через Троицкие ворота, все остальные — Никольские, Спасские, Тайницкие, Боровицкие — наглухо закрыты. Лишь месяца три-четыре спустя мы открыли для проезда машин в экипажей Спасские ворота, оставив Троицкие только для пешеходов. Боровицкие же и Никольские долго еще оставались закрытыми, а Тайницкие не открываются и поныне.

Поскольку все основные указания по охране Смольного да и по организации переезда из Питера в Москву я получал от Президиума ВЦИК, и теперь первым делом я отправился во ВЦИК, к Якову Михайловичу Свердлову, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет разместился, как и Совет Народных Комиссаров, в бывшем здании Судебных установлений. Совнарком — на третьем этаже, в угловых помещениях против Царь пушки, а ВЦИК — в самом центре здания, на втором этаже.

Аппараты ВЦИК и Совнаркома были столь невелики, что не занимали и половины комнат огромного здания Судебных установлений. Значительная часть помещения длительное время пустовала.

Яков Михайлович работал в просторной комнате, направо от входа по коридору. Отдельного кабинета первые дни у него не было. В одной комнате с ним работала Глафира Ивановна Теодорович, заведовавшая Агитотделом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, кандидат в члены Президиума ВЦИК. Тут же помещался и помощник Якова Михайловича — Графов, приехавший с ним из Смольного. В кабинете напротив, через коридор, разместился Варлам Александрович Аванесов, секретарь ВЦИК.

Когда я вошел, у Якова Михайловича сидело несколько человек, с которыми он оживленно разговаривав. Я поздоровался. Яков Михайлович энергично пожал мне руку и кивком указал на стул, стоявший козле стены.

— Прибыли? Вот и ладно. Обождите немного, сейчас кончу с товарищами, тогда и покалякаем.

Закончив через несколько минут разговор, Яков Михайлович пригласил меня к своему столу.

— Ну, как доехал? Как дела в Смольном!

Я коротко доложил. Яков Михайлович не любил многословных докладов, не терпел излишней «болтологии», как он говорил. Внимательно выслушав меня и задав несколько вопросов, он перешел к организации охраны Кремля.

— Дело придется ставить здесь солиднее, чем в Смольном. Масштабы побольше, да и мы как-никак солиднее становимся. — Яков Михайлович чуть заметно усмехнулся и вновь посерьезнел. — Нарождается новая, советская государственность. Это должно сказываться во всем, в том числе и в организации охраны Кремля. Я думаю, нам надо будет создать Управление коменданта Кремля. Да, да, именно Управление. Аппарат раздувать не надо, ни чего лишнего, никакого бюрократизма, но организовать все надо прочно, солидно.

Кому будет подчиняться Управление? Ну, это, по-моему, ясно: Президиуму ВЦИК. Штаты вы разработайте сами и представьте на утверждение. Только, повторяю, ничего лишнего. Обсудите все с Аванесовым, посоветуйтесь с Дзержинским. С Дзержинским обязательно.

С ЧК вам постоянно придется иметь дело. Нести охрану будут латыши, как и а Смольном, только теперь это будет не отряд, а батальон или полк. Подумайте, что лучше. Учтите при составлении штатов. Довольствие бойцов охраны и всех сотрудников Управления возложим на военное ведомство, но оперативного подчинения военведу никакого.

С чего начать? Конечно с приемки дел, и ни часа не откладывая, немедленно. Ознакомьтесь получше с Кремлем. Сами лично все обойдите и осмотрите. Продумайте схему расстановки постов. Постами надо обеспечить не только ворота, но и стены. Надо будет кое-где установить посты и внутри Кремля: у входа в Совнарком, у кабинета и квартиры Ильича. У Ильича — непременно. Туда надо ставить особо надежный народ.

Присмотритесь к населению Кремля. Народу тут живет много, в значительной части не имеющего к Кремлю никакого отношения. Кое-кого, как видно, придется выселить.

Я внимательно слушал четкие, предельно ясные и уверенные указания Якова Михайловича. Мои задачи становились мне все яснее, а Яков Михайлович продолжал:

— Распределением квартир в Кремле тоже вы будете заниматься. Подумайте об оборудовании квартир, мебель, посуда, постельное белье. Ведь у большинства товарищей ничего нет, даже пары простыней, чашек, тарелок. А жить люди должны по-человечески. И столовую в Кремле надо поскорее наладить, небольшую, для наиболее загруженных и нуждающихся в усиленном питании товарищей — наркомов, их заместителей, членов коллегий. Есть у меня на примете отличный товарищ — Надежда Николаевна Воронцова. Хорошая из нее получится заведующая, Вот ей и поручите это дело.

Да, когда будете оборудовать квартиры — а мы в ближайшее время ряд товарищей из «Националя», «Метрополя» переселим в Кремль, — на дворцовое имущество особо не рассчитывайте, лучше берите из гостиниц, из того же «Националя». Дворцы надо сохранить в неприкосновенности, со временем мы там музеи организуем и откроем самый широкий Доступ народу. Вообще дворцы будут не в вашей власти. Ими распоряжается Управление дворцового имущества, товарищ Малиновский, человек знающий, грамотный.

Ну вот, пожалуй, для начала и все. Кстати, вы-то сами где поселились? Пока нигде? Так я и думал! Что? Собираетесь поставить себе койку в комендатуре? Нет, батенька! Мы поселяемся здесь всерьез и надолго. Извольте кончать с походным образом жизни. Занимайте квартиру и располагайтесь основательно.

Заканчивая разговор, Яков Михайлович быстро набросал несколько слов в своем блокноте, вырвал листок и протянул мне.

Я прочел:

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СОНЕТОВ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ»

«21/III — 1918 года

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Дано сие удостоверение тов. Малькову в том что он является комендантом кремля.

Председатель ЦИК *Я. Свердлов*».

Бережно сложив удостоверение, я спрятал его в карман, вышел от Якова Михайловича и отправился разыскивать комендатуру. Как оказалось, она разместилась на Дворцовой улице, недалеко от здания Судебных установлений, в трех-четырёх комнатах первого этажа небольшого трехэтажного дома, вплотную примыкавшего к Кавалерскому корпусу, почти напротив Троицких ворот. Окна комендатуры выходили к Троицким воротам.

В комендатуре я застал нескольких сотрудников, большинство которых работало раньше в Смольном. Не было только Стрижака, исполнявшего до моего приезда обязанности коменданта Кремля.

Стрижак был тоже питерцем. После Октября он работал в Таврическом дворце. Как только был решен вопрос о переезде правительства из Петрограда, его послали в Москву готовить Кремль. У него-то я и должен был принять дела.

Не успел я толком побеседовать с товарищами, расспросить, как идут дела, не успел выяснить, как встретили и разместили прибывших со мной из Питера латышских стрелков, как они сами напомнили о себе. Дверь неожиданно распахнулась, и в комендатуру ввалилось человек десять — пятнадцать латышей. Все с винтовками.

— Где Стрижак?

Прервав беседу с сотрудниками комендатуры, я поднялся из-за стола.

— В чем дело?

— Ничего особенного, — ответил один из латышей, — пришли Стрижака сажать. Тут он?

— Что? Как это сажать? Куда сажать?

— Обыкновенно. Посадим за решетку. В тюрьму. Такое решение.

Я вскипел.

— Да вы что городите?! Какое решение? Чье?

— Наше решение. Мы на общем собрании отряда постановили посадить Стрижака как саботажника...

Оказалось, что, когда усталые после утомительного переезда из Петрограда и пешего марша по Москве, донельзя проголодавшиеся латышские стрелки прибыли в Кремль и обратились к Стрижаку с просьбой накормить их, он отказался выдать предназначенные для них консервы, сославшись на какую-то кем-то несоблюденную формальность — не так оформленную ведомость. Всегда спокойные, выдержанные, но не терпевшие непорядка и несправедливости латыши возмутились, тем более что их товарищи, прибывшие в Москву раньше, сообщили, что консервы у Стрижака есть. Латышские стрелки собрали тут же митинг и приняли решение: объявить Стрижака саботажником и как саботажника арестовать.

Говорили латыши спокойно, держались уверенно. Нет, по их мнению, они не анархисты, самоуправством не занимаются. Действуют согласно революционным законам: единогласное решение общего собрания закон. Суть не в консервах, а в том, что Стрижак — саботажник, разговор же с саботажниками короткий...

Разобравшись, наконец, в чем дело, я вызвал интенданта и велел ему немедленно выдать латышским стрелкам консервы, а латышей разнес на чем свет стоит. Хороша, говорю, законность, нечего сказать! Собрались, погадели и на тебе — арестовать. Будто ни командования, ни Советской власти, ни порядка нет. Самая настоящая анархия!

Едва ушли пристыженные латыши, как появился Стрижак. Отчитав его как следует, я начал принимать дела. Обошли мы вместе с ним все посты, ознакомил он меня с организацией охраны, с порядком выдачи пропусков в Кремль, передал несложную канцелярию комендатуры, и я вступил в исполнение обязанностей коменданта Московского Кремля. Стрижак был назначен комендантом одного из домов Совета, в которые были превращены гостиницы «Националь» (1-й Дом Советов), «Метрополь» (2-й Дом Советов), здания на Садово-Каретной (3-й Дом Советов), на углу Моховой и Воздвиженки (4-й Дом Советов) и в Шереметьевском переулке (5-й Дом Советов).

С первого же дня дела комендатуры лавиной обрушились на меня. Надо было и посты устанавливать и проверять, и пропускную систему налаживать, и быт кремлевской охраны организовывать, и квартиры для переселяющихся в Кремль товарищей готовить — всего не перечтешь. И так же, как в Питере, — оперативные задания одно за другим, то от Дзержинского, то от Аванесова, а то и прямо от Якова Михайловича или даже от самого Владимира Ильича.

Я с трудом вырывал время, чтобы тщательно изучить Кремль, ознакомиться с его населением, без чего нельзя было обеспечить надежную охрану Кремля и установить твердый порядок.

Уже внешний осмотр Кремля показывал, что работы здесь — непочатый край! Кремль к моменту переезда Советского правительства из Петрограда в Москву был основательно запущен. Часть зданий значительно пострадала еще в дни Октябрьских боев и никем не восстанавливалась. Во дворе Арсенала уродливо громоздились груды битого кирпича, стекла, всякой дряни. Верхний этаж огромных казарм, тянувшихся чуть ли не от Троицких ворот почти до самого подъезда Совнаркома, начисто выгорел, и его окна зияли мрачными черными провалами.

На улицах была несусветная грязь. Весна стояла в 1918 году ранняя, дружная. Уже в конце марта было по-апрельски тепло, и на улицах Кремля разливались настоящие озера талой воды, побуревшей от грязи и мусора. На обширном плацу, раскинувшемся между колокольней Ивана

Великого и Спасскими воротами, образовалось такое болото, что не проберешься ни пешком, ни вплавь.

Общее впечатление запущенности и неприбранности усиливало бесконечное количество икон. Грязные, почерневшие, почти сплошь с выбитыми стеклами и давно угасшими лампадами, они торчали не только в стенах Чудова, Архангельского и других монастырей, но везде: в Троицкой башне, у самого входа в Кремль, над массивными воротами, наглухо закрывшими проезды в Спасской, Никольской, Боровицкой башнях.

Все надо было чистить, прибирать, ремонтировать, а рабочих рук было до смешного мало. Латышские стрелки были полностью загружены караульной службой и выполнением боевых заданий ВЦИК и ВЧК. В моем распоряжении имелось всего десятка два-три водопроводчиков, электромонтеров, подметальщиков улиц да примерно столько же старых царских швейцаров, следивших за порядком в дворцовых покоех. Пришлось на уборку Кремля мобилизовать всех его жителей, не занятых работой в советских учреждениях. Кое-как, с грехом пополам очистили улицы, но до полного порядка было далеко.

Уборка, конечно, была делом серьезным: Кремль должен был выглядеть как следует: однако главной моей заботой была все же не уборка, а организация охраны Кремля. Дело здесь было еще сложнее, чем в Смольном.

Как и в Смольном, пропуска в Кремль существовали постоянные и разовые. Постоянные выдавались по заявкам учреждений на месяц, разовые — на одно посещение. Выдача производилась в небольшой деревянной будке, прилепившейся к стене Кутафьей башни, у входа в Троицкие порога. Правом заказа разовых пропусков пользовались большинство сотрудников ВЦИК, Совнаркома и почти все жители Кремля. При таком порядке в Кремль мог проникнуть кто угодно.

Я начал с того, что договорился с Аванесовым и Бонч-Бруевичем, чтобы круг сотрудников правительственного аппарата, имеющих право заказывать разовые пропуска, был резко ограничен. Так, по всем Управлению делами Совнаркома мог отныне заказывать пропуск непосредственно в Троицкой будке только сам Бонч-Бруевич. Все остальные сотрудники Управления делами должны были обращаться в комендатуру, ко мне, а я уже давал распоряжение о выдаче разовых пропусков. Одна эта мера сразу резко снизила количество заявок на разовые пропуска. Затем пересмотрел я также и порядок заказа пропусков жителями Кремля, значительно сократив круг лиц, которым предоставлялось это право.

С пропусками дело понемногу налаживалось. Однако весь пропускной режим был бы ни к чему, если бы можно было проникнуть в Кремль, минуя охрану. Вновь и вновь обходил я Кремль лазил по Кремлевским стенам, присматриваясь и изучая, как лучше расставить посты, чтобы исключить такую возможность. Оказалось, что если со стороны Красной площади, Москвы-реки и Александровского сада стены были достаточно высоки, то возле Спасской и Никольской башен они возвышались всего на несколько метров, и влезть там на стену не представляло большого труда, в особенности если бы со стены кто-нибудь помог. Насколько это практически было несложно, я убедился самым неожиданным образом.

Однажды под вечер, обходя Кремлевскую стену недалеко от Спасской башни, ближе к Москве-реке, я внезапно натолкнулся на группу кремлевских мальчишек лет десяти-двенадцати. Спокойно и деловито они спустили со стены толстую веревку и, сосредоточенно сопя, пытались втащить наверх здорового парня. Дело подвигалось довольно успешно, и парень болтался уже метрах в двух-трех над землей, еще минута, и он будет на стене. Завиден меня, ребята кинулись врассыпную, бросив впопыхах веревку. Парень рухнул вниз. Быстро вскочив на ноги, он грязно выругался, погрозил мне кулаком и пустился наутек. Догнать его не было никакой возможности. Однако выяснить, кто это пытался пробраться в Кремль, зачем, следовало.

На другое утро я вызвал в комендатуру «нарушителей» пропускного режима и принялся их расспрашивать со всей строгостью. Только зря! Ничего толком сказать они не могли. Для мальчишек это была просто игра. Парня они встретили днем в Александровском саду. Когда он, быстро завоевав их расположение, заявил, что им «слабо» втащить его в Кремль на веревке, мальчишки готовы были расшибиться в лепешку, чтобы доказать, что «не слабо». Интерес к

занятому приключению только увеличился, когда парень потребовал, чтобы они побоялись, что ничего не скажут взрослым, так как иначе те помешают. Что за парень, кто он таков, никто из ребят, конечно, не знал.

Если подобную штуку могли устроить мальчишки, то нечего и говорить, насколько проще это было взрослым. Среди многочисленного и разношерстного населения Кремля 1918 года вполне могли оказаться охотники помочь кому-либо нелегально пробраться в Кремль. Чтобы предотвратить подобные случаи, пришлось усилить подвижные посты по всей Кремлевской стене, а вблизи Спасских и Никольских ворот установить на стене постоянных часовых.

Немало хлопот доставляло мне первое время кремлевское население. Кого только тут не было весной 1918 года! В Кремле жили и бывшие служители кремлевских зданий со своими семьями — полотеры, повара, кучера, судомойки и т. д., — и служащие некогда помещавшихся в Кремле учреждений. Все они, за исключением стариков швейцаров, давно в Кремле не работали.

Прелюбопытный народ были эти самые Швейцары. Насчитывалось их в Кремле несколько десятков, все старики лет за шестьдесят, а то и больше, бывшие николаевские солдаты. В Кремле было тогда три дворца: Большой, Потешный и Малый Николаевский. На месте последнего году в 1934–1935 построено новое здание, где ныне помещаются Президиум Верховного Совета СССР и Кремлевский театр. Вот за сохранностью имущества в этих дворцах, да еще в Оружейной палате и Кавалерском корпусе, старики и следили. Они же убирали помещения. Жили старики в Кремле испокон веков, помнили не только Николая II, но и Александра III. К обязанностям своим относились чрезвычайно ревностно. Не давали сесть и пылинке ни на одно кресло, ни на одно зеркало. Как занимались они своим делом в прежние времена, так занимались и теперь, после революции.

К Советской власти большинство из них относилось поначалу с открытой неприязнью: какая, мол, это власть? Ни тебе пышности, ни величавости, с любым мастеровым, любым мужиком — запросто. Только со временем, присмотревшись к Ленину. Свердлову. Дзержинскому, Цюрупе, к другим большевикам, начали понимать старики природу нового, советского строя и горячо, искренне привязались к нашим руководителям, хотя я поругивали их втихомолку за излишнюю, с точки зрения бывших царских служителей, скромность и простоту.

— Не то! — вздыхал порой тот или иной старик швейцар, глядя на быстро идущего по Кремлю Ильича в сдвинутой на затылок кепке или Якова Михайловича в неизменной кожаной куртке. — Не то! Благолепия не хватает. Ленин! Человек-то какой! Трепет вокруг должен быть, робость. А он со всяким за руку, запросто. Нет, не то.

Занятные были старики! Они опасности не представляли. А вот другие...

Целый квартал, тянувшийся от Спасских ворот до площади перед колокольной Ивана Великого и от плаца до здания Судебных установлений, был застроен тесно лепившимися друг к другу двух — трехэтажны ми домами и домишками, заселенными до отказа. Полно было жильцов и в небольших зданиях, расположенных во дворе Кавалерского корпуса. Что это был за народ, пойди разбери, во всяком случае, их пребывание в Кремле необходимостью не вызывалось.

Но больше всего хлопот и неприятностей доставляли мне монахи и монахини, так и сновавшие по Кремлю в своих черных рясах. Жили они в кельях Чудова и Вознесенского монастырей, приткнувшихся возле Спасских ворот.

Подчинялись монахи собственному уставу и своим властям. С нашими правилами и требованиями считались мало, свою неприязнь к Советской власти выражали чуть не открыто. И я вынужден был снабжать эту, в подавляющем большинстве враждебную, братию постоянными и разовыми пропусками в Кремль. Вот тут и охраняй и обеспечивай Кремль от проникновения чуждых элементов!

От этих монахов мне просто житья не было, что ни день, то что-нибудь новое. Мало того, что они сами не внушали никакого доверия, что в гости к ним ходила самая подозрительная

публика, они и того хуже удумали: организовали розничную торговлю пропусками в Кремль, поставив дело на широкую ногу.

Не знаю, насколько кремлевские монахи были благочестивы и как строго блюли монашеские обеты и церковный устав, но что большинство из них было отменными спекулянтами и пройдохами, это уж точно.

Сам убедился! Взять хотя бы игуменью Вознесенского монастыря. Оказалось, что она торгует ценными бумагами на черной бирже, возле Ильинских ворот, у стены Китай-города. И на крупные суммы. Не сама, конечно, а через подставных лиц.

Затем еще эта история с продажей разовых пропусков в Кремль. Да ведь как торговали! Совершенно открыто, прямо возле Троицких ворот, по пять рублей за пропуск. Подходи и покупай, кто хочет.

Тут уж я не стерпел, Пошел к Якову Михайловичу и заявил, что, пока монахов из Кремля не уберут, я ни за что поручиться не могу.

Яков Михайлович сразу согласился. Давно, говорит, пора очистить Кремль от этой публики. Только надо спросить Владимира Ильича, нельзя без его ведома ворошить этот муравейник.

Я — к Ильичу. Так и так, говорю. Надо монахов выселить из Кремля. Яков Михайлович поддерживает.

— Ну что же, — отвечает Ильич, — я не против. Давайте выселяйте. Только вежливо, без грубости!

Прямо от Ильича я пошел к настоятелю монастыря (мне с ним и до этого несколько раз приходилось беседовать). Есть, говорю, указание Ленина и Свердлова переселить вас всех из Кремля, так что собирайтесь.

Настоятель артачиться не стал, старик он был умный, понимал, что спорить бесполезно.

Предупредив настоятеля, дал я команду вывозить монахов, а самого тревога разбирает: кто его знает, что у них там в соборах припрятано. Теперь наверняка ценности порастащат.

Договорился я с Аванесовым, и у настоятеля затребовали описи церковного имущества, а ему передал, что ценности, являющиеся народным достоянием, вывозить категорически воспрещается. Выделили специальную комиссию для приема ценностей.

Описи монастырская канцелярия представила сразу, а передавать имущество отказалась наотрез.

— Выедем, — заявили монахи, — тогда и принимайте, как вам заблагорассудится, а добровольно согласия на передачу ценностей не дадим. Уступаем насилию. Тащить же никто из святых отцов ничего не утащит. Как бы ваши не стащили...

Ладно, думаю, не хотите передавать добром, не надо, а добропорядочность «святых отцов» мне доподлинно известна. На торговле пропусками проверил! Выставил я в Троицких воротах наряд латышей и велел обыскивать выезжающих монахов подряд.

Монахи — на дыбы. Коли так, кричат, никуда не поедем!

Ничего, говорю, голубчики, поедете. Никто на ваше имущество не покушается, везите свои рясы и подрясники, а тащить народное добро не позволю!

Видят монахи, что меня не переспоришь. Начали было уступать, а тут — телефон. Бонч звонит:

— Безобразие! Немедленно прекратить обыск!..

— Нет, — говорю, — Владимир Дмитриевич, не прекращу, и вы не вмешивайтесь. Я подчиняюсь Владимиру Ильичу и Якову Михайловичу, а не вам, так что не приказывайте.

Отрезал и положил трубку, Однако минут через десять-пятнадцать снова звонок, Яков Михайлович.

— Что там у вас с Бончем стряслось?

— Да ничего особенного. Просто я велел монахов при выезде обыскивать, чтобы они ценности не украли, а Бонч протестует. Вот и все.

— Утащить они, конечно, что-нибудь утащат, но и обыск устраивать не следует, тут вы не правы. Это не метод, Да и незачем давать повод монахам поднимать лишний шум, так что отпустите их на все четыре стороны. А если что особо ценное украдут, потом отберем. Никуда они не денутся.

Пришлось отпустить монахов восвояси. Только через день после их отъезда являются ко мне члены комиссии и выкладывают длиннющий список: любуйтесь, мол, чего не хватает, А в списке и митра золотая с бриллиантами, патриаршая, изготовленная в древние времена, и пятнадцать золотых панагий (это были такие иконы, их на груди носили), и кресты золотые, большие и малые, и прочее, и прочее. В описях значится, а на месте нет — украли-таки «святые отцы»!

Надо искать, только как? Тут я вспомнил об одном монахе, вернее бывшем послушнике.

Этого монаха в Кремле все знали. И все звали просто Гришкой. Гришка и Гришка, ничего больше. Мы его родословной, ни даже фамилии толком никто не знал.

Парень Гришка был здоровенный, лет этак тридцати-тридцати двух, себе на уме. Я с ним познакомился вскоре после своего приезда в Кремль. Явился он ко мне в комендатуру и решительно заявил:

— Комендант, а комендант, приставь меня к какой должности.

Я рассмеялся:

— К какой же тебя «должности» приставить? У меня для монахов должностей нет.

— К какой, это мне все едино. А из монахов я уйду, надоело. Ну их куда подальше. Да и не монах я вовсе, хотя и в рясе, так — послушник.

— Выходит, ты вроде холуя при монахах? — спрашиваю.

— Выходит, так.

Устроил я Гришку дворником, и стал он подметать кремлевские улицы. Из монастыря Гришка ушел, но приятели среди монахов у него остались.

Уж не знаю почему, вероятно потому, что отнесся я к нему по-человечески, внимательно, а в монастыре его, как и других послушников, не очень баловали человеческим отношением, но Гришка ко мне искренне привязался и частенько заглядывал в комендатуру. Привязанность эта не ослабевала даже тогда, когда я ругал его за какие-либо провинности. А это случалось. Начал, например, Гришка одно время погуливать, разных девиц в Кремль водить. Ну, я его и вызвал. Ты, говорю, что это тут развел? Мигом из Кремля вылетишь!

Он удивился:

— А что такого? Я теперь не монах, мне можно.

Изругал я его за это «можно» как полагается, такую острастку дал — лучше не надо. Ничего, не обиделся.

Всю подноготную монахов Гришка знал прекрасно. Вот с его-то помощью я и решил пронести необходимую разведку, разузнать, куда припрятали монахи украденные ценности.

Велел я разыскать Гришку и прислать ко мне. Он явился сразу, будто ждал приглашения.

Рассказал я Гришке, что мне от него надо, и дал три дня сроку.

— Н-да, дело хитрое, — полез он пятерней в затылок. — Однако попробуем.

Два дня Гришка пропадал, на третий явился. Физиономия опухла, под правым глазом здоровенный синяк, а вид довольный, Улыбается.

— Где это, — спрашиваю, — тебя так здорово разукрасили?

— Это-то? Так нешто это здорово? Обойдется! Просто по основам веры немножко поспорили. Не без рукоприкладства, конечно.

Время Гришка провел не даром. Разыскал он старых приятелей, с одним выпил, с другим подискутировал, с кем просто так поговорил, но узнал многое. Основная часть монахов, выехавших из Кремля, обосновалась, оказывается, на Троицком подворье, чуть выше Трубной площади, прямо в резиденции патриарха Тихона.

— Есть там отец эконо, — закончил Гришка свое повествование, — жулик, прости господи, каких свет не видел. Он и помещение это готовил загодя. Чувал, что при новой власти в Кремле не удержаться. Не иначе как он ценности упер, Монахи, кои видели, говорят, что в его келье подпол сделан.

Вот там, небось, все и схоронено.

Информации была ценная, и я отправился в ЧК к Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. Выслушав мой доклад. Феликс Эдмундович выделил мне в помощь двух чекистов, и прямо с Лубянки мы пошли на Троицкое подворье, благо по соседству.

Смотрим — настоящая крепость. Высокая каменная стена, ворота на замке. Вход через узенькую калитку, и та заперта. Еле достучались.

Впускать нас сначала не хотели, все допрашивали: кто, да что, да зачем. Только когда я пригрозил, что буду вынужден прибегнуть к оружию, впустили. Смотрим — обширный двор, взад и вперед снуют монахи. На нас поглядывают с любопытством и с откровенной враждебностью. После долгих расспросов добрались мы, наконец, до кельи отца эконома. Увидав меня, тот так и расплылся, а глаза у самого злющие, настороженные. Не трата времени попусту, я сразу приступил к делу. Нам, говорю, все известно. Выкладывай ценности, не то худо будет.

— Ценности?! — изумился эконо. — Какие ценности? В первый раз слышу.

Я и так и сяк, и по-хорошему, и угрозами — никакого толку. Стоит на своем: знать не знаю, ведать не ведаю.

Пошел я тогда к самому Тихону. Нехорошо, говорю, получается. Поверили мы монахам на слово, а они все наиболее ценное похитили. Ведь там и исторические ценности были, теперь же спустят их на толкучке, и поминай как звали.

Угрюмо глядя да меня из-под косматых нависших бровей, Тихон усталым жестом прервал мои излияния:

— То — дело мирское. Прошу к отцу эконому, а я вам не советчик...

Вижу, он тут ни при чем, ничего не знает. Пришлось уходить несолоно хлебавши.

Вышел я из кельи патриарха в узкий коридорчик — навстречу шесть дюжих молодцов в сюртуках из личной охраны Тихона. Рожи у всех зверские как на подбор, пришибут, в не пикнешь. А я, как назло, один, чекисты внизу остались, у эконома. Ну, думаю, дело дрянь. Вижу, однако, не подаю. Иду на них напролом, как ни в чем не бывало. То ли мой решительный вид подействовал, то ли им не было приказано меня трогать, только они молча расступились, и я беспрепятственно спустился вниз. Вошел к эконому сам не свой, злость разобрала.

— Не отдашь, — говорю, — ценности добром, все в твоей келье вверх дном переверчу, а докопаюсь, куда ты их спрятал.

Вижу, перетрусил эконом не на шутку, но молчит, только глазами по сторонам шныряет и все больше в один из углов поглядывает. Глянул и я туда. Вроде ничего особенного: на стене рукомойник, под ним таз на табуретке, на полу коврик. Постой-ка, постой, зачем же он там лежит? Как будто коври там не место, возле рукомойника. Отодвинул табуретку, отшвырнул коврик: так и есть. Под ковриком в полу щель, в половицу вделано железное кольцо. Дернул я за кольцо, и открылся вход в подвал.

— Ну, святой отец, что теперь скажешь?!

А тот ни жив ни мертв. Подтолкнул его один из чекистов к зияющему ходу, вынул из кармана электрический фонарь, а мы втроем спустились в глубокий сырой подвал, оставив другого чекиста сторожить наверху, чтобы кто не захлопнул крышку.

Посветил товарищ мой фонариком — сундук. В нем и митра, и панагии, и другие ценности, да еще деньгами и ценными бумагами около миллиона.

Собрав все в оказавшийся здесь же мешок, мы поднялись наверх и, не мешкая, распростились с мрачным Троицким подворьем, прихватив с собой и отца эконома. Ценности я отнес в ЧК, а отцом экономом занялись чекисты, по назначению.

* * *

С чекистами я не раз совместно участвовал в различных операциях. Народ это все был мужественный, инициативный, боевой, преимущественно из рабочих. Многие из них вступили в большевистскую партию еще до Октября. Нередко вместе с чекистами действовали и латышские стрелки. Приходилось им выполнять боевые задания и самостоятельно.

С латышами прошли первые, самые трудные месяцы моей кремлевской жизни, когда все только налаживалось, входило в норму.

В Кремле латышей было больше, чем в Смольном. К нашему приезду там уже был расквартирован 4-й Видземский латышский стрелковый полк. С прибытием пятисот латышских стрелков из Питера сформировали еще один полк, 9-й. 4-й вскоре из Кремля вывели, и 9-й полк нес в 1918 году охрану Кремля и выполнял различные боевые задания. Входил полк в Латышскую стрелковую дивизию, командовал которой Вацетис, впоследствии Главком вооруженных сил Республики, комиссаром дивизии был большевик-подпольщик Петерсон. Подчинялся же полк фактически мне.

Размещались латыши в казармах, что напротив Арсенала, направо от Троицких ворот.

В боевых операциях действовали они энергично, самоотверженно, караульную службу несли превосходно, хотя порою кое-кто из латышей и пошаливал.

Невзлюбили, например, латышские стрелки ворон, которых действительно возле Кремля была тьма-тьмушая. Вороны в те годы кружились над Кремлем и особенно над Александровским

садом целыми тучами, оглашая все вокруг неистовым карканьем. По вечерам, едва темнело, вороны сплошной черной массой висели на деревьях Александровского сада.

Латыши объявили вороньему племени войну не на жизнь, а на смерть и действовали столь энергично, что в дело вмешался даже Ильич.

Излюбленным местом дневного пристанища ворон были позолоченные двуглавые орлы, венчавшие Кремлевские башни. Вороны облепляли орлов гроздьями, ожесточенно дрались за право уцепиться за орлиную лапу или усесться на самой маковке. Вот тут-то и развернулись боевые действия. Сначала по воронам, садившимся на орлов, постреливали отдельные часовые с Кремлевских стен, потом начали стрелять и с других постов. День ото дня больше, того и гляди пулеметы выкатят.

Я было говорил, чтобы прекратили стрельбу, но особых строгостей не проявлял, все как-то руки не доходили, недосуг было. Вдруг звонок:

— Товарищ Мальков? Ленин, Позвольте узнать, по чьему распоряжению сплошь и рядом в Кремле ведется пальба по воронам, расходуются драгоценные патроны, нарушается порядок?

— Владимир Ильич, никто такого распоряжения не давал. Это просто так, ребята балуются.

— Ах, балуются? И вы, комендант Кремля, считаете это правильным, одобряете это баловство?

— Нет, Владимир Ильич, не одобряю. Я уже говорил, не слушают...

— А уж это ваше дело заставить вас слушаться, да, ваше дело. Немедленно прекратить возмутительную пальбу!

Я, конечно, тут же отдал строжайший приказ, и стрельба прекратилась, хотя одиночные выстрелы изредка еще и раздавались, только тут уж с виновников стали спрашивать как следует.

А однажды у латышей случилась большая неприятность. Было это в двадцатых числах апреля 1918 года.

Все началось с очередной облавы на Сухаревском рынке. Сухаревка тогда жила бурной и, надо прямо сказать, весьма неприглядной жизнью. По воскресеньям и праздничным дням она превращалась в бушующее человеческое море, так и кишевшее мелкими и крупными хищниками: спекулянтами, шулерами, проститутками, карманниками, налетчиками.

На Сухаревке продавали и покупали все, что только можно было продать и купить, причем процветала в основном меновая торговля: шубу из соболей меняли на полмешка пшена, серебряные ложки — на сало, золоченые подсвечники — на керосин. Деньги утратили свою ценность.

На Сухаревке пьянствовали и дрались, играли до потери сознания в карты и заключали самые невероятные сделки, обирали до нитки простаков, спекулировали, воровали, грабили.

Советское правительство, переехав в Москву, твердой рукой взялось за наведение порядка в столице, Спекуляции, разврату, проституции, воровству, бандитизму была объявлена беспощадная война.

Возглавил боевые силы революции в этой войне Феликс Эдмундович Дзержинский, штабом стала ВЧК, армией — московский пролетариат, славные чекисты, рождавшаяся на свет Рабоче-крестьянская милиция и зачастую латышские стрелки.

Один за другим наносились сокрушительные удары по тайным ночным притонам и бандитским «хазам», по гнездам и рассадникам спекуляции, мошенничества, разбоя. Московские рынки решительно очищали от спекулянтов, воров и всякой нечисти. Систематически организовывали

облавы, оцепляя рынок и проводя поголовную проверку документов. И кого только там не приходилось вылавливать!

Нередко по распоряжению Дзержинского или Аванесова на такие облавы я посылал бойцов из кремлевской охраны. Бывало это чаще всего по воскресеньям. Так было и в воскресенье 21 апреля 1918 года.

В то утро из Кремля выехало несколько грузовиков. Подъехав к Сухаревке с разных сторон — с Садовой, Сретенки, Мещанской, — грузовики остановились, сидевшие в них латыши слезли, рассыпались в цепь, сжали рынок в стальное кольцо и начали облаву. Задержали свыше трехсот человек.

Задержанных, как обычно, посадили в кузова грузовиков; латыши, держа винтовки наперевес, уселись по бортам, и грузовики, по мере того как наполнялись, отправлялись один за другим в казармы, где уж тщательно разбирались с каждым задержанным и либо передавали милиции, либо отпускали на все четыре стороны.

На улицах было пустынно, разве изредка попадется извозчичья пролетка или ломовая телега да прогрохочет одинокий набитый до отказа трамвайный вагон. Грузовики мчались на большой скорости. И надо же было так случиться, что как раз в тот момент, когда первый грузовик несясь с Лубянской площади вниз по Театральному проезду к «Метрополю», где-то неподалеку раздался винтовочный выстрел.

Стоявшим возле «Метрополя» постовым милиционерам показалось, что стреляют с грузовика и стреляют по «Метрополю». Они подняли панику, и отряд, охранявший «Метрополь», выскочил по боевой тревоге на площадь, мигом залег, выкатил пулеметы. А в это время с горы, от Лубянской площади, мчится второй грузовик.

Завидев приближающийся грузовик, милиционеры решили, что это возвращается тот самый, с которого, как им казалось, стреляли, и бросились наперерез, пытаясь его остановить. Не тут-то было! Шофер заметил бегущих к грузовику вооруженных людей и, предположив, что это сообщники задержанных хотят их освободить, прибавил газ. Сидевшие на бортах латыши вскинули винтовки.

Убедившись, что грузовик не задержать, охрана «Метрополя» и милиционеры открыли ему вслед ружейную и пулеметную стрельбу. Несколько человек в кузове было ранено, а один латышский стрелок убит наповал. Пострадал и кое-кто из случайных прохожих.

Услышав пулеметные очереди, шофер сообразил, что тут что-то не так, пулеметов у бандитов быть не может, и круто затормозил. Прошло несколько минут, пока разобрались, и смущенные милиционеры, стремясь загладить свою вину, попытались оказать помощь раненым, но тщетно. Молча отстранив милиционеров, латыши забрались в кузов, в грузовик медленно тронулся к Кремлю.

Ничего не подозревая, я сидел в комендатуре, когда у меня на столе пронзительно затрещал телефон.

В трубке послышался подчеркнуто спокойный голос Якова Михайловича:

— На плацу творится черт знает что такое, а вы сидите в комендатуре. Немедленно отправляйтесь в полк и разберитесь, в чем дело.

Засовывая на ходу за пояс кольт, я выскочил из комендатуры и кинулся на плац. Там все кипело. От казарм стремительно бежали латыши, катя грохочущие по булыжнику станковые пулеметы. Весь 9-й Латышский стрелковый полк был поднят в ружье. К плацу подлетали грузовики, латыши с ходу кидались в них, втаскивая друг друга. А посреди плаца застыл грузовик с изрешеченными пулями бортами, в кузове которого лежал труп убитого возле «Метрополя» латышского стрелка.

Вклинившись в толпу, я схватил первого попавшегося командира роты за рукав:

— В чем дело?

— Полк выступает.

— Как выступает, куда?

Из толпы раздались голоса:

— Идем на «Метрополь»

— Громить милицию.

— Может, это и не милиция, а бандиты, переодетые в милиционеров.

Я подоспел вовремя. Еще несколько минут — и было бы поздно.

Взобравшись на ближайший грузовик, я крикнул что было мочи:

— Митинг! Митинг давай! Нельзя выступать без митинга!

Необходимо было выиграть время, заставить людей одуматься, только тогда их можно было бы удержать, а там разъяснить, что никаких бандитов, переодетых в милицейскую форму, нет, что произошло трагическое недоразумение. К моему голосу стали прислушиваться. Кое-кто поддержал:

— Верно, надо митинг. Потом выступим.

Тут как раз подоспели Берзин и Озол, как и я, застигнутые врасплох. Нам быстро удалось овладеть положением, на плацу стало тихо. Открыв митинг, я заявил, что ни о каком выступлении не может быть и речи. Надо выбрать делегацию и поехать в Моссовет, разобраться. Я сам поеду с делегацией и уверен, что виновные в бессмысленной стрельбе, стоившей жизни одному из ваших товарищей, будут сурово наказаны.

Мое предложение приняли, тут же выбрали делегацию, и мы отправились в Моссовет.

В Моссовете мы застали нескольких членов президиума и тут же договорились о тщательном расследовании и привлечении виновных к ответственности. Прямо из Моссовета вместе с одним из членов президиума наша делегация отправилась в отдел милиции Городского района, к виновникам происшествия. Едем. На улицах ни одного милиционера, как в воду канули. Нет милиционеров и возле «Метрополя» и на Петровке, а в отделе двери настежь, и тоже ни души. Даже часового нет. Оказывается, как только распространилась весть о столкновении с латышами, милиционеры Городского района разбежались кто куда. Пришлось расследование на время отложить.

...Близилась Первомайские праздники. Впервые День международной солидарности трудящихся встречал свободный народ свободной страны, навеки скинувший ярмо помещичье-капиталистического гнета.

1 Мая 1918 года решено было отметить торжественно, по-настоящему. Подготовка началась заблаговременно.

Примерно за неделю до праздника вызвал меня Яков Михайлович и распорядился украсить Кремль так, как он никогда еще не украшался. Яков Михайлович велел привести в образцовый порядок все кремлевские улицы и площади, украсить здания, ворота и подъезды, Кремлевские стены и башни. Тут же он написал распоряжение управляющему текстильной промышленностью Алексею Семеновичу Киселеву выдать мне такое количество кумача и другой материи, какое потребуюсь.

К работам по украшению Кремля я привлек лучших московских художников, скульпторов, архитекторов: Федоровского, Богатова, Ясинского, Виноградова и других. Мобилизовал десятки декораторов, плотников, кровельщиков. Работа закипела вовсю, и 1 Мая 1918 года праздничные москвичи не узнали Кремля.

Кутафья башня была вся обвита красной материей. С ее стен свешивались огромные плакаты: «Да здравствует всемирная Советская Республика!», «Да здравствует красное знамя свободного труда!»... Высоко над башней гордо реяли два алых стяга.

Вдоль всего Троицкого моста, от Кутафьей башни к Троицкой, полоскались на весеннем ветру два ряда красных флагов, образуя красочный коридор. По всем четырем стенам Троицкой башни спускались полотнища с лозунгами, а место древней, тусклой иконы в центре башни заняло огромное панно, на котором был изображен могучий красный витязь, вознесшийся над землей.

Здание Совнаркома и ВЦИК так и пылало в огне алого кумача. Украсились и другие кремлевские здания, даже монастыри и соборы. Все подъезды и ворота внутри Кремля увивала свежая зелень. В эти дни мне пришла мысль избавиться от икон, торчавших на Кремлевских башнях и соборах и постоянно мозоливших глаза. Решил, однако, спросить Владимира Ильича или Якова Михайловича, а тут и случай представился. В канун праздника Владимир Ильич и Яков Михайлович вместе пошли по Кремлю осматривать украшения. Пригласили и меня. Выйдя из подъезда Совнаркома, мы миновали Царь-колокол и поравнялись с Благовещенским собором; тут я спросил Владимира Ильича, не следует ли убрать иконы.

— Правильно, — отвечает Ильич, — совершенно правильно. Обязательно следует. Только не все: старинные, представляющие художественную или историческую ценность, надо оставить, а остальное убрать.

Вдруг Владимир Ильич всплеснул руками и звонко расхохотался.

— Товарищ Мальков, только вот эту не вздумайте трогать, — и он указал пальцем на икону, вделанную в стену Благовещенского собора, — а то так от Луначарского попадет, так попадет, что и не говорите. Не только вам, и мне заодно достанется. Так что уж вы меня не подводите!

Наступило 1 Мая 1918 года. Утро выдалось пасмурное, хмурое. Солнце проглянуло только после полудня. Начало демонстрации было назначено на 11 часов, но по всей Москве с раннего утра царило небывалое оживление. По районам собирались рабочие, служащие. В четком строю, чеканя шаг, проходили к сборным пунктам войска, шедшие в общей демонстрации, во главе районных колонн.

Воинский парад был назначен после окончания демонстрации на Ходынке.

Члены ВЦИК, сотрудники ВЦИК и Совнаркома собрались к 9.30 утра в Кремле, перед зданием Судебных установлений.

Вышел Владимир Ильич. Он был весел, шутил, смеялся. Когда я подошел, Ильич приветливо поздоровался со мной, поздравил с праздником, а потом внезапно шутливо погрозил пальцем:

— Хорошо, батенька, все хорошо, а вот это безобразие так и не убрали. Это уж нехорошо. — Он указал на памятник, воздвигнутый на месте убийства великого князя Сергея Александровича.

Я сокрушенно вздохнул.

— Правильно, — говорю, — Владимир Ильич, не убрал. Не успел, рабочих рук не хватило.

— Ишь ты, нашел причину! Так, говорите, рабочих рук не хватает? Ну, для этого дела рабочие руки найдутся хоть сейчас. Как товарищи? — обратился Владимир Ильич к окружающим.

Со всех сторон его поддерживали дружные голоса.

— Видите? А вы говорите, рабочих рук нет. Ну-ка, пока есть время до демонстрации, тащите веревки.

Я мигом сбегал в комендатуру и принес веревки. Владимир Ильич ловко сделал петлю и накинул на памятник. Взялись за дело все, и вскоре памятник был опутан веревками со всех сторон.

— А ну, дружно — задорно командовал Владимир Ильич.

Ленин, Свердлов, Аванесов, Смидович, другие члены ВЦИК и Совнаркома и сотрудники немногочисленного правительственного аппарата впряглись в веревки, налегли, дернули, и памятник рухнул на булыжник.

— Долой его с глаз, на свалку! — продолжал командовать Владимир Ильич.

Десятки рук подхватили веревки, и памятник загремел по булыжнику к Тайницкому саду.

Владимир Ильич вообще терпеть не мог памятников царям, великим князьям, всяким прославленным при царе генералам. Он не раз говорил, что победивший народ должен снести всю эту мерзость, напоминающую о самодержавии, оставив в виде исключения лишь подлинные произведения искусства, вроде памятника Петру в Петрограде. По предложению Владимира Ильича в 1918 году в Москве были снесены памятники Александру II в Кремле, Александру III возле храма Христа-спасителя, генералу Скобелеву. На месте памятника Скобелеву против Моссовета был воздвигнут обелиск Свободы.

Москва, говорил Ленин, столица Советского государства, государства рабочих и крестьян, и ее улицы должны украшать памятники не царям и князьям, а великим революционерам, борцам за народное счастье. Мы снесем весь этот хлам, заявлял он, и воздвигнем в Москве и других городах Советской России памятники Марксу, Энгельсу, Марату, Робеспьеру, героям Парижской коммуны и нашей революции. Воздвигнем памятники выдающимся умам человечества, ученым и писателям, поэтам и композиторам. Владимир Ильич сам заложил памятник Карлу Марксу. В Москве были заложены и открыты временные памятники ряду выдающихся революционеров.

Мы тронулись на Красную площадь, полыхавшую заревом алых знамен. Ровно в 11 часов утра на площадь хлынули колонны демонстрантов. Нескончаемым потоком лились мимо седых Кремлевских стен, мимо невысокой дощатой трибуны, на которой стояли члены ВЦИК и Совнаркома, стоял Владимир Ильич Ленин десятки тысяч москвичей — пролетариев Пресни и Хамовников, Сокольников и Замоскворечья. Шли солдаты московских полков, шли в отдельных колоннах ребята, мальчишки и девчонки, будущие строители коммунизма.

Демонстрация длилась свыше пяти часов. Когда она закончилась, прямо здесь, на Красной площади, открылся грандиозный митинг трудящихся столицы.

Час спустя состоялся военный парад на Ходынке. Владимир Ильич с Надеждой Константиновной и Марией Ильиничной прямо с Красной площади проехал туда, а после парада, когда совсем свечерело, праздник продолжался в Кремле. Здесь состоялся митинг латышских стрелков и сотрудников Кремля, на котором выступили встреченные горячими овациями В. И. Ленин и Я. М. Свердлов.

Прошло еще несколько месяцев, и в конце сентября 1918 года мне пришлось расстаться с латышскими стрелками. Многих из них измотали тяжелая караульная служба, ночи без сна, частые сложные операции. Но не это было главным. Латышские стрелки рвались на фронт, в открытый бой с врагами революции, сжимавшими молодую Республику Советов в огненном кольце.

Посоветовавшись с командованием Латышской стрелковой дивизии, мы решили 9-й полк вывести из Кремля и, идя навстречу пожеланиям большинства стрелков, отправить полк на фронт.

В середине сентября собрали по этому поводу специальное совещание, о результатах которого комиссар дивизии Петерсон так докладывал Якову Михайловичу:

«1918 г. 18 сентября.

Председателю ВЦИК т. Свердлову

На общем заседании, при участии комиссаров и командиров Латышской дивизии, председателя Исколастрела и коменданта Кремля тов. Малькова, мы пришли к единогласному решению, что 9-й полк, находящийся в Кремле, сейчас целесообразно из Кремля перевести в казармы Александровского училища, а вместо 9-го полка для несения караульной службы в Кремль перевести 2-й Латышский стрелковый полк, ныне находящийся в лагерях.

Ввиду изложенного, просим Ваше согласие заменить 9-й Латышский полк 2-м полком.

Комиссар Латышской стрелковой советской дивизии *К. Петерсон*».

С нашим предложением о выводе 9-го полка из Кремля Яков Михайлович согласился. Правильно, говорит, пора переменить обстановку товарищам латышам, надо предоставить им возможность ударить по белогвардейской нечисти. Только зачем заменять один полк другим? Сделаем иначе: переведем в Кремль из Лефортова Первые пулеметные курсы, курсанты будут и охрану Кремля нести и учиться. Состав на курсах переменный — одни окончили, ушли, другие пришли, так что караульная служба никому не успеет набить оскомину. Народ же на курсах надежный, мало чем уступает латышам, все больше рабочие. Много коммунистов. Не подведут.

Так и сделали. Осенью 1918 года латышские стрелки покинули Кремль, и на их место заступили курсанты Первых пулеметных курсов, преобразованных в дальнейшем в школу ВЦИК.

Владимир Ильич Ленин

Первое время после переезда правительства в Москву Владимир Ильич жил в 1-м Доме Советов («Национале») и каждый день ходил в Кремль пешком, без всякой охраны. Вообще вплоть до злосчастного покушения Каплан Ильич всюду ходил и ездил один, категорически возражая против того, чтобы его сопровождала охрана. Только после покушения Ильич вынужден был подчиниться настояниям товарищей и дать согласие на организацию охраны, да и то нередко уходил или уезжал без сопровождения.

Недели через две после приезда в Москву, в конце марта 1918 года, Владимир Ильич переселился из 1-го Дома Советов в Кремль. Некоторое время спустя в Кремль переехали Свердлов, Аванесов, Демьян Бедный и ряд других товарищей.

Сначала Владимир Ильич поселился в совсем крохотной двухкомнатной квартирке в Кавалерском корпусе, затем перебрался в здание Судебных установлений, в то же помещение, где был и Совнарком. Здесь квартира была тоже небольшая, всего четыре маленькие комнаты. Особыми удобствами она не отличалась, раньше здесь находилась не то квартира какого-то чиновника, не то подсобное помещение, толком не знаю, подбирали-то ее еще до моего приезда в Москву. Захламлена она была основательно. Зато находилась квартира в непосредственной близости от служебного кабинета Ильича — в одном и том же коротком коридоре, и в этом было ее огромное достоинство.

Как только я вступил в свои права коменданта Кремля, Бонч-Бруевич привлек меня к работе по устройству постоянной квартиры Владимиру Ильичу, и я привял непосредственное участие в приведении помещения в жилое состояние.

Работы в квартире были проведены самые незначительные; побелили стены, даже не заклеив их обоями, поставили мебель. Мебель мы подбирали вместе с Бончем, только самую необходимую. Знали, что никаких излишеств Ильич не допустит. Установили две простые металлические кровати, Ильичу и Надежде Константиновне, два письменных стола и один обеденный, совсем небольшой, примерно 1,5 на 2 метра. В столовой у стенки я поставил скромную деревянную этажерку, установил в прихожей несколько книжных шкафов, поставил полдюжины стульев, вот и вся мебель квартиры председателя Совнаркома.

Как ни скромна была обстановка, Владимира Ильича она вполне устраивала. Непритязательность Ильича, его исключительная личная скромность и нетребовательность известны всем и каждому. Причем в этой скромности не было ничего показного, нарочитого.

И в личной жизни, и в отношениях с окружающими Ленин был предельно скромен, тактичен, порою даже застенчив. Однако при всей своей скромности и простоте Владимир Ильич всегда оставался Лениным.

Никогда и ни с кем Владимир Ильич не допускал и подобия панибратства. Бессчетное количество раз я видел Ленина беседующим с людьми, десятки раз мне самому приходилось говорить с Ильичей, говорить и с глазу на глаз, и в присутствии других. С любым человеком, будь то нарком или рядовой рабочий, ученый, писатель или крестьянин, Ленин был очень внимателен, говорил ровно, без тени превосходства. Но весь его облик, все манеры, непоколебимая уверенность в своей правоте покоряли собеседника, кто бы он ни был. И каждый чувствовал, беседуя с Ильичем, что как Ленин ни прост, а человек он не простой, не обычный.

Ильич умел, когда надо, быть властным и суровым. Он мог, как мало кто другой, одернуть и поставить на место любого. Из всех людей, которых я знал, вряд ли кто другой мог так спокойно, не повышая голоса, одной-двумя фразами, скупым жестом осадить кого угодно, подчинить своей стальной, несокрушимой воле.

Нетребовательность Ильича в быту была потрясающей. В квартире у него было холодно: отопление-то дровяное, а дров не хватало. С дровами в Кремле было вообще туго. И ни разу ни

Владимир Ильич, ни Надежда Константиновна ни слова не сказали, не пожаловались, что мерзнут, не предъявляли никаких претензий. Мне же было невдомек, пока как-то не посетовала на холод Саша, работница в семье Ильича.

Посетовала и тут же оговорила:

— Только, ради бога, не выдавайте, Павел Дмитриевич, что я вам жаловалась. Узнает Владимир Ильич или Надежда Константиновна, попадет мне!

Та же история была и с продуктами. Питался Ильич плохо, нередко оставался без сахара, чая, без крупы, уж не говоря о мясе, масле. Обеды он получал из той же кремлевской столовой, но обеды-то были никудышные. Жидкий суп, пшенная каша, одно время была солонина, красная кетовая икра — и все. И ведь это только обед, а надо еще завтракать, ужинать...

У меня всегда был некоторый резерв продуктов для неотложных нужд: кто заболит, внезапно придет, срочно уезжает, мало ли что бывало. Нередко я получал коротенькие записки от Аванесова, от других руководителей ВЦИК, а то и от Якова Михайловича выдать 20 фунтов хлеба делегации питерских рабочих; отпустить четверть фунта сахара заболевшему члену ВЦИК... Пусть мало, но продукты были. И ни разу ни Ленин, никто из его близких не обратились ко мне за продуктами. Больше того, несколько раз я пытался сам занести что-нибудь из провизии на квартиру Ильича, и всегда дело кончалось отказом.

Только когда у Владимира Ильича началось желудочное заболевание и Саша рискнула попросить у меня манной крупы, созрело у нас решение пойти на хитрость. Мы договорились с Сашей, что она будет по утрам заходить ко мне и брать необходимое для Ильича, не говоря ничего ни ему, ни Надежде Константиновне. Хитрость наша, однако, могла быть легко разоблачена, и я решил вовлечь в заговор Марию Ильиничну. После длительных уговоров она дала согласие звонить, если что будет нужно, и действительно звонила, но раз-два в месяц, не чаще.

А сколько раз, бывало, Ленину привозили или присылали любовно собранные продуктовые посылки! Слали товарищи, везли делегаты сел и деревень. И никогда Ильич ничего не оставлял себе, все передавал в школы и детские дома ребятам.

Вот, например, после взятия нашими войсками Ростова приехал в Москву Семен Михайлович Буденный, привез много подарков. Приходит ко мне в комендатуру и спрашивает, как передать гостинцы, присланные бойцами Первой Конной Ильичу. Я отвечаю, что нет ничего проще. Приносите, мол, сюда, я передам.

Семен Михайлович рассердился:

— Благодарствую за совет, только такая помощь мне не нужна, передать-то я и сам уж как-нибудь передам.

Не знаю как, но в тот же день Семен Михайлович передал Ильичу все, что намеревался. А, побывав у Ильича, не преминул вновь заглянуть в комендатуру:

— Без вашей помощи обошлись, товарищ комендант. Все как есть Ильичу вручил. Так-то!

Вручил так вручил, тем лучше, только на следующее утро звонит Владимир Ильич: зайдите, мол, ко мне. На квартиру.

Я сошел.

— Вчера у меня товарищ Буденный был, — говорит Ильич. — Замечательный товарищ! Вот он тут продукты привез, вы их возьмите, пожалуйста, и передайте в детский дом, ребятишкам. Непременно ребятишкам.

Так все и отдал, ничего себе не оставил.

А как одевался Владимир Ильич! Боюсь, что у него был всего один костюм. Очень чистый, опрятный, всегда аккуратно выглаженный (Владимир Ильич вообще не терпел никакой неопрятности, распушенности), но уже изрядно поношенный и, что ни говори, всего один. От силы два, не больше.

Собрались как-то Яков Михайлович с Феликсом Эдмундовичем и решили: надо Ильичу сшить новый костюм. Вызвали меня, велели достать материал, привести портного. Только, говорят, Ильичу пока ни слова. Узнает заранее — откажется. Надо его врасплох захватить.

Достал я материал, разыскал портного. Звоню Якову Михайловичу: готово.

— Ладно, — отвечает Яков Михайлович, — ждите команды.

Сижу в комендатуре, волнуюсь. Портной возле меня. Он и не знает, на кого ему шить придется.

Проходит минут сорок — пятьдесят, звонит Яков Михайлович.

— Мы с Феликсом Эдмундовичем идем сейчас к Ильичу. Берите своего портного и минут через десять заходите туда же.

Тут я сказал портному, что костюм-то Ленину.

— Ленину? — переспросил портной. — Самому Ленину? — Он вскочил со стула, руки трясутся. — Вы... вы шутите?!

— Нет, — говорю, — не шучу. Пошли!

Через несколько минут мы с портным входили в квартиру Ильича. Владимир Ильич, Яков Михайлович и Феликс Эдмундович о чем-то оживленно разговаривали в столовой. Яков Михайлович и Феликс Эдмундович сидели возле стола, а Владимир Ильич расхаживал взад и вперед по комнате, заложив большие пальцы в вырезы жилета и задорно посмеиваясь.

Увидев нас, Владимир Ильич остановился, с недоумением глянул на меня, на портного, повернулся к Свердлову и Дзержинскому. Те продолжали сидеть с невозмутимым видом. Яков Михайлович барабанил пальцами по столу, поглядывая в окно, а Феликс Эдмундович не спеша повернулся, протянул руку, взял со стоявшей у него за спиной этажерки первую попавшуюся книгу и принялся сосредоточенно ее перелистывать. Портной, часто дыша мне в затылок, переминался с ноги на ногу.

— В чем дело, товарищ Мальков? — первым прервал молчание Ильич. — Я как будто вас не вызывал. А за спиной кто это у вас прячется?

Не зная, с чего начать, я нерешительно шагнул вперед, чуть не силой втаскивая за собой вконец растерявшегося портного. На выручку пришел Яков Михайлович:

— По-видимому, товарищ Мальков привел портного, чтобы снять мерку, Такое у меня создается впечатление.

— Какую мерку, с кого? Что за ерунда? — Ильич начал сердиться.

— С вас, Владимир Ильич, с вас! — вступил в разговор Феликс Эдмундович.

— Позвольте, — перебил его Ильич, — позвольте. Да у вас, я вижу, целый заговор?

— Это уж как вам будет угодно, — невозмутимо продолжал Дзержинский. — Заговор? Ну, как известно, моя специальность раскрывать заговоры...

Все расхохотались. Владимир Ильич с комическим вздохом развел руками:

— Ничего не поделаешь. Ваша взяла.

Он шагнул к портному, протянул ему руку:

— Здравствуйте, товарищ! Вы извините, что вас побеспокоили, я ведь и сам бы мог к вам приехать...

Феликс Эдмундович и Яков Михайлович переглянулись: как же, так бы и поехал! Между тем портной быстро снял мерку. Спустя несколько дней костюм был готов.

Так же скромно, можно сказать бедновато, одевалась и Надежда Константиновна. Платья на ней всегда были чистые, аккуратные, но из недорогой, простой материи, изрядно поношенные.

Однажды сотрудники Наркомпроса, не помню уже сейчас по какому поводу — то ли в день рождения Надежды Константиновны, то ли в Международный женский день, решили сделать ей подарок. Собрали деньги, купили материал и сшили платье. Но когда Надежде Константиновне принесли и стали вручать подарок, она растерялась:

— Зачем вы это сделали? Мне ничего не надо. У меня все есть, все необходимое.

Как-то звонит мне Владимир Ильич:

— Товарищ Мальков, у меня накопилось много новых книг, надо бы их разобрать. Кстати, сегодня обещали поставить еще один книжный шкаф. Нельзя ли прислать кого-нибудь?

— Почему нельзя? Можно. Сегодня же пришлю.

А про себя думаю: «Никого не пошлю, сам пойду и разберу».

Часа в четыре, когда ни Владимира Ильича, ни Надежды Константиновны, ни Марии Ильиничны дома обычно не бывало, пошел и принялся разбирать книги.

Сажу на корточках, подбираю книги по алфавиту, прежде чем в шкаф поставить, вдруг у меня за спиной тихо открылась дверь. Кто-то вошел, постоял с минуту (я и не заметил), смущенно кашлянул.

Оборачиваюсь — Владимир Ильич.

— Я вам не помешаю?

Я вскочил.

— Извините, Владимир Ильич. Не слушал, как вы вошли. Я сейчас уйду, потом кончу.

— Что вы, что вы! — Он замахал руками. — Это вы извините, что я помешал. Мне тут одна книжица понадобилась. Я ее возьму и пойду, а вы не беспокойтесь, продолжайте работать. Большое вам спасибо за помощь.

Взял нужную книгу и ушел.

В другой раз позвонила Мария Ильинична и попросила послать кого-нибудь помочь переставить мебель в квартире: им с Надеждой Константиновной вдвоем трудно. Я, конечно, опять сам пошел. Увидели они меня, смутились. Зачем, говорят, вы себя затрудняете, мы уж как-нибудь сами. Затрудняю?

Да я не мебель — горы для Владимира Ильича готов был vorochat', и силы бы хватило!

В Москве, как и в Петрограде, Владимир Ильич работал невероятно много. Кому, как не мне, отвечавшему за безопасность и охрану Ильича, было знать распорядок его дня! Рабочий день

Ленина был организован до предела четко. Все заседания и совещания начинались точно в назначенный срок, без минуты запоздания. Докладчикам устанавливался жесткий регламент: 10–15 минут, не больше. Хочешь не хочешь — укладывайся. В прениях — и того меньше. Никаких лишних разговоров. Многословия Владимир Ильич не терпел. Все делалось продуманно, организовано, быстро.

Принимал Владимир Ильич ежедневно огромное количество людей: по вопросам партийным, государственным, хозяйственным, нередко и личным. Часто прием был коротким: с непостижимой быстротой вникал Ленин в суть каждого вопроса, тут же находил нужное решение, а уж когда оно было принято — сурово требовал безоговорочного выполнения. И проверял. Обязательно проверял.

Постоянно Ленин уделял внимание делам военным, глубоко вникая в решение всех основных стратегических вопросов, непосредственно участвуя в руководстве всеми фронтами и армиями. Не раз, будучи вызван по тому или иному вопросу к Ильичу, я заставлял его над картой военных действий, разложенной на столе, или сосредоточенно передвигающим флажки на другой карте, висевшей на стене.

Ильич был очень доступен. К нему без особого труда мог попасть не только руководящий работник, но и любой рядовой посетитель, если в этом действительно была нужда. Особенно охотно и часто принимал Ленин рабочих с фабрик и заводов, многочисленных крестьянских ходоков со всей страны. Но это не значит, что всякий в любое время мог попасть к Ильичу. Он принимал только того, кого вызывал сам, кто нужен был по делу, либо тех, кто, прося о приеме, мог обосновать необходимость личной беседы с Лениным, причем время каждой беседы было строго регламентировано. Исключение составляли делегации рабочих и крестьян, которые Владимир Ильич принимал, как правило, сразу, с которыми беседовал особенно подолгу.

Сотрудники небольшого, но слаженного и умелого аппарата председателя Совнаркома предварительно разговаривали с каждым, кто стремился попасть к Ильичу, и докладывали Ленину результаты беседы, после чего он сам решал, будет ли лично принимать человека или его следует направить в то или иное учреждение, к тому или иному товарищу. В результате, несмотря на огромный поток посетителей, в приемной Ленина никогда не было толкучки, никогда люди подолгу не ждали.

В просторном, но отнюдь не громадном кабинете Ленина было три двери. Одна, направо от письменного стола, выходила в коридор, связывавший кабинет и приемную председателя СНК с его квартирой. У этой двери стоял часовой. Никто, кроме самого Ильича, пользовавшегося обычно именно этой дверью, никогда через нее не ходил. Часовой возле этой двери имел строжайшую инструкцию: кроме Ленина, не пропускать ни одного человека, кто бы это ни был. Второй пост был установлен в конце коридора, возле квартиры Ильича. На эти посты я всегда ставил самых надежных людей, следил за этими постами особо тщательно, проверял их постоянно.

Вторая дверь, расположенная прямо напротив стола, вела в приемную, где работали Лидия Александровна Фотиева и другие секретари Совнаркома. Входили в приемную через дверь, находившуюся в том же коридоре, что и первая дверь — в кабинет Ильича. Возле этой двери поста не было. Все посетители, будь то Народный комиссар или рядовой рабочий, член Центрального Комитета партии или крестьянский ходок из-под Тулы, командарм или ученый, — попадали к Ильичу только через эту дверь, через приемную, только по вызову и в строго определенное время. Это было правилом, установленным почти для всех. Не распространялось это правило только на Якова Михайловича Свердлова и Феликса Эдмундовича Дзержинского.

Яков Михайлович и Феликс Эдмундович обычно пользовались третьей, маленькой, дверью, находившейся позади письменного стола, за спиной у Ильича. Дверь эта вела в небольшую комнату, смежную с кабинетом Ленина, именовавшуюся аппаратной.

В аппаратной помещался так называемый Верхний кремлевский коммутатор, имевший всего несколько десятков абонентов. Аппараты Верхнего коммутатора были установлены в кабинетах особо ответственных работников — наркомов, членов ЦК — и кое у кого на квартирах, а также в некоторых учреждениях: ВЧК, Реввоенсовете, комендатуре Кремля, гараже Авто-Боевого

отряда, обслуживавшего Президиум ВЦИК. Вот, пожалуй, и все. Был в Кремле и другой коммутатор, именовавшийся Нижним, аппараты которого были установлены во всех кремлевских учреждениях и в большинстве квартир.

В аппаратной круглые сутки находились дежурные, и всякий, кто попытался бы проникнуть к Ильичу через аппаратную, никак не мог миновать дежурных, превосходно знавших свои обязанности.

К часовым, стоявшим на постах возле кабинета и квартиры, к дежурным в аппаратной Владимир Ильич всегда относился исключительно тепло и внимательно. Нередко он с ними задушевно беседовал, а проходя мимо, обязательно приветливо здоровался. Так же относился Ильич и ко всем сотрудникам Совнаркома, и к часовым других постов, никогда не раздражаясь и не впадая в неоправданный гнев, если возникали какие-либо недоразумения. А они, бывало, возникали.

В 1918–1919 годах время от времени бывали перебои с подачей электроэнергии, и порою здания Кремля погружались в темноту. Только здания, так как улицы освещались тогда в Кремле не электричеством, а газовыми фонарями, которые специальный фонарщик каждый вечер зажигал, а по утрам гасил.

Однажды свет погас в тот момент, когда Владимир Ильич с Надеждой Константиновной возвращались откуда-то домой. Дошли они до своей квартиры, а часовой их в темноте не узнал и в квартиру не пускает. Как они ни уговаривали — не пускает, и все. Хорошо, согласился позвонить начальнику караула.

Начальник караула доложил мне, и я поспешил к квартире Ильича, захватив с собой несколько толстых церковных свечей, которыми как-то «разжился» в одном из кремлевских монастырей.

Прибежал. Владимир Ильич стоит себе с Надеждой Константиновной возле часового, посмеивается. Начал было я часового ругать, Ильич вступился:

— Что вы, товарищ Мальков, что вы! Нет ничего страшного в том, что товарищ нас не узнал в такой темноте, а вот обеспечить всех часовых свечами на случай, если погаснет электричество, следует. Об этом подумайте.

Часовые хорошо знали Владимира Ильича в лицо, и он обычно входил и въезжал в Кремль, не предъявляя пропуска. Нередко поэтому Ильич, уезжая из Кремля, не захватывал с собой кремлевского пропуска. Как-то он уехал из Кремля, а за время его отсутствия караул сменился, и на пост к Спасским воротам, которые были тогда уже открыты для транспорта, встал часовой, не знавший Ильича в лицо. Он и задержал Ленина. Шоферу разрешил ехать — у того пропуск был, а Ильичу говорит: не пропущу!

Еле уговорил его Ильич позвонить начальнику караула. Он вначале и этого не хотел делать; я, мол, на посту, не мое дело звонить по телефону. Тебе нужно, ты и звони. Иди в Троицкую будку и звони, (возле Спасских ворот будки не было, разовые пропуска выдавали о Троицкой будке, там же был и телефон.)

Только после долгих уговоров часовой уступил и вызвал начальника караула. Тот, конечно, сразу узнал Ильича и страшно разволновался. Ленина велел пропустить, а сам звонит мне и докладывает: так и так, скандал! Только я положил трубку, снова звонок. Ильич.

— Товарищ Мальков, прошу отметить часового, который сейчас стоит на посту возле Спасских ворот. Хороший товарищ. Прекрасно знает свои обязанности и превосходно несет службу.

Поражало меня всегда в Ильиче то, как он, будучи постоянно завален делами огромной государственной важности, не проходил мимо мелочей и даже к мелочам подходил неизменно с глубоко партийных, государственных позиций. Впрочем, некоторые из этих мелочей были на самом деле далеко не мелочами.

Вскоре после переезда правительства в Москву вызывает меня Владимир Ильич:

— Товарищ Мальков, надо бы на здании Судебных установлений водрузить красное знамя. Сами подумайте, Советское правительство — и без знамени. Нехорошо.

— Сделаем, — говорю, — Владимир Ильич, сейчас займусь.

Ушел от Ильича, а сам думаю: пообещать-то пообещал, а как его установишь, это самое знамя? Всего неделю назад, когда принимал комендатуру, я весь Кремль облазил, все крыши осмотрел. Здание же Судебных установлений — особо тщательно. Там наверху большой железный купол. В него так просто знамя не воткнешь, надо гнездо в железе делать, а штука это не простая.

Однако раз Ильич сказал, делать надо.

На мое счастье, работал в Кремле с давних времен один слесарь, Беренс. Лет ему было за пятьдесят, роста он был небольшого, плотный, коренастый. Числился водопроводчиком, а смастерить мог что угодно. Настоящий русский умелец. Руки и голова были у него золотые. Вот этого Беренса я и вызвал.

— Велел, — говорю, — Владимир Ильич поднять над зданием Судебных установлений красное знамя. Надо в куполе гнездо делать. Сделаешь?

— Почему не сделать? — отвечает Беренс. — Дело вроде не хитрое.

Взял он инструмент и полез на крышу. Несколько дней там сидел, возился. И соорудил прочное, хорошее гнездо. Подняли мы над Кремлем, над зданием Советского правительства, красное знамя. Навсегда!

Прошло некоторое время, звонит Бонч-Бруевич:

— Павел Дмитриевич! Владимир Ильич велел вас спросить, нельзя ли часы на Спасской башне пустить (а они с самой революции стояли), да чтобы они опять, как прежде, заиграли, только уж не церковное, а наше — «Интернационал».

— Не знаю, Владимир Дмитриевич, выйдет ли, а попробовать попробуем.

Вызвал я опять Беренса, отправились мы с ним на Спасскую башню, и начал он в механизме копать. А механизм там солидный, части, колеса разные, маховики — все огромное, и на часы не похоже. Лазил Беренс, лазил, перемазался весь, а вид довольный.

— Ничего, — говорит, — сделаем.

С тех пор начал Беренс ежедневно взбираться на Спасскую башню и возиться с часами. Немало дней прошло, только вдруг, что это? Звон какой-то несется над Кремлем. Прислушался — «Интернационал»!

Пошли часы на Спасской башне, зазвучала музыка, наша, советская.

Не знаю, может, после 1920 года, когда я ушел из Кремля, ремонтировали спасские часы разные люди, но в 1918 году впервые после революции пустил их и заставил вызванивать «Интернационал» не кто иной, как Беренс, простой русский мастер, кремлевский водопроводчик.

Забота Ленина об установке красного флага на здании Советского правительства и о пуске часов Спасской башни мелочью, пожалуй, и не назовешь. Но у Ильича доходили руки и до самых настоящих мелочей.

Осенью 1918 года завезли в Кремль дрова и сложили штабелями против Детской половины Большого дворца. Только завезли, звонит Ильич:

— Товарищ Мальков, по вашему распоряжению дрова в Кремль завезены?

По голосу чую недоброе, хоть и не пойму, в чем дело.

— Да, Владимир Ильич, по моему. Надо на зиму запастись.

— Чем запастись? Дровами? А вам что привезли? Вы смотрели?

— Смотрел, конечно. Дрова...

— Дрова! Да какие это дрова? Шпалы же вам привезли, самые настоящие железнодорожные шпалы. Нам транспорт восстанавливать надо, каждый рельс, каждая шпала должны быть на учете, а вы железнодорожные шпалы будете в печки совать? Нет, это же надо додуматься! Немедленно, слышите, немедленно отправьте шпалы обратно да разыщите головотяпов, которые вместо дров прислали шпалы. Мы их примерно накажем.

Пришлось, конечно, шпалы из Кремля вывезти и поддержать Кремль в отношении топки на голодном пайке, пока не удалось возобновить запас дров. Ну, а тем, кто прислал шпалы, досталось по первое число.

Или, скажем, счищают снег с крыши здания Совнаркома. Вдруг звонит Владимир Ильич: разве можно так сбрасывать снег? Его же кидают прямо на провода, пооборвут все, придется восстанавливать. Куда это годится? Надо лучше инструктировать рабочих, не допускать подобных безобразий.

Как-то летом 1918 года решили мы с Демьяном Бедным и Иваном Ивановичем Скворцовым (Степановым) поехать половить рыбу. А как ловили? Греха таить нечего — глушили гранатами, Рыбы набрали, конечно, порядочно. Приехали домой, я часть рыбы Владимиру Ильичу понес. Занес и еще ряду товарищей.

Надежда Константиновна никак рыбу брать не хотела, но я ее уговорил. Сказал, что рыба не куплена, сам, мол, наловил. А как ловил, ей невдомек.

Проходит день, другой. Сидит Демьян Бедный у себя дома, работает. Вдруг — телефон. Ильич звонит:

— Вы что еще там с Мальковым удумали, браконьеры вы эдакие! Да вас обоих в тюрьму за такие штуки посадить следует.

Демьян, как известно, за словом в карман не лез. Он попытался было все обратить в шутку:

— Верно, — говорит, — Владимир Ильич, не хорошо! Только ведь и вы вроде наш сообщник. Рыбку-то эту глушеную вы же тоже кушали! Вам первому ее Мальков отвез.

Ильич разгневался не на шутку:

— Ваш Мальков обманщик. Он не сказал, каким способом ловил рыбу. И его и вас предупреждаю — повторится такая история, буду требовать для вас обоих самого сурового наказания.

Приходит ко мне Демьян туча тучей.

— Видишь, что получилось?! А все Бонч!

Ведь это он рассказал Владимиру Ильичу, что Демьян с Мальковым разъезжают по Подмоскovie и почем зря глушат рыбу.

Почти ежедневно Владимир Ильич гулял по Кремлю, чаще всего по тротуару напротив Большого дворца, откуда открывалась широкая перспектива Москвы, или внизу, в Тайницком саду, где густо разрослась никем не ухоженная зелень. Иногда он гулял днем, иногда вечером, а то, бывало, и ночью. Гулял почти всегда один, думал. Страшно не любил, чтобы ему во время прогулок мешали.

Как-то во время ночной прогулки Владимир Ильич заметил, что в некоторых квартирах поздно горит свет. Утром вызывает меня.

— Возьмите бумагу, ночью проверьте и запишите, кто свет напрасно жжет. Электричество у них выключите, а список мне дадите, мы их взгреем, чтоб даром энергию не расходовали. Мы должны каждый килограмм топлива, каждый киловатт электроэнергии экономить, а они иллюминацию устраивают! Надо прекратить это безобразие.

Очень внимательно, с горячей заботой, относился Владимир Ильич к нуждам трудящихся, неустанно пекся о том, как бы в тех тяжелых условиях улучшить жизнь рабочих и крестьян. А уж об отношении Ильича к товарищам по партии и говорить нечего. Как-то, зайдя к Ильичу в кабинет, я услышал его разговор по телефону с продкомиссаром Московской губернии. Тон, не терпящий возражений, сурово и властно Владимир Ильич приказывал продкомиссару обеспечить в тот же день московских рабочих хлебом.

— Имейте в виду, проверю. Лично проверю. Не выполните — пойдете под суд. Так и знайте.

Зимой 1918 года докатилась до Москвы эпидемия тифа. На всех московских вокзалах начали срочно сооружать санпропускники. Вызывает меня как-то Ильич, да не к себе, а прямо к подъезду Совнаркома.

Я пошел. Возле подъезда стоит машина, выходит Ильич.

— Поехали. На Николаевский вокзал. Посмотрим, как там санпропускник работает.

Стал было я его отговаривать: и народу там много, и заразиться можно. Куда там! Даже не слушает.

Доехали до вокзала. Владимир Ильич вышел из машины, я за ним.

Пошли искать санпропускник. А он, оказывается, хоть и сделан, но еще не открыт, какую-то формальность соблюсти не успели.

Услышав, что по вокзалу ходит Ленин, прибежало на свою беду вокзальное начальство. Ну и дал же им Ильич жару! Такую баню устроил, лучше всякого санпропускника. Мигом пропускник открыли.

Приезжает как-то из-за границы Фридрих Платтен, тот самый, который в марте 1917 года сопровождал Ленина из Швейцарии в Россию, а в январе 1918 года, в момент покушения на Ильича, заслонил его от пуль собственным телом.

Звонит мне ночью Владимир Ильич. Надо, говорит, устроить товарища Платтена с ночлегом.

Я отвечаю, что у меня сейчас нет ничего, поместить негде. Могу только взять к себе на квартиру, благо можно одну комнату освободить без особого ущерба.

— А это удобно, — спрашивает Владимир Ильич, — он вас не будет стеснять?

— Да ничего, как-нибудь устроимся.

Взял я Платтена к себе, а через полчаса стук в дверь. Владимир Ильич пришел. Интересуется, хорошо ли Платтену и не мешает ли он мне, не стеснил ли мою семью.

Если позволяло время, Владимир Ильич охотно ездил к своим товарищам, к старым членам партии. Играл в шахматы, смеялся, шутил. Бывал он у П. Н. Лепешинского на Остоженке (ныне Метростроевская), несколько раз ездил к П. Г. Дауге в Архангельский (теперь Телеграфный) переулок. Дауге, старого большевика, по профессии зубного врача, Владимир Ильич очень любил.

Однажды к Дауге ездил с Владимиром Ильичей и я. Приехали — дом большой, лифт не работает. Пришлось на пятый этаж пешком подниматься. Дауге тогда все убеждал Ильича, что пора начинать писать историю партии, очень, мол, нужно. Ильич соглашался.

А с какой любовью, с какой отеческой заботой относился Владимир Ильич к Максиму Горькому! Не раз мне доводилось заходить к Ильичу, когда у него сидел Горький, и я видел, как ласково, деликатно и одновременно настойчиво пытался Ленин помочь великому писателю разобраться в необычайно трудной и сложной обстановке тех лет.

Однажды вечером я сидел в комендатуре и работал, как вдруг звонит Яков Михайлович и спрашивает, не знаю ли я, где сейчас находится Владимир Ильич.

Я ничего толком не мог сказать.

— Не знаю, Яков Михайлович. А он не у себя дома? — высказал я первое пришедшее в голову предположение.

— Ну, если бы он был у себя дома, я бы это, наверное, выяснил и без вашей помощи. В том-то и дело, что дома его нет. Около трех часов тому назад он вызвал машину и уехал. Ни Бонч, ни Надежда Константиновна ничего не знают. Но вы — комендант Кремля, и если Ленин выехал из кремлевских ворот, то вы обязаны в ту же минуту знать об этом, обязаны знать, куда поехал Ленин, и, если это нужно, немедленно принять необходимые меры для его охраны.

— Но, Яков Михайлович...

— Никаких «но». Обзвоните всех, кто может знать, где Владимир Ильич, примите любые меры, но выясните, где он, не случилось ли с ним чего. Только действуйте спокойно, без шума.

Я положил трубку и на минуту задумался. Где искать Ильича, как искать? Ведь давалось указание посту у Спасских ворот, чтобы, если Ленин проедет, немедленно извещали. Ан нет, не известили!

Я позвонил секретарю Московского комитета партии, спросил, не заезжал ли случайно к ним Владимир Ильич. Нет, не заезжал. Позвонил на всякий случай секретарю Совнаркома Фотиевой. И она не знает. Тогда решил позвонить Анне Ильиничне Елизаровой, жившей напротив Кремля, на Манежной улице. Но и она сказала, что у нее Ильича нет.

— А вы позвоните-ка Горькому, — посоветовала Анна Ильинична. — Вероятно, Ильич у него.

Так оно и оказалось. Владимир Ильич поехал к Алексею Максимовичу, никого не предупредив, и у него засиделся.

* * *

Шли дни, мужала и крепла советская власть, как вдруг грянула беда. 30 августа 1918 года Владимир Ильич был тяжело ранен.

Случилось это в пятницу, в партийный день, когда, как и всегда по пятницам, по всей Москве проходили многотысячные митинги, на которых перед рабочими и красноармейцами выступали с докладами наркомы, члены Центрального Комитета партии, другие ответственные работники.

День 30 августа 1918 года начался скверно. Из Петрограда было получено мрачное известие — убит Моисей Соломонович Урицкий, кандидат в члены ЦК РКП(б), председатель Питерской ЧК. Всех, кто близко знал Урицкого, тяжело потрясла весть о его гибели. Феликс Эдмундович сразу же выехал в Петроград, чтобы лично руководить расследованием.

Владимир Ильич должен был выступать в этот день на заводе быв. Михельсона. Близкие, узнав о гибели Урицкого, пытались удержать Ильича, отговорить его от поездки на митинг. Чтобы их успокоить, Владимир Ильич сказал за обедом, что, может, он и не поедет, а сам вызвал машину и уехал. Разве могло что-нибудь остановить Ленина, когда он знал, что его ждут рабочие?! А в это время среди тысячной толпы рабочих завода, с честью носящего ныне имя Ильича, затаилась ничтожная кучка негодяев. После окончания митинга Ленин, сопровождаемый восторженными криками рабочих, вышел на улицу, направился к машине и... упал, пронзенный пулями белогвардейско-эсеровской террористки Каплан.

Я работал у себя в комендатуре, как вдруг тревожно, надрывно затрещал телефон. В трубке послышался глухой, прерывающийся голос Бонч-Бруевича:

— Скорее подушки. Немедленно. Пять-шесть обыкновенных подушек. Ранен Ильич... Тяжело...

Ранен Ильич?.. Нет! Это невозможно, этого не может быть!

— Владимир Дмитриевич, что же вы молчите? Скажите, рана не смертельна? Владимир Дмитриевич!..

Отшвырнув в сторону стул и чуть не сбив с ног вставшего навстречу дежурного, я вихрем вылетел из комендатуры и кинулся в Большой дворец. Там, в гардеробной Николая II, лежали самые лучшие подушки. Ворвавшись во дворец, ни слова не отвечая на расспросы перепугавшихся служителей, я вышиб ногой запертую на замок дверь гардеробной, схватил в охапку несколько подушек и помчался на квартиру Ильича.

В коридоре около квартиры растерянно толпился народ: сотрудники Совнаркома, кое-кто из наркомов. Обхватив руками голову, упершись лбом в оконное стекло, в позе безысходного отчаяния застыл Анатолий Васильевич Луначарский...

Всегда плотно прикрытая дверь в квартиру Ильича стояла раскрытой настежь. Возле двери, загораживая собою вход, держа винтовку наперевес, замер с каменно неподвижным лицом часовая. Увидев меня, он посторонился, и я передал находившемуся в прихожей Бонч-Бруевичу принесенные мною подушки. Потянулись томительные, долгие минуты. Я стоял словно прикованный, не в силах сдвинуться с места, уйти от этой двери. Взад и вперед проходили, пробегали люди, а я все стоял и стоял...

Вот в квартиру Ильича вбежала Вера Михайловна Бонч-Бруевич, жена Владимира Дмитриевича, чудесная большевичка и опытный врач. Ни на кого не глядя, ни с кем не здороваясь, стремительно прошел необычно суровый Яков Михайлович Свердлов. В конце коридора показалась, поддерживаемая под руку кем-то из наркомов, сразу постаревшая Надежда Константиновна. Она возвращалась с какого-то заседания и до приезда в Кремль ничего, ровно ничего не знала. Все расступились, храня скорбное молчание, и, прерывисто дыша, с трудом передвигая внезапно отяжелевшие ноги, Надежда Константиновна скрылась за дверь.

Наконец появился профессор Минц, еще кто-то из крупнейших специалистов... Наступил вечер, надвигались сумерки, надо было расходиться, а толком все еще никто ничего не знал, не мог сказать, что с Ильичем, насколько опасны раны, будет ли он жив.

Я вернулся в комендатуру, но работать не мог. Все валялось из рук. Мозг упорно сверлила одна неотступная мысль: как-то сейчас он, Ильич?

Ночь прошла без сна, да и думал ли кто-нибудь в Кремле в эту ночь о сне? Несколько раз за ночь я отправлялся к квартире Ильича. Все так же недвижно стоял перед дверью часовой. Царила глубокая, гнетущая тишина. Там, в глубине квартиры, в комнате Ильича, шла упорная борьба со смертью, борьба за его жизнь. Там были Надежда Константиновна и Мария Ильинична, профессора и сестры. Как хотелось в эти минуты быть с ними, хоть чем-нибудь помочь, хоть как-то облегчить тяжкие страдания Ильича! Казалось, будь от этого хоть какая-нибудь самая малая польза, самое ничтожное облегчение, всю свою кровь до последней капли, всю жизнь до последнего дыхания я отдал бы тут же, с радостью, с восторгом. Да разве один я?

Но сделать я ничего не мог, даже в мыслях не решался переступить заветный порог и уныло бродил из конца в конец пустынного коридора мимо обезлюдевшей в ночные часы приемной Совнаркома, мимо двери в кабинет Ильича. Из-под этой двери, за которой еще сегодня днем звучал такой знакомый, такой бодрый голос, в полутемный коридор пробивался слабый свет. Там, за столом Ленина, склонившись над бумагами, бодрствовал Яков Михайлович Свердлов. Жизнь продолжалась. Пульс революции дал глубочайший перебой, но ничто не могло остановить его мощного биения.

Уже в день покушения на Владимира Ильича, 30 августа 1918 года, было опубликовано знаменитое воззвание Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета «Всем, всем, всем», подписанное Я. М. Свердловым, в котором объявлялся беспощадный массовый террор всем врагам революции.

Через день или два меня вызвал Варлам Александрович Аванесов.

Немедленно поезжай в ЧК и заberi Каплан. Поместишь ее здесь, в Кремле, под надежной охраной.

Я вызвал машину и поехал на Лубянку. Забрав Каплан, привез ее в Кремль и посадил в полуподвальную комнату под Детской половиной Большого дворца. Комната была просторная, высокая. Забранное решеткой окно находилось метрах в трех-четыреx от пола. Возле двери и против окна я установил посты, строго наказав часовым не спускать глаз с заключенной. Часовых я отобрал лично, только коммунистов, и каждого сам лично проинструктировал. Мне и в голову не приходило, что латышские стрелки могут не усмотреть за Каплан, надо было опасаться другого: как бы кто из часовых не всадил в нее пулю из своего карабина.

Прошел еще день-два, вновь вызвал меня Аванесов и предъявил постановление ВЧК: Каплан — расстрелять, приговор привести в исполнение коменданту Кремля Малькову.

— Когда? — коротко спросил я Аванесова.

У Варлама Александровича, всегда такого доброго, отзывчивого, не дрогнул на лице ни один мускул.

— Сегодня. Немедленно.

— Есть!

Да, подумалось в тот момент, красный террор не пустые слова, не только угроза. Врагам революции пощады не будет!

Круто повернувшись, я вышел от Аванесова и отправился к себе в комендатуру. Вызвав несколько человек латышей-коммунистов, которых лично хорошо знал, я обстоятельно проинструктировал их, и мы отправились за Каплан.

По моему приказу часовой вывел Каплан из помещения, в котором она находилась, и мы приказали ей сесть в заранее подготовленную машину.

Было 4 часа дня 3 сентября 1918 года. Возмездие свершилось. Приговор был исполнен. Исполнил его я, член партии большевиков, матрос Балтийского флота, комендант Московского Кремля Павел Дмитриевич Мальков, — собственноручно. И если бы история повторилась, если бы вновь перед дулом моего пистолета оказалась тварь, поднявшая руку на Ильича, моя рука не дрогнула бы, спуская курок, как не дрогнула она тогда...

На следующий день, 4 сентября 1918 года, в газете «Известия» было опубликовано краткое сообщение:

«Вчера по постановлению ВЧК расстреляна стрелявшая в тов. Ленина правая эсерка Фанни Ройд (она же Каплан)».

* * *

Десятки и сотни тысяч рабочих, миллионы тружеников села каждый день нетерпеливо ожидали газет, с трепетом вчитывались в скудные строки ежедневно публиковавшихся медицинских бюллетеней о здоровье Владимира Ильича Ленина. Эти бюллетени зачитывались до дыр, их читали вслух в цехах и мастерских заводов и фабрик, прямо на улицах и на вокзалах, в поле и в деревенских избах. Огромная страна жила единой мыслью, миллионы сердец бились единым порывом: Ильич! Родной! Поправляйся скорее. Выздоровливай! И день ото дня бюллетени делались радостнее, бодрее. Дело шло на поправку, Ильич справлялся с последствиями тяжелого ранения.

У Трицких ворот с утра выстраивались очереди. Десятки, сотни людей хотели пройти в Кремль, передать Ильичу привет, короткую записку, небольшое письмецо. Десятками и сотнями несли букеты цветов, и каждый хотел вручить сам, передать лично. Дежурные в Трицкой будке сбились с ног, потеряли голос, с утра до ночи разъясняли сотням и тысячам людей, что Ильич еще не вполне здоров, что к нему врачи никого пока не пускают, что лично ему передать ничего нельзя...

Пускать к Ильичу всех мы, конечно, не могли, но и не принимать цветы было невозможно. Я распорядился цветы брать у всех и к каждому букету прикладывать записку с указанием, от кого он. Затем букеты с записками переправлялись к Ильичу.

Прошла первая неделя сентября, и мне наконец разрешили самому отнести свой букет на квартиру Ильича. Когда я зашел в столовую, она вся, снизу доверху, была завалена цветами. Цветы лежали на столе, на стульях, на подоконнике, прямо на полу, везде.

Еще несколько дней, и Ильич начал вставать с постели. 16 сентября он впервые после болезни участвовал на заседании ЦК РКП (б) и в тот же вечер председательствовал на заседании Совнаркома. Ильич вернулся к работе!

«Нам сообщают, — писала «Правда», — что здоровье тов. Ленина настолько улучшилось, что вчера, 16 сентября, Владимир Ильич впервые принял участие в очередном заседании ЦК РКП (б).

Члены Центрального Комитета, для которых появление Ильича было неожиданным приятным сюрпризом, горячо приветствовали своего вождя и учителя, возвращающегося к любимой работе после вынужденного перерыва».

Но Ильич поторопился. Через несколько дней ему стало хуже. Необходим был основательный отдых. В эти дни меня вызвал Яков Михайлович. Я застал у него председателя Московского губисполкома. Яков Михайлович поручил нам вдвоем найти за городом приличный дом, куда можно было бы временно поселить Ильича, чтобы он мог как следует отдохнуть и окончательно окрепнуть.

— Имейте в виду, — напутствовал нас Яков Михайлович, — никто об этом поручении не должен знать. Никому ничего не рассказывайте, действуйте только вдвоем и в курсе дела держите меня.

Задача стояла перед нами не из легких. Правда, под Москвой было немало заброшенных особняков, роскошных дач, просторных дворцов, но мы знали, что во дворец Ильич не поедет. Надо было найти удобный, по возможности хорошо сохранившийся, но не слишком роскошный дом.

Объездив пригороды и дачные места и осмотрев ряд особняков, мы остановились на имении бывшего московского градоначальника Рейнбота в Горках. Дом там был в полном порядке, хотя и несколько запущен. Поблизости от дома стоял небольшой флигелек.

Результаты поисков доложили Якову Михайловичу. Он одобрил наш выбор и велел подготовить Горки к переезду Ильича. Снова подчеркнул, что все нужно сохранять в строгой тайне, чтобы никто лишний не знал о будущем местопребывании Ильича.

Отправились мы с председателем губисполкома в Горки, просидели там несколько дней и все, как сумели, привели в порядок: вытащили из дома весь хлам и мусор, вычистили и вымыли полы, стены, окна, выколотили мебель. Когда все было готово, вернулись в Москву.

Я отправил в Горки постельное белье и посуду, заодно забросил и бочку нефти для топки — по ночам становилось уже прохладно, да и готовить на чем-то было надо.

Дзержинский выделил для охраны Горок десять чекистов, подчинив их мне. Я отвез их на место и поселил во флигеле, где ранее жил управляющий, а на следующий день перевез в Горки Владимира Ильича и Надежду Константиновну. Было это числа 24–25 сентября 1918 года.

Как только привез я Владимира Ильича в Горки, он первым делом обошел весь дом, все осмотрел. В одной из комнат Владимир Ильич обратил внимание на запертую дверь.

— А там что? — спросил он.

Я объяснил, что эта дверь ведет на балкон.

— Почему же она заперта? — поинтересовался Владимир Ильич. — Ключей нет?

— Да нет, Владимир Ильич, — сказал я. — Ключи есть. Просто дверь разбухла, не отворяется. Надо столяра позвать.

Для убедительности я подергал за ручку двери.

— Ну-ка, ну-ка, — загорелся Владимир Ильич, — позвольте-ка я попробую.

У Владимира Ильича раненая рука еще висела на перевязи, но он уперся ногой в косяк, здоровой рукой дернул за ручку, дернул еще раз, и дверь распахнулась.

— Ну вот видите, — обрадовался Владимир Ильич. — И никакого столяра не надо. Незачем людей беспокоить.

Все три недели, что прожил Ильич в Горках, я ежедневно, а то раза по два, по три в сутки, ездил туда: проверял охрану, заодно возил Владимиру Ильичу почту, газеты.

Однажды второпях я забыл захватить газеты и явился к Ильичу с пустыми руками. Ильич ужасно рассердился:

— Не привезли газет, забыли? Да вы понимаете, что значит оставить меня без газет?! Если еще раз такое случится — пеняйте на себя.

Каждый раз, прежде чем ехать в Горки, я заходил к Якову Михайловичу. Он обычно поручал мне передать Ильичу что-либо устно или писал ему коротенькие записки, которые я и отвозил. Иногда пересылал те или иные документы, материалы. Как-то в начале октября я уехал, не доложившись Якову Михайловичу, а ему как раз нужно было что-то срочно сообщить Ильичу, и пришлось отправлять специального человека. Посыльный приехал, когда я был еще в Горках, и Ильич, укоризненно взглянув на меня, показал мне записку Якова Михайловича, начинавшуюся словами: «К сожалению, Мальков уехал, не поставив меня в известность...»

Ну, подумал я, будет же мне на орехи, когда вернусь, и не ошибся!

Неоднократно Яков Михайлович и сам ездил в Горки. Однажды я сопровождал его, обычно же он ездил один, без меня. Задерживался он в Горках по часу, по полтора, не больше, оберегая покой Ильича. Один раз я возил к Ильичу Сталина, вернувшегося из-под Царицына.

Ездили без меня Дзержинский, Бонч-Бруевич. Бывал ли еще кто, не знаю, если и бывал, то мало кто — редко и ненадолго. Меня многие спрашивали, где Ильич, куда уехал? Я не говорил. Отмалчивался.

После отъезда Владимира Ильича в Горки начали ремонт его кремлевской квартиры.

К середине октября Владимир Ильич стал чувствовать себя много лучше и все чаще начал интересоваться, как идет ремонт и скоро ли он сможет вернуться в Москву. Я говорил об этом Якову Михайловичу, а он отвечал:

— Тяните, тяните с ремонтом. Иначе не удержать Владимира Ильича за городом, все бросит, не долечившись как следует. Пусть подольше побудет на воздухе, пусть отдыхает, пока врачи не дадут согласия на его возвращение.

Однако не так просто было удержать Ильича за городом. Ленин рвался в Москву, к работе. Недели через три после переезда в Горки Владимир Ильич встретил меня при очередном моем посещении с какой-то особенной, подчеркнутой любезностью.

— Ну как, товарищ Мальков, ремонт в моей квартире скоро закончится?

— Да знаете, Владимир Ильич, туго дело идет. То материалов нет, то того, то другого... Сами понимаете.

— Так, так!.. — понимающе усмехнулся Ильич. — Значит, говорите, материалов нет? Того да другого? Так, так.

Он вдруг посуровел.

— Дипломат вы, товарищ Мальков, никудышный! Ремонт в Кремле уже два дня как закончен, я это выяснил. (Оказалось, проговорился Бонч-Бруевич, приезжавший передо мной.) Завтра же я возвращаюсь в Москву и приступаю к работе. Да, да. Завтра. Передай те, между прочим, об этом Якову Михайловичу. Я ведь знаю, кто вас инструктирует. Так за помните — завтра!

И, круто повернувшись ко мне спиной, Владимир Ильич ушел в свою комнату.

На следующий день он вернулся в Москву.

Теперь, когда Владимир Ильич полностью возобновил работу, стал опять постоянно выезжать из Кремля, выступать на бесчисленных митингах и собраниях, бывать на московских заводах, фабриках, в воинских частях, вопрос об его охране был поставлен со всей серьезностью. Ильичу предложили не покидать Кремль без охраны. Ответственность за организацию охраны возложили на меня.

Дело это оказалось необычайно трудным, и в первую очередь потому, что сам Владимир Ильич считал охрану не обязательной.

В результате не раз случалось, что Владимир Ильич уезжал из Кремля всего лишь вдвоем с шофером, без необходимого сопровождения. Я не раз жаловался и членам Оргбюро ЦК, и Феликсу Эдмундовичу, все со мной соглашались, поддерживали меня, но переубедить Владимира Ильича было невозможно.

Тогда, было это весной 1919 года, я написал докладную записку в Оргбюро ЦК и попросил рассмотреть этот вопрос. Записку передал Елене Дмитриевне Стасовой.

Уже через день или два Елена Дмитриевна вызвала меня и говорит: Оргбюро обязало вас организовать дело так, чтобы Владимир Ильич без охраны из Кремля не выезжал.

Ну, думаю, меня-то обязали, это правильно, хорошо, а вот как Владимир Ильич, его-то как обязать?

Так и выходило, Я принимаю все меры, чтобы Ильич не уехал из Кремля без охраны, а он уезжает и меня же ругает, если я его спрошу насчет охраны: чего, мол, с пустяками пристаете?

Охраняли Владимира Ильича после его возвращения из Горок те же чекисты, что были с ним в Горках. Чтобы организовать охрану надлежащим образом, я велел устроить специальную сигнализацию. От поста, расположенного у входа в квартиру Ильича, был проведен звонок: в общежитие, где жили сотрудники охраны. Они посменно несли дежурство, и часть из них постоянно находилась в готовности. Как только Ильич намеревался покинуть здание Совнаркома, часовой у дверей его квартиры нажимал кнопку, и дежурные сотрудники охраны выходили к совнаркомовскому подъезду, там ожидали Ильича и следовали за ним, если он покидал Кремль. В их распоряжении была машина, на которой они и должны были сопровождать Ильича.

В загородные поездки должен был ездить с Ильичей я сам. Еще по указанию Якова Михайловича мне была предоставлена для этого быстроходная машина. Только пользовался я ею редко. Уж если мне удавалось укараулить Ильича и не отпустить его одного, то он никогда не разрешал гонять отдельную машину и заставлял садиться в автомобиль вместе с ним.

По воскресеньям Владимир Ильич нередко ездил с Надеждой Константиновной и Марией Ильиничной за город. Загородные прогулки он очень любил, особенно любил район Барвихи, по Можайскому шоссе. Причем и там гулял обычно одни, зачастую покидая своих спутников.

Очень любил Владимир Ильич охоту. Он считал, что нигде так хорошо не отдохнешь, как в лесу, бродя с ружьем. Прогулка — вот что было для него главным. Он не стремился настрелять как можно больше дичи. Нередко возвращаясь с охоты с пустыми руками, Владимир Ильич был весел и доволен.

— Воздух, воздух какой чудесный! — говаривал он. — Побудешь пару часов в лесу, надышишься на целую неделю!

Владимир Ильич рассказывал, что пристрастился к охоте еще в ссылке, в Шушенском. Он приводил различные случаи, приключившиеся с ним в Сибири, весело подшучивал над своими неудачами, тепло отзывался о жителях Шушенского — первоклассных стрелках.

— Белку в глаз дробинкой бьют, — восхищался Владимир Ильич. — А как знают повадки зверя!

Когда в Подмосковье начинался охотничий сезон, Владимир Ильич старался выкроить час-другой и, захватив ружье, уезжал за город.

Как-то однажды, ранней весной, Владимир Ильич, взяв с собой Владимира Александровича Обуха, работавшего тогда заведующим Мосздравотделом, поехал на охоту на вальдшнепов в район Архангельского.

Погода стояла чудесная — светлая, солнечная. Но до вечерней зорьки оставалось еще время, и мы вволю побродили по лесу.

Владимир Ильич был хорошим ходоком, он мог без усталости отшагать десяток-другой километров.

— Мы же на охоту приехали, а не на прогулку, — ворчал вконец уставший Обух, Он был страстным охотником и очень переживал каждую неудачу.

А Владимир Ильич не унывал.

— Чудесно, чудесно! — повторял он, любуясь лесом. — Так бы и ходил с утра до вечера.

Но Владимир Александрович уже не мог успокоиться.

— Ходим, ходим, только ноги зря бьем. Так и выстрелить не придется.

— Вижу, ходок вы неважный, — улыбнулся Владимир Ильич. — Посмотрим, какой из вас стрелок. Товарищ Мальков, не найдется у вас старенькой газеты?

— Есть, Владимир Ильич, — сказал я, доставая из кармана газету. — Такая подойдет?

— Подойдет, — согласился Владимир Ильич. — Прикрепите ее, пожалуйста, к дереву.

Мы к этому времени вышли на опушку соснового бора. Я укрепил на дереве щепочками развернутый газетный лист.

Владимир Ильич отмерил пятьдесят шагов и, весело смеясь, предложил Владимиру Александровичу:

— Ну-ка, дорогой товарищ Обух, покажите свое умение. Может быть, вас и на охоту-то не стоило брать?

Владимир Александрович встал на рубеж, зарядил ружье.

— Давненько я в шашки не играл, — пошутил он и, тщательно прицелившись, выстрелил.

Все поспешили к мишени. Первым около нее оказался Владимир Ильич.

— Недурно, недурно, — проговорил он, — стрелок вы, оказывается, неплохой.

— М-да, — огорченно хмыкнул Владимир Александрович, разглядывая отверстия от нескольких дробинок, попавших в газетный лист. — Что-то я сегодня не в ударе...

Теперь была очередь стрелять Владимиру Ильичу. Вскинув ружье, он быстро выстрелил. Весь заряд точно и кучно попал в газету. Владимир Александрович только руками развел:

— Отлично, Владимир Ильич. Вы отменный стрелок. С вами тягаться трудно.

Весной 1919 года, уже после того, как Елена Дмитриевна сообщила мне решение Оргбюро ЦК, несколько воскресений подряд Владимир Ильич уезжал за город без охраны, пользуясь тем, что дежурные сотрудники не успевали выйти вовремя. Тогда, решившись на крайнее средство, я отдал посту у Спасских ворот приказ не выпускать Ленина из Кремля, если он поедет без охраны.

Распорядился, а сам сижу в комендатуре и жду — что-то будет?

Часов около 10 утра подкатывает к комендатуре машина Ильича. В ней он сам, Надежда Константиновна, Мария Ильинична.

Я следил в окошко и, как увидал машину, сразу выскочил на улицу. Владимир Ильич уже открыл дверцу и шагнул на тротуар. Вид у него не то рассерженный, не то растерянный, не то даже слегка виноватый, сразу не разберешь. Напустился он на меня, во всяком случае, грозно:

— Будьте любезны, товарищ Мальков, объясните, что происходит? Часовой наотрез отказался выпустить меня из Кремля. Это что еще за фокусы?

— Нет, — говорю, — Владимир Ильич, это не фокусы, а решение Оргбюро Центрального Комитета партии — не выезжать вам из Кремля без охраны. Я поеду следом за вами, и вас сразу выпустят.

— Гм, гм! Решение? Что-то я этого решения не видел. Может, потому, что я не член Оргбюро? Так что же, в решении сказано, чтобы давать часовым приказ задерживать председателя Совнаркома у кремлевских ворот? Это уж, батенька, не решение, а самоуправство.

— Позвольте...

— Не позволю! Именно самоуправство, И за это вы будете строго наказаны. Немедленно. Тут же. На месте. Извольте сесть в мою машину и отменить ваше нелепое распоряжение, а потом останетесь вместе со мной в машине, под арестом. А насчет решения Оргбюро... Насчет решения там посмотрим.

Тон сердитый, грозный, а в глазах — лукавая ильичевская усмешка.

— Зачем же я буду вас беспокоить? У меня машина наготове, — я показал рукой на стоявший невдалеке автомобиль, — вы поезжайте, а я — следом.

Владимир Ильич решительно открыл дверцу своей машины.

— Ну уж это совсем ерундистика. Будьте любезны, садитесь. Гонять вторую машину, жечь зря государственный бензин, заставлять напрасно работать шофера — ведь это же просто глупо. Нет, не глупо. Это преступно. Да, да, что вы на меня смотрите? Именно преступно. Транжирить народные деньги — преступление. Нам всем вполне хватит места в одной машине. Кроме того, не забывайте — вы под арестом! Поехали.

И все же, несмотря на все наши ухищрения, Владимир Ильич нет-нет, а уезжал из Кремля без охраны. Впрочем, однажды не помогла и охрана. Одна из поездок Ильича чуть не кончилась трагически. Случилось это в январе 1919 года.

Зима в тот год стояла морозная, вьюжная. Снег в Москве почти не убрали — некому было, и московские улицы утопали в сугробах. Расчищали только трамвайные пути, отбрасывая снег в сторону, и вдоль путей выросли высоченные снежные валы, а сами пути превратились в узкие траншеи. Но и в этих траншеях рельсы лежали в глубоких, будто каменных, колеях, пробитых колесами трамвайных вагонов. Попадешь в такую колею и не скоро выберешься.

В конце 1918 года серьезно заболела Надежда Константиновна. Ей необходим был длительный отдых, полный покой, чистый воздух. Поскольку санаториев под Москвой тогда не было (да и какие могли быть санатории в 1918 году?), Надежда Константиновна поселилась в Сокольниках, в детской лесной школе. Ведь Сокольники были тогда чуть не дачным местом, воздух там был, во всяком случае, настоящий загородный, лесной, особенно зимой.

Владимир Ильич чуть не ежедневно навещал Надежду Константиновну, возил ей продукты, возил подарки ребятам. Ездил он чаще всего с Марией Ильиничной в сопровождении сотрудника охраны.

Как-то в один из январских вечеров зашел я в приемную Ильича. Смотрю — дверь в кабинет распахнута, Ильича нет, все в растерянности. Сотрудники секретариата СНК хватают то одну, то другую телефонную трубку, кричат, шумят, бьют тревогу. Оказывается, Владимир Ильич поехал с Марией Ильиничной в Сокольники, а по дороге на них напали бандиты. Из машины высадили, машину угнали. Пешком они добрались до Сокольнического районного Совета, находившегося, по счастью, вблизи от места происшествия, с трудом добыли там машину и в конце концов приехали в школу, где уже начала волноваться Надежда Константиновна.

Адрес лесной школы был мне прекрасно известен, раздумывать было нечего. Я мигом вызвал машину — и скорее в Сокольники. Приехав в школу, первым делом взял за бока сотрудника охраны Ильича, уныло сидевшего внизу, в прихожей.

— Что же ты, — говорю, — шляпа!..

— Понимаете, Павел Дмитриевич, молоко! Если бы не молоко...

— Молоко? Какое молоко?

Я никак не мог сообразить, о чем речь. Оказывается, когда они отправлялись из Кремля, Владимир Ильич вручил сотруднику охраны бидончик с молоком для Надежды Константиновны и просил держать его как можно осторожнее, предупредив, что крышка закрывается неплотно. Ну, он и держал этот бидон, руки были заняты. Да поначалу еще не сообразил, что произошло, потом уже было поздно.

Бандиты, как он рассказал, бросились наперерез машине. Пришлось остановиться. Все думали, что это просто проверка документов. Такие проверки устраивались в те тревожные времена постоянно. Ильич вышел из машины и предъявил свое удостоверение, а ему приставили револьвер к виску, удостоверение отобрали, даже не прочитав, высадили остальных пассажиров и шофера из машины, сели в машину и удрали. Хорошо еще, обошлось без стрельбы.

Пока мы разговаривали, по лестнице спустился Ильич. Поняв, как видно, о чем мы беседуем, он сказал, что винить товарища из охраны нечего, обстоятельства сложились так, что ничего поделать было нельзя.

— Вообще, когда стоит выбор: кошелек или жизнь и сила на стороне напавших разбойников, надо быть окончательным идиотом, чтобы выбрать кошелек! — заметил Ильич.

Узнав, что Ильич пробудет у Надежды Константиновны еще не менее часа, я решил отправиться на розыски машины, благо до места происшествия было недалеко. Машин в этом районе почти не бывает, следов мало, дай, думаю, поищу, авось что и выйдет.

След машины Ильича нашел без труда, вылез на подножку, лег на крыло и поехал по следу. Рукой шоферу знаки подаю: налево, направо. Однако след вскоре пропал: проехав версты полторы-две, бандиты направили машину в трамвайную колею. Пришлось возвращаться ни с чем.

Между тем вся ЧК, вся московская милиция были поставлены на ноги. По городу пустили патрули, снабдив их приметами угнанной машины.

Вскоре после нашего возвращения в Кремль, в начале ночи, мне сообщили, что машину Владимира Ильича заметили в районе храма Христа. Она мчалась на большой скорости. Попытались ее остановить, не вышло. Отстреливаясь, бандиты скрылись, Организована погоня. Задержали машину только возле Крымского моста, однако захватить преступников не удалось. Они бежали, перебравшись через Москву-реку по льду.

В ту же ночь по Москве была проведена массовая облава на бандитов, и среди арестованных оказались такие, которым история с угоном машины была известна. Одного они не знали: чья это машина, и удивлялось, почему ее ищут так упорно, с таким рвением.

Кто-то из задержанных сообщил, что история с машиной — дело рук Королькова, известного тогда в Москве уголовного рецидивиста. За поимку Королькова взялся Уткин, мужественный и инициативный чекист, бывший питерский рабочий. Ему-то и удалось вскоре выследить и захватить этого бандита.

Всех подробностей я не знаю, но, как мне рассказывали, Корольков оказал при аресте отчаянное сопротивление. Его взяли лишь после того, как он расстрелял всю обойму своего маузера, и то

пришлось бросить гранату. При обыске у Королькова нашли записку, подтверждающую, что бандиты не знали, кто едет в машине, и не узнали Ильича.

* * *

Страшно не любил Владимир Ильич, когда вокруг него поднимали шумиху, совершенно не терпел фимиама, славословия.

В апреле 1920 года собрался IX съезд партии. Я был на съезде, охрану организовывал. На одном из заседаний товарищи решили торжественно отметить пятидесятилетие со дня рождения Владимира Ильича. Начались выступления. Взял слово Михаил Иванович Калинин, выступил Феликс Кон. Владимир Ильич ужасно рассердился. Я невдалеке от него был, когда он махнул рукой и говорит:

— Если вы хотите заниматься делом, давайте работать, а тратить время съезда на праздные разговоры нечего. Будете продолжать свои выступления — уйду, ни минуты на заседании не останусь.

Пришлось прекратить. А ведь все выступали от души, горячо, искренне любя Ильича. Что же говорить о тех случаях, когда восхваление шло не от чистого сердца, когда в нем была хоть нотка фальши, угодничества? Тут уж Ильич просто свирепел, и подхалим переставал для него существовать раз и навсегда.

Сподвижники Ильича

Мне нередко приходилось выполнять непосредственные поручения или указания Владимира Ильича, но, конечно, постоянно делами комендатуры Кремля, как ранее и Смольного, Ильич никогда сам не занимался. Руководил комендатурой Кремля Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, и больше всего мне приходилось иметь дело с Варламом Александровичем Аванесовым, бессменным секретарем ВЦИК первых лет Советской власти. Ему я докладывал обо всех текущих делах, от него получал большинство практических указаний и распоряжений.

Виделись мы с Варламом Александровичем ежедневно, постоянно я бывал у него во ВЦИК, иногда он заходил ко мне в комендатуру, бывали и дома друг у друга.

Работал Аванесов невероятно много. Пожалуй, мало кто другой, разве что Феликс Эдмундович Дзержинский, засиживался так поздно по ночам, как Варлам Александрович Аванесов. И дел у него было столько, что и перечислить трудно. Ведь помимо того, что Аванесов был секретарем ВЦИК, он входил и в состав коллегии ВЧК, а сколько ответственных поручений по линии Центрального Комитета партии и Совнаркома он выполнял постоянно!

Жил Аванесов скверно, Семьи у него не было, был он одинок, а здоровье было — хуже некуда. Днем он обычно работал в Кремле, во ВЦИК, на ночь уезжал на Лубянку, в ВЧК, а под утро вновь возвращался в Кремль, в свой кабинет, и опять садился за дела. Частенько в это время, часа в три-четыре утра, у меня в комендатуре или дома, в зависимости от того, где я находился, раздавался телефонный звонок:

— Павел, не спишь? Ты уж извини, брат, что тревожу, пожевать чего не найдется?

Это Аванесов, вернувшись из ВЧК и принимаясь за неоконченные днем дела по ВЦИК, вспоминал, что он не поужинал, а то и не пообедал, дома же у него, в пустой неуютной комнате, еды не было никакой.

Я, конечно, отвечал, что не сплю, хотя порою видел уже не первый сон, захватывал несколько пшениных оладий, печь которые моя жена была великой мастерицей, или котелок каши и отправлялся к Варламу Александровичу во ВЦИК. Ну, а уж когда принесешь кашу, начинался разговор, затягивавшийся на час, на два. Бывало, что «на огонек» заходил Феликс Эдмундович, возвращавшийся из ВЧК еще позже Аванесова, бывало, появлялся Демьян Бедный, нередко работавший над своими стихами по ночам, еще кто-нибудь из товарищей, и расходились мы в 5–6 часов утра...

* * *

Первая в мире Советская Республика рождалась в суровой, жестокой борьбе с врагами трудящихся, с силами старого мира, стремившимися повернуть историю вспять, свергнуть власть рабочих и крестьян, восстановить господство помещиков и капиталистов.

В борьбе против государства трудящихся объединились капиталисты, русские и иностранные, объединились все буржуазные и мелкобуржуазные политические партии внутри страны — от эсеров и меньшевиков до кадетов и оголтелых монархистов.

Без самой суровой и беспощадной борьбы с контрреволюцией, без решительного отпора всем открытым и тайным попыткам свергнуть Советскую власть молодая Советская Республика не просуществовала бы и недели.

Рабочий класс нашей Родины, руководимый большевистской партией, опираясь на поддержку миллионов масс трудящихся, стеной встал на защиту завоеваний Октября, развил невиданную революционную энергию в деле строительства основ нового общественного и государственного строя, организовал сокрушительный отпор попыткам контрреволюции свергнуть Советскую власть. Основная тяжесть борьбы с контрреволюцией внутри страны легла сразу после Октября на Военно-революционный комитет, а затем на Всероссийскую Чрезвычайную Комиссию по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией при Совете Народных Комиссаров, на ВЧК.

Бывая постоянно в Военно-революционном комитете с первых дней Октября, я чаще всего из членов Центрального Комитета партии встречал там Якова Михайловича Свердлова и Феликса Эдмундовича Дзержинского. Затем, когда функции ВРК стали все более сводиться к борьбе с контрреволюцией, когда Яков Михайлович был избран председателем ВЦИК, и стал реже бывать в ВРК, я почти каждый раз заставлял в Военно-революционном комитете Дзержинского, в котором постепенно стал видеть фактического руководителя ВРК. Наконец, когда ВРК был упразднен и 20 (7) декабря 1917 года была создана Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией, во главе ее встал Феликс Эдмундович Дзержинский.

В те дни и годы, когда все приходилось создавать заново в ожесточенной борьбе с врагами трудящихся, все работали безумно много, по 16, 18, 20 часов в сутки, не зная сна, отказывая себе в отдыхе. Иначе было нельзя. Этого требовали интересы революции. И даже в тех условиях среди железных людей той эпохи выделялся Дзержинский. Казалось, Феликс Эдмундович вообще обходился без сна. Бывая у него в Петрограде на Гороховой, в Москве на Большой Лубянке, днем ли, глубокой ли ночью, я всегда заставлял Феликса Эдмундовича бодрствующим, всегда за работой.

Особенно часто мне доводилось бывать у Дзержинского в Москве, на Б. Лубянке, 11, где помещалась тогда Всероссийская Чрезвычайная Комиссия. Феликс Эдмундович работал в небольшом, скромно обставленном кабинете, где не было ничего лишнего, никаких украшений, никакого убранства. В этом же кабинете Феликс Эдмундович фактически и жил вплоть до конца 1918 года. Здесь, за невысокой ширмой, стояла узкая скромная койка, покрытая простым солдатским одеялом. Стены этой комнаты были свидетелями неустанного труда Дзержинского, они слышали признания в совершенных и затеваемых злодеяниях врагов революции, отступавших перед необычайной проницательностью и несокрушимым напором железного Феликса, лично допрашивавшего десятки и сотни наиболее оголтелых контрреволюционеров. Здесь, в этих стенах, раскрывались самые мрачные заговоры, самые чудовищные преступления.

Только поздней осенью 1918 года Феликс Эдмундович впервые подумал о собственном быте, впервые, да и то изредка, стал ночевать не в своем кабинете, а дома, в Кремле. Случилось это так. По настоянию Владимира Ильича и Якова Михайловича Дзержинский в октябре 1918 года, измотанный нечеловеческим напряжением, уехал на несколько дней в Швейцарию, где находилась его семья — жена Софья Сигизмундовна и маленький сын Ясик.

Поехал Феликс Эдмундович, конечно, не под своей фамилией. Уезжая, он сбрил бороду и изменил свою внешность на случай неожиданных встреч с белогвардейской нечистью, бежавшей за границу, среди которой могли оказаться такие, что лично встречали Дзержинского. Увидав Феликса Эдмундовича на улице в канун отъезда без бороды, я в первый момент даже не узнал его: настолько бритый Дзержинский не был похож на того Дзержинского, каким все мы его знали.

Вскоре после возвращения Феликса Эдмундовича из Швейцарии приехала оттуда и его семья, и зажили Дзержинские в Кремле, в крохотной трехкомнатной квартире. Будучи по-спартански прост, на редкость скромен и нетребователен, Дзержинский отказывал себе во всем, никогда не думал о каких-либо жизненных удобствах или особых материальных благах. Такой же была и его семья. Зимой 1918/19 года свирепые вьюги не раз заматали Кремль, наваливая такие сугробы снега, что по Кремлю нельзя было ни пройти, ни проехать. Расчищать снег было некому, рабочих не хватало. Однажды, когда несколько суток неистовствовала отчаянная метель, Яков Михайлович, с трудом добравшись от своей квартиры до ВЦИК, вызвал меня.

— Ну, товарищ комендант, что будем делать?

— Прямо не знаю, Яков Михайлович. И так на ноги поставлено все, а не справляюсь...

— Все, говорите? А жителей Кремля полностью используете на уборке снега?

— Кого можно — использую: штат комендатуры, курсантов школы ВЦИК, швейцаров, рабочих — всех мобилизовал, кого же еще?

— Да, трудновато. Только, товарищ Мальков, вы про жен наших ответственных товарищей забыли, надо их тоже привлечь. Кое-кто из них не работает, вот и пусть снег чистят. В случае чего, сошлитесь на меня. Пусть уж я буду в ответе.

В Кремле тогда жило много ответственных работников. У большинства жены были старыми членами партии и, конечно, работали.

Но были и такие, которые нигде не работали. Их вполне можно было использовать на уборке снега, и я поспешил воспользоваться советом Якова Михайловича.

Не все, однако, приняли мое предложение с энтузиазмом. Кое-кто начал отказываться, а некоторые попытались попросту улизнуть. Тогда я составил список тех, кого считал возможным мобилизовать на расчистку снега, и дал команду на посты у Троицких и Спасских ворот не выпускать их из Кремля ни пешком, ни на машине.

Сразу же разыгралась настоящая буря: начались звонки — почему, по какому праву не выпускаете жен из Кремля? Кричит один, звонит другой, возмущаются, протестуют. Правда, стоило только ответить особо яростно наседавшему на меня мужу, что это распоряжение Свердлова, обращайтесь, мол, к нему, как тот моментально стихал и молча клал трубку. Одним словом, жены были мобилизованы, расчистка снега пошла ускоренным порядком.

Софья Сигизмундовна Дзержинская только что приехала в Москву и еще не начала работать, однако ее я в список не включил. Ничего не подозревая, она спокойно ушла из Кремля, а вскоре раздался звонок Феликса Эдмундовича:

— Товарищ Мальков, я только сейчас узнал, что вы поставили жен ряда товарищей на уборку снега и тех, кто отказывается, не выпускаете из Кремля. Это верно?

— Верно, Феликс Эдмундович. Только Софью Сигизмундовну я выпустил...

— Вот, вот. По этому поводу я и звоню. Я не понимаю, почему, если все работают, моя жена должна быть освобождена от этой работы? Считаю ваше решение совершенно неправильным. Если бы Софья Сигизмундовна знала, она никогда не ушла бы из Кремля. Прошу вас впредь моей семье не предоставлять никаких привилегий.

Мелкий эпизод, а в нем весь Феликс Эдмундович со своей суровой требовательностью к себе, и своим близким.

Феликс Эдмундович был на редкость проницателен. Ничто, казалось, не могло укрыться от его пристального взгляда. Человека он видел насквозь, и редко, очень редко кому-либо удавалось его провести. Его проницательность сыграла огромную роль в деле комплектования кадров чекистов, что было отнюдь не легкой задачей. Кому-кому, а уж мне-то постоянно приходилось иметь дело с чекистами, и я каждый раз изумлялся, с каким великим мастерством подбирал Феликс Эдмундович работников для ВЧК, как неустанно он их воспитывал.

А как комплектовались кадры чекистов?

Рабочие-большевики, которых партия посылала на трудную и почетную работу в органы ВЧК, никакого опыта следственной работы не имели. Они весьма смутно представляли себе, что такое разведка и контрразведка, а враг был хитер, ловок, изворотлив. ВЧК на первых порах

приходилось использовать кое-кого из старых юристов, от некоторых из них можно было ждать подлости и предательства. На работу в ВЧК всячески стремились пробраться враги рабочего класса, туда лезли всякие авантюристы, прикрываясь поддельными документами и вымышленными биографиями.

Умение Феликса Эдмундовича разобраться в людях, его превосходные душевные качества помогали в самый короткий срок сделать превосходных разведчиков и контрразведчиков из вчерашних токарей, слесарей, кузнецов.

Врагам революции редко удавалось пробраться в ВЧК.

Проницательность Феликса Эдмундовича способствовала раскрытию ряда самых запутанных дел, самых зловещих заговоров.

В один из весенних дней 1919 года в Троицкую будку явился изможденный человек в драной солдатской шинели и потребовал, чтобы его пропустили к секретарю ВЦИК Аванесову. Дежурный позвонил мне, я — Варламу Александровичу. Он велел пропустить. Я отдал дежурному распоряжение выдать пропуск, а сам пошел к Варламу Александровичу: дай, думаю, сам посмотрю, кто его так настойчиво добивается. В случае чего лучше быть самому на месте.

Через несколько минут неизвестный уже входил к Аванесову. Как раз в это время у Варлама Александровича сидел Феликс Эдмундович.

Едва войдя в кабинет Аванесова, неизвестный скинул шинель, распорол гимнастерку и вынул зашитый в шов кусок материи, испещренный мелкими буквами. Это было удостоверение, свидетельствовавшее, что податель его, Иван Петренко, является представителем подпольной большевистской организации, работающей в тылу деникинской армии на Украине.

Варлам Александрович и Феликс Эдмундович не раз принимали людей, снабженных подобными документами, и подлинность удостоверения Петренко не вызывала сомнения. Начался обстоятельный, задушевный разговор. Петренко подробно, со знанием дела рассказывал о работе посланной его организации, просил денег, оружия, помощи в установлении связи с другими организациями, действовавшими на захваченной белогвардейцами Украине. Все было так, как бывало не раз, когда являлись в Москву из вражеского тыла посланцы героического большевистского подполья.

Выслушав Петренко, Дзержинский и Аванесов пообещали решить в ближайшее время все поставленные им вопросы. Поскольку, как сказал Петренко, пристанища у него в Москве не было, Варлам Александрович написал записку, чтобы его поместили в 3-м Доме Советов, на Садовой, где тогда постоянно останавливались приезжавшие в Москву товарищи.

— Ну, какое впечатление? — спросил Феликс Эдмундович Аванесова, когда Петренко ушел.

— Знаешь, Феликс, что-то этот Петренко не нравится мне, хотя оснований к тому как будто и никаких нет.

— Есть, Варлам, есть основания. Тон у него нехороший; когда он о Советской власти говорит, нет-нет, а какие-то нотки недружелюбия прорываются. Да и глаза скверные: бегают. Надо к нему повнимательнее присмотреться.

Дзержинский дал указание организовать за Петренко тщательное наблюдение. Через несколько дней Феликсу Эдмундовичу доложили, что Петренко бросил в несколько почтовых ящиков свыше десятка писем. По распоряжению Феликса Эдмундовича их изъяли. На нескольких письмах значились московские адреса, другие были адресованы в Петроград. Петренко сообщал, что все идет удачно, что он проник в Кремль, добился свидания с секретарем ВЦИК и завоевал его доверие. Проверили тех, кому были адресованы письма, оказалось — бывшие офицеры. Теперь сомнений не было, Петренко арестовали. Вскоре выяснилось, что никакой он не Петренко, а белогвардейский офицер, участник контрреволюционного заговора. Белогвардейская контрразведка захватила подпольщика Ивана Петренко, зверски

расправились с ним, а с его документами направила в Москву матерого врага, поручив ему пробраться в Кремль, а также узнать явки и адреса подпольных большевистских организаций на Украине.

Разгадывая с непревзойденным мастерством уловки врагов революции, Дзержинский яростно обрушивался на тех из чекистов, кто готов был обвинить человека на основе одних лишь подозрений, без убедительных доказательств. В каждом деле он требовал проведения самого тщательного расследования, решительно отделял виновных от невиновных.

Однажды вызывает меня Феликс Эдмундович к себе на Лубянку:

— Слушай, Мальков, неприятная история. Поступают сигналы, что комиссар Бутырской тюрьмы безобразничает: берет взятки, пьянствует. Расследуй.

Поехал я в Бутырки. Побеседовал с рядом сотрудников охраны, допросил кое-кого из арестованных. Картина была ясная: комиссар тюрьмы разложился. За взятки он незаконно разрешал подследственным арестованным свидания, передачи, а нескольких человек, родственники которых поднесли ему особо большой куш, и вовсе выпустил из тюрьмы.

Доложил я Феликсу Эдмундовичу все как есть. Тут же, при мне, он велел арестовать комиссара и предать его суду Революционного трибунала.

Одновременно я выяснил в Бутырках, что кое-кого из арестованных, находящихся под следствием, держат по месяцу-полтора не допрашивая, и освобождать не освобождают, и судить не судят. Ох, и рассердился же Феликс Эдмундович! Вызвал он начальников отделов и такую устроил им баню — сказать страшно.

Все планы серьезных операций Дзержинский разрабатывал обычно сам и зачастую лично руководил ликвидацией наиболее крупных контрреволюционных организаций. Мужество его было поразительно. Чувство страха, сознание опасности были, казалось, вовсе чужды ему. Взять, к примеру, левоэсеровский мятеж. Получив сообщение о том, что германский посол в Москве Мирбах смертельно ранен левыми эсерами, Дзержинский немедленно выехал на место преступления.

Предполагая, что убийца — бывший сотрудник ЧК левый эсер Блюмкин — скрылся в отряде ВЧК, которым командовал также левый эсер Попов, Феликс Эдмундович отправился туда. Он еще не знал, что левые эсеры подняли мятеж, выступили с оружием в руках против Советской власти. С Дзержинским было всего три чекиста, а они очутились в окружении открыто враждебной толпы свыше чем в тысячу человек, того и гляди готовой пустить в ход оружие. И, несмотря на это, Феликс Эдмундович ни на мгновение не растерялся. Когда левоэсеровские вожаки отказались выдать убийцу Мирбаха, Дзержинский решительно заявил им: «Вы арестованы, следуйте за мной!»

Столько силы, столько твердости было в его голосе, что главари мятежников растерялись и покорно двинулись сквозь растерявшуюся толпу своих сообщников к машине, вслед за уверенно шагавшим Дзержинским. Еще мгновение, и Феликс Эдмундович увез бы главарей мятежа из их логова на глазах у ошарашенных мятежников. Однако те спохватились, кинулись на Дзержинского и его спутников, разоружили их и посадили под замок.

Один из чекистов, сопровождавших Дзержинского во время его поездки в отряд Попова и находившихся вместе с Феликсом Эдмундовичем в течение суток в плену у левых эсеров, рассказывал мне на следующий день после ликвидации мятежа, как разговаривал безоружный, сидевший под арестом Дзержинский с вооруженным до зубов главарем тысячной банды мятежников предателем Поповым.

Попов каждые полчаса забегал в комнату, где находился Феликс Эдмундович и его товарищи, и сообщал «новости», одну нелепее другой, вроде того, что все московские войска перешли на сторону левых эсеров, что Кремль вот-вот капитулирует, и тому подобное.

Наконец выведенный из себя Дзержинский резко бросил Попову в лицо:

— Эй, вы, отдайте немедленно ваш револьвер!

— Револьвер? Зачем? — растерялся Попов.

— Чтобы вам, мерзавцу и изменнику, пустить пулю в лоб!

Наряду с беззаветным мужеством и потрясающей личной храбростью у Дзержинского было необычайно высоко, как мало у кого другого, развито чувство дисциплины. Решения Центрального Комитета, указания Ленина были для Феликса Эдмундовича законом. Очень считался Феликс Эдмундович и с Яковом Михайловичем, постоянно наблюдавшим за работой ВЧК. Варлам Александрович не раз рассказывал мне, что Яков Михайлович, бывало, пишет Феликсу Эдмундовичу товарищескую записку: в ЧК, мол, такие-то и такие-то непорядки, следовало бы сделать то-то и то-то. Феликс Эдмундович берет эту записку и, не меняя в ней ни единого слова, не переставляя ни одной запятой, сняв лишь обращение и поставив свою подпись, рассылает ее органам ВЧК в качестве директивы.

Если возникали какие-либо осложнения с организацией охраны Кремля, я часто обращался к Дзержинскому, и всегда Феликс Эдмундович приходил мне на помощь.

Вышло у меня однажды столкновение с председателем Верховного суда Галкиным. И в самый серьезный момент вмешался Феликс Эдмундович. Галкин все требовал, чтобы я в Кремле поликлинику устроил, да пообширнее. А у меня с помещением зарез, Амбулатория-то в Кремле была, только маленькая, но и ее я временно закрыл — срочно понадобились комнаты. Ну, Галкин и устроил скандал, перенес вопрос в Оргбюро ЦК.

Вызвали меня на Оргбюро. В 1919 году, после смерти Якова Михайловича, оно заседало на его квартире. Так уж повелось. Прихожу — народу много: Дзержинский, Елена Дмитриевна Стасова, другие члены Оргбюро, Варлам Александрович Аванесов, Клавдия Тимофеевна Свердлова (она заведовала секретариатом ЦК), еще кто-то, ну и Галкин, конечно. Начал он меня честить на все корки: и то у Малькова плохо, и другое, и поликлиники в Кремле нет, и охрана бездействует. Тут поднялся Варлам Александрович:

— Насчет охраны вы зря, товарищ Галкин. Как у Малькова охрана поставлена, мы знаем, в дни левоэсеровского мятежа убедились, да и не только тогда.

Мне слово предоставили. Я говорю, что боевую защиту Кремля обеспечиваю. Это моя главная задача. В две минуты все части в боевую готовность приведу, хоть сейчас проверяйте.

Галкин начал было реплики подавать, тогда заговорил Феликс Эдмундович:

— Не с того конца, товарищ Галкин, подходите, главного не понимаете. Мальков прав. Его задача — Кремль охранять, и тут он на высоте. А от всяких хозяйственных дел его вообще давно пора бы освободить, не его дело поликлиниками заниматься. Ну, с Дзержинским, конечно, все согласились. Кто же лучше Феликса Эдмундовича знал, насколько важна организация охраны Кремля!

* * *

Если по всем текущим вопросам своей работы я постоянно имел дело с Варламом Александровичем Аванесовым, если часто мне приходилось выполнять указания Феликса Эдмундовича Дзержинского, то общее руководство всей деятельностью комендатуры Кремля неизменно находилось в руках Якова Михайловича Свердлова. Невзирая на свою огромную занятость, председатель ВЦИК и секретарь ЦК РКП (б) постоянно занимался делами

комендатуры. Яков Михайлович всегда был в курсе всей нашей работы, постоянно сам непосредственно или через Аванесова ставил перед работниками комендатуры те или иные задачи, давал практические указания, распоряжения.

То и дело бывая у Якова Михайловича по различным вопросам, наблюдая его на заседаниях Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (а я не раз избирался в состав ВЦИК первых созывов), на различных съездах, собраниях, митингах, совещаниях, я воочию видел, какое огромное участие принимал Яков Михайлович Свердлов в строительстве Советского государства, в строительстве нашей партии, на плечи которой легла теперь вся ответственность за судьбы Республики Советов.

Я не раз слушал Владимира Ильича, когда он говорил о Якове Михайловиче, а кто же лучше Ленина знал Свердлова, мог его характеризовать.

Владимир Ильич был очень близок с Яковым Михайловичем, очень ценил его. Уж я-то это знал! Каждое утро, обходя посты, я встречал Якова Михайловича, шагающего к подъезду Совнаркома, к Ленину. На голове летом — фуражка, зимой — круглая шапка, в руках — большой портфель желтой кожи, до отказа набитый бумагами. И я знал, что рабочий день Свердлова начинается беседой с Ильичем, что редко он направлялся в свой кабинет, не побывав предварительно у Ильича. А сколько раз я видел их вместе в президиуме различных съездов, конференций, совещаний, на заседаниях ВЦИК и его большевистской фракции!

Заседания эти то и дело протекали куда как бурно. Страстные споры вспыхивали не только на общих заседаниях ВЦИК, в который входили в 1918 году левые эсеры и даже несколько анархистов и меньшевиков, но и внутри большевистской фракции.

Особенно неистовствовал среди большевиков Рязанов. Он постоянно был «против», без конца сыпал острыми, язвительными репликами беспрестанно просил слова и выскакивал на трибуну.

Яков Михайлович твердой рукой вел самые бурные заседания, и, чем сильнее разгорались страсти, тем спокойнее и невозмутимее он казался.

Чего стоит хотя бы то заседание ВЦИК в июне 1918 года, когда из Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета изгоняли меньшевиков!

Меньшевики к этому времени перешли к вооруженной борьбе против Советской власти, и церемониться с ними дальше было нечего. Они полностью разоблачили себя перед рабочим классом как враги революции.

Провести, однако, решение об исключении меньшевиков из ВЦИК и провести его с тактом было не так просто. С одной стороны, меньшевиков поддерживали левые эсеры, которые составляли еще довольно солидную группу в составе ВЦИК, с другой стороны, поведение меньшевиков было столь вызывающе и возмутительно, что у большевиков лопнуло последнее терпение, и дело могло дойти чуть не до рукопашной.

Заседание происходило в «Метрополе», как и все заседания ВЦИК в 1918–1919 годах. Я сидел в зале, когда на высоченной трибуне появился президиум и Яков Михайлович открыл заседание.

Как только на обсуждение был поставлен вопрос о выводе меньшевиков из состава ВЦИК, в зале поднялось нечто невообразимое. Крик, шум, оглушительный свист — ничего не разберешь. Все повскакали с мест, машут руками, вот-вот кинутся врукопашную. Меньшевики жмутся жалкой кучкой, боятся поднять головы. Сочувственные возгласы левых эсеров тонут в грохоте всеобщего негодования большевиков.

И в этот момент, когда схватка казалась неминуемой, Яков Михайлович заглушил все крики своим могучим голосом и с такой внутренней силой потребовал восстановить порядок, что разбушевавшийся зал начал стихать. Еще минута — и воцарилась полная тишина. Не произнося ни слова, Яков Михайлович указал на дверь, и жалкие и пришибленные меньшевики один за другим покинули зал заседания, а ВЦИК перешел к деловым вопросам.

Но какого бы накала ни достигали страсти, как бы ни были остры споры, будь то заседание ВЦИК или большевистской фракции, Яков Михайлович Свердлов неизменно был вместе с Лениным, плечом к плечу с Владимиром Ильичем. В середине мая 1918 года был случай, когда выступив на проходившем чрезвычайно бурно объединенном заседании ВЦИК и Московского Совета с докладом о внешней политике, Ильич вынужден был уехать, не дождавшись окончания прений, и с заключительным словом по докладу выступил вместо него Яков Михайлович. Я не знаю, был ли еще хоть один случай, чтобы Владимир Ильич кому-нибудь другому поручил выступать вместо себя с заключительным словом по собственному докладу.

7 ноября 1918 года, в первую годовщину Советской власти, Ленин, Свердлов, Аванесов, Владимирский, Луначарский, Подвойский, другие члены ВЦИК, наркомы вышли из Троицких ворот, направляясь к Большому театру, где строилась колонна делегатов VI Всероссийского съезда Советов для участия в демонстрации. Я шел чуть поодаль, сзади Владимира Ильича.

Как раз в тот момент, когда мы выходили из Кремля, с Троицкими воротами поравнялась колонна ребятишек лет десяти — двенадцати, которые задорно пели звонкими голосами:

*Смело, товарищи, в ногу!
Духом окремем в борьбе,
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе!*

Владимир Ильич, Яков Михайлович, другие товарищи остановились, их лица расцвели улыбками. Слышу, Яков Михайлович обращается к Ильичу:

— Да, дело наше непобедимо! Если мы и погибнем, они, вот эти ребята, пойдут вперед и вперед. Если в десять лет они поют наши песни, то вырастут настоящими революционерами и совершат все то, чему мы положили начало! Хорошо!..

— Хорошо! — ответил Владимир Ильич.

Не раз, бывая у Владимира Ильича по какому-либо вопросу, я слышал, как он говорил в телефонную трубку тому или иному товарищу, особенно когда речь шла об организационных делах или назначении работников на ответственные посты:

— Посоветуйтесь со Свердловым. Столкнитесь с Яковым Михайловичем...

Нередко Владимир Ильич, говоря, что-то или иное дело надо бы поручить Свердлову, вдруг перебивал сам себя с легкой усмешкой:

— Впрочем, у Якова Михайловича, наверное, «уже» У него всегда «уже сделано».

Когда после злодейского покушения 30 августа 1918 года Владимир Ильич был болен, Яков Михайлович часами работал в его кабинете, решая ряд вопросов по Совнаркому. Ни до этого, ни после никто, кроме Якова Михайловича, в кабинете Ильича не работал.

Не раз в эти тревожные дни я бывал у Якова Михайловича в кабинете Ильича и ни разу не заметил у него и тени растерянности, ни малейших следов усталости, а я знал, что Яков Михайлович, если и спал в эти дни, то часа два-три, не больше, прямо в кабинете. Домой он не ходил. И, невзирая на это, Яков Михайлович был бодр, тверд, решителен, непреклонен. Но какое огромное волнение, какое беспредельное уважение и горячая любовь слышались в его голосе, как только речь заходила об Ильиче.

Через два дня после покушения на Ильича, 2 сентября 1918 года, я пошел в «Метрополь» на заседание Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. Большой ресторанный зал, где заседал ВЦИК, с нелепым фонтаном посередине, казавшимся теперь особенно неуместным, был переполнен. На трибуну поднялся Яков Михайлович. Не раз я его слушал, но, пожалуй, никогда так страстно не звучал его голос, как в тот день, когда заговорил он об Ильиче, заговорил

о том, что каждый из нас, сидящих в зале, всегда рос и работал в качестве революционера под руководством Ленина, что Ленина в партии заменить не может никто.

Прошел день или два. Состояние Владимира Ильича было еще тяжелое, исход не был ясен. Яков Михайлович вызвал меня по какому-то срочному вопросу. Когда я зашел к нему, он разговаривал с Каменевым и Рыковым. Несколько поодаль молча сидел Аванесов. Разговор, как видно, был крутой. Начала я не слышал, но заключительные слова Якова Михайловича, которые он произнес как раз в тот момент, когда я открывал дверь, говорили о многом. Подробнее об этом разговоре я узнал позже, от Варлама Александровича Аванесова. Суть дела была такова. После покушения на Ильича Каменев и Рыков, вконец растерявшись и разуверившись в скором выздоровлении Ильича, явились к Якову Михайловичу и поставили вопрос об избрании временного председателя Совнаркома.

— Согласия на подобные предложения я не дам никогда, — непреклонно заявил Яков Михайлович, — и буду самым категорическим, самым решительным образом возражать против каких бы то ни было попыток избрать кого-то другого на пост, принадлежащий Ильичу. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы не допустить подобного решения, а ответственностью пугать меня нечего. Ответственности я не боюсь. Меня поставила сюда партия, народ, и перед партией, перед народом я отвечаю за каждое свое решение, за каждый поступок.

Авторитет Якова Михайловича был непререкаем. Я постоянно в этом убеждался, выполняя различные указания и распоряжения Якова Михайловича, связанные с теми или другими учреждениями.

Взять, к примеру, Московский Совет. Мне нередко приходилось бывать в Моссовете по разным хозяйственным вопросам. Далеко не всегда и не во всем работники Моссовета шли навстречу. Часто приходилось «воевать» с Михаилом Ивановичем Роговым, с другими членами президиума Моссовета, чтобы получить требуемое. Но совсем иначе обстояло дело, когда я шел, заручившись согласием Якова Михайловича. Стоило сказать, что есть распоряжение Якова Михайловича, как все, будь то член президиума или рядовой сотрудник Моссовета, становились на редкость покладистыми и стоворчивыми. Причем Яков Михайлович редко давал письменные распоряжения — разве черкнет несколько слов на листке своего блокнота, — он терпеть не мог лишней писанины.

— Скажите, — говорил он обычно, что это мое распоряжение.

И этого было достаточно.

В конце октября 1918 года был такой случай. Яков Михайлович уезжал на фронт. Он вызвал меня и поручил подобрать из реквизированных у буржуазии товаров теплую одежду для подарков красноармейцам.

Я отправился в Моссовет, в ведении которого находились реквизированное имущество, склады и магазины. Прихожу прямо к председателю Моссовета (там еще кто-то из членов президиума сидел) и говорю, что нужны шубы и зимние куртки, прошу срочно отпустить.

— А у вас что, требование есть или распоряжение о выдаче?

— Нет, письменного требования у меня нет.

— Ну вот! Всегда вы так: не оформив документы, требуете то да се. Без письменного требования, товарищ Мальков, ничего не дадим.

— Товарищи, — попытался я убедить, — дело срочное, оформлять документы некогда. Оформлю потом. Не себе же беру...

Нет и нет, уперлись руководители Моссовета.

— Не можем без письменного требования. Да и вообще надо проверить, есть ли у нас шубы и сколько. Может, их совсем немного, тогда и требование не поможет, все равно не дадим.

— Ладно, — говорю, — не давайте! Так и передам Якову Михайловичу. Это его распоряжение.

— Распоряжение Якова Михайловича? Так бы сразу и говорили. Тогда, конечно, дело другое...

Сняв телефонную трубку, председатель Моссовета соединился с кем-то из заведующих от делами:

— К вам сейчас зайдет товарищ Мальков. Да, да, комендант Кремля. Немедленно поезжайте с ним на Кузнецкий мост, там в одном из меховых магазинов, что недавно реквизирован, была, помнится, теплая одежда. Отберите все, что нужно, и выдайте. Если окажется не достаточно, поищите в другом месте, но требование должно быть выполнено полностью. Что? Как оформить? Возьмите у товарища Малькова расписку, вот все оформление. Это распоряжение Якова Михайловича.

Часа через полтора или два я уже въезжал в Кремль на машине, набитой шубами и куртками.

Разгрузив одежду, я позвонил Якову Михайловичу, что его распоряжение выполнено. Вскоре они пришли с Аванесовым посмотреть, что отобрано. На Якове Михайловиче, между прочим, было драповое демисезонное пальто, изрядно поношенное, а холода стояли уже основательные, надвигалась зима. Я знал, что, кроме этого пальто и неизменной кожаной куртки, верхней одежды у Якова Михайловича нет, поездка же ему предстояла дальняя.

Пока Яков Михайлович и Варлам Александрович осматривали привезенные мною богатства, я подобрал хорошую шубу, скромную по виду, но очень теплую.

— Яков Михайлович, посмотрите, вот эта шуба как раз по вашему росту, словно на заказ шита.

— Что, что? Взять шубу? Для себя? Вы это что придумали?

— Так вам же ходить не в чем, зима на носу...

— Запомните раз и навсегда, — сурово перебил меня Яков Михайлович, — мы реквизируем у буржуазии для народа, для рабочих, для наших красноармейцев, а не для того, чтобы снабжать ответственных работников.

К себе Яков Михайлович был очень требователен, но и другим, когда надо, спуска не давал. Уж это все знали. Однажды направляюсь я к Якову Михайловичу, навстречу Аванесов.

— Ты к нему? — Он кивнул на дверь кабинета. — Лучше сейчас не ходи. Там такое идет, дым коромыслом.

Дело в том, что между двумя членами коллегии одного из наркоматов, товарищами весьма уважаемыми, разгорелась несусветная склока. Один отменял распоряжения другого, писали друг на друга жалобы в Совнарком, в ЦК. Каждый, утверждал, что другой не желает с ним считаться, подрывает его авторитет. Аппарат наркомата лихорадило, нарком был не в силах обуздать развоевавшихся членов коллегии. Тогда вмешался Яков Михайлович, пригласив их к себе вместе с наркомом.

Ожидая, пока Яков Михайлович освободится, мы с Аванесовым задержались в приемной. Прошло каких-нибудь пятнадцать — двадцать минут, как дверь из кабинета распахнулась и на пороге показались донельзя сконфуженные «вояки», а за ними их нарком с не менее смущенным видом.

— Да-а! — уныло протянул один из членов коллегии, когда дверь за их спиной закрылась. — Вот ерунда-то. И как такая ерунда получилась?

Другой сокрушенно махнул рукой:

— И не говори! Уж до того скверно, до того скверно...

Они вместе направились к выходу. Нарком чуть задержался, и Аванесов подошел к нему:

— Ну что, было дело?

Нарком тяжело вздохнул.

— Ох, брат, ну и история! — Внезапно он расхохотался. — Такое было, что и ума не приложить. Ну и Михалыч (так звали Свердлова подпольщики). Ты думаешь, он ругался?

Аванесов недоуменно посмотрел на него.

— Судя по вашему виду, вам всем влетело по первое число, а ты радуешься.

— В том-то и дело, Варлам, что влетело — это не то слово. Совсем не влетело. Хуже, куда хуже. Пришли мы, понимаешь, к Якову Михайловичу, уселись. Он им и говорит — выкладывайте, мол, слушаем. Ну, те и пошли и пошли. Как два петуха. Крюют друг друга на чем свет стоит.

Михалыч молчит, слушает, покуривает. Потом перебил их, да так тихо, спокойно, но таким тоном, что даже мне не по себе стало.

— Нельзя ли, говорит, — по существу? Прошу изложить ваши принципиальные разногласия. О том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, мне известно. Читал. У Гоголя.

А принципиальных-то разногласий и нет. Просто склочничают. Ну, они тут сразу тон поубавили, Михалыч и спрашивает: «Что, бояре, выговорились?». Один было вскинулся:

— Бояре? Как это бояре?

— Непонятно? Попробую пояснить, — все так же спокойно продолжает Михалыч. — В давние времена в боярской думе шла борьба за место, кому выше сесть. Слыхали?

— Слыхали.

— Может, и слыхали, да запамятовали, вот и приходится вам напоминать, — говорит Яков Михайлович. — Друг друга сейчас внимательно слушали? Думу-то боярскую часом не вспомнили?

Они молчат. Сказать нечего. Все и так как на ладони. А Михалыч продолжает:

— Рабочий класс, партия доверили вам посты членов коллегии, чтобы вы проводили партийную линию, создавали советский аппарат, а вы никак разобраться не можете кому «выше сесть», из-за «места» передрались, работу разваливаете. Наркомат в боярскую думу превратить хотите? Не выйдет, не позволим! А с вами пусть рабочий класс разберется: в очередной партийный день мы и попросим вас обоих на одном из московских заводов доложить на митинге, как это у вас получается.

Оба в голос: увольте, Яков Михайлович! Слово даем, больше такого не повторится.

Вот и весь разговор. Подействовало, лучше не надо. А перед пролетариатом-то ребятам придется еще выступить, там им не такая баня будет. Ну, да это на пользу!

Мне тоже порой доставалось от Якова Михайловича. Его суровую требовательность знали все, но это не пугало. Работать с ним было легко. И не просто легко — радостно. Всегда он был справедлив, во все, чем бы он ни занимался, вносил кипучую революционную страсть, неистребимый большевистский жар, ну прямо зажигал всех, кто его окружал. Он мог быть строг,

порою суров, когда этого требовали интересы революции, но никогда ни к чему и ни к кому не был равнодушен, никогда ничего не делал без сердца.

Яков Михайлович был беспощаден к врагам революции, но к рабочим, к крестьянам был неизменно внимателен и чуток, к товарищам же по партии всегда относился с исключительным доверием и теплотой. Каждый знал — случись какая неприятность, Яков Михайлович разберется, не допустит несправедливости.

Когда я уезжал из Питера, Манаенко, мой боевой товарищ и помощник, ненадолго задержался в Смольном. А как приехал в Москву, сразу явился ко мне, в Кремль.

— Ну, Павел, дело табак. Не пойму, почему, но в Смольном в твоих бумагах ЧК копается.

Пытался было я выяснить, что им надо, куда там! Слова не вытянешь. Вроде обвиняют тебя в том, что не то ты посадил кого незаконно, не то в расход пустил.

Я возмутился. Как, думаю, так? Мне никто ни слова, обвиняют черт знает в чем, и все за спиной.

Снял телефонную трубку, звоню Якову Михайловичу:

— Разрешите зайти...

— Заходите.

Пришел и брякнул с места в карьер:

— Прошу освободить от обязанностей коменданта Кремля. Раз меня подозревают, проверяют, комендантом Кремля не могу оставаться.

Ну и отчитал же меня Яков Михайлович! Ему-то вся история была великолепно известна. Оказывается, еще в бытность мою в Питере арестовали нескольких студентов и одного незаконно расстреляли. Конечно, началось расследование. Поскольку арестованных держали в Смольном, проверили и мои архивы. Разобрались, видят — я не причастен, доложили в Москву, и на том все закончилось. А мне ничего не говорили, чтобы зря не дергать. Зато теперь, когда я устроил скандал, Яков Михайлович задал мне перцу.

— Вы что, — говорит, — виноваты в чем-нибудь? Нет? Так что же тут комедию с отставкой устраиваете? Другое дело — была бы ваша вина. Вот за разговор об отставке надо бы вас наказать, да покрепче.

А я уж и так готов язык себе откусить, сам не рад, что начал. Понял Яков Михайлович мое состояние, отпустил. Только велел в другой раз крепко подумать, прежде чем словами бросаться.

Несколько месяцев спустя, осенью 1918 года, стряслась беда с одним моим близким товарищем, Ароновым, старым членом партии, прошедшим в годы царизма через ссылки и тюрьмы. Летом 1918 года его направили в Ярославль на подавление белогвардейского мятежа. Действовал он там энергично, решительно, но то ли с кем там не поладил, то ли еще что, во всяком случае, нашлись такие, кто обвинил его в самоуправстве, превышении власти и прочих смертных грехах. Время было горячее, и, толком не разобравшись, работники ЧК арестовали Аронова.

Я ни минуты не сомневался в Аронове, был глубоко уверен, что это недоразумение, и считал, что держать его в тюрьме нет никакой нужды. Можно расследовать и не арестовывая товарища, тем более когда речь идет о коммунисте, старом члене партии.

Решил обратиться к Якову Михайловичу.

— Яков Михайлович! ЧК арестовала моего товарища, друга. Я его знаю много лет, он настоящий большевик. Может, сгоряча и сделал что не так, но человек он честный, партии предан, зачем

же его держать в тюрьме? Нельзя ли, пока будут вести следствие, отдать его мне на поруки? Пусть живет у меня на квартире, не убежит же.

Яков Михайлович спрашивает:

— Знаете его? Ручаетесь?

— Головой ручаюсь.

— Ну, что ж. Ручательство большевика — штука серьезная и, учтите, ответственная. Поговорю с Феликсом Эдмундовичем.

Проходит день-два, и Аронова прямо из ЧК приводят в Кремль, ко мне на квартиру. Говорят — по распоряжению Якова Михайловича.

Аронов, надо сказать, мужик был грамотный, образованный, а у нас в Кремле на курсах как раз лекторов не хватало.

Я опять к Якову Михайловичу.

— Можно, — спрашиваю, — мой «арестант», пока суд да дело, лекции будет курсантам читать?

Яков Михайлович расхохотался.

— Эх ты, — говорит, — адвокат. Ладно, семь бед — один ответ, пусть читает.

И начал Аронов читать лекции кремлевским курсантам по политэкономии. Здорово читал! Тем временем с делом его разобрались, и все обвинения отпали. Не вмешайся Яков Михайлович, сколько пришлось бы Аронову ни за что просидеть в тюрьме!

Или был такой случай. Как-то в конце сентября или начале октября 1918 года, когда Владимир Ильич жил в Горках, часа в два-три ночи вызывает меня Яков Михайлович:

— Товарищ Мальков, вот вам пакет, немедленно поезжайте в Горки, к Ильичу, и передайте ему в руки. Ответ получите сейчас же и скорее возвращайтесь. Дело неотложное. Учтите, документ особо секретный, будьте осторожней. Возьмите лучше с собой кого-нибудь из охраны.

Я было замялся.

— Поздно, — говорю, — Яков Михайлович. Удобно ли Ильича будить?

— Знаю, что поздно, но раз посылаю, значит надо. Поезжайте немедленно, — повторил Яков Михайлович и протянул мне пакет. А пакет-то не запечатан.

— Яков Михайлович, вы забыли запечатать пакет.

Яков Михайлович пристально посмотрел на меня.

— А если пакет не запечатан, так вы вынете документы и прочитаете?

Я обиделся:

— Как вы могли такое подумать? Разве я когда стану читать то, что меня не касается, тем более документы, предназначенные Ильичу?!

— Я и не думал, что станете читать, — смеется Яков Михайлович, — это вы меня упрекнули, что я вам дал незапечатанный пакет. Я-то знаю, кому вручаю документы, поэтому и не стал зря сургуч трать.

Внимательно и любовно относился Яков Михайлович к бойцам, охранявшим Кремль, часто с ними беседовал, интересовался их бытом, условиями службы. Спрашивал, что пишут им из дому, выступал на собраниях. Недаром красноармейский клуб в Кремле называли клубом имени Я. М. Свердлова.

Сию я как-то и комендатуре, вдруг двери настезь, на пороге Яков Михайлович, а за ним часовой с винтовкой наперевес. Не успел я и рта раскрыть, как боец рапортует:

— Товарищ комендант Кремля! Мною задержана подозрительная личность без пропуска возле квартиры председателя ВЦИК товарища Свердлова. Означенная личность доставлена в ваше распоряжение. Я вскочил.

— Да ты, — говорю, — такой-сякой, кого за держал? Ведь это же и есть Яков Михайлович, председатель ВЦИК товарищ Свердлов!

Часовой оторопел. На лбу у него даже пот выступил. Стоит, переминается с ноги на ногу, смотрит то на меня, то на Якова Михайловича, вконец растерялся. А Яков Михайлович хохочет.

— Ну, — говорю часовому, — придется тебя, голубчик, суток на десять посадить за такое дело, чтобы знал в другой раз, как председателя ВЦИК водить по Кремлю, направив ружье в спину.

Яков Михайлович сразу посерьезнел.

— Пойдите, товарищ Мальков, пойдите. За что вы, собственно говоря, собираетесь товарища наказывать? Он прав. Ведь у меня на лбу не написано, что я председатель ВЦИК, а пропуска с собой действительно не было. Товарища надо не наказывать, а объявить ему благодарность за революционную бдительность.

Так-то!

Я вытянулся:

— Слушаю, Яков Михайлович. Есть объявить часовому благодарность за революционную бдительность.

— Ну вот, это другое дело, — улыбнулся Яков Михайлович.

— Так, как, товарищ конвоир, — повернулся он к часовому, — могу я теперь идти?

И, пожав часовому руку, Яков Михайлович вышел из комендатуры.

Бесконечное количество народу шло к Якову Михайловичу с разнообразнейшими делами. Бывая у него, я постоянно встречал в его приемной секретарей губкомов, уездных и районных комитетов партии, руководителей низовых партийных организаций. К Якову Михайловичу шли вожаки рождавшегося в те годы комсомола, председатели губернских и уездных исполкомов Советов, командующие армиями и дивизиями, председатели совнархозов и директора предприятий, партийные, советские, хозяйственные, военные руководители всех степеней и рангов, десятки рядовых членов партии, бесчисленные делегации рабочих и крестьян.

Здесь, в кабинете Якова Михайловича, рабочий-большевик становился комиссаром полка или дивизии, руководителем Советской, сласти: района или уезда; старый член партии — руководителем главка, членом коллегии наркомата, членом Реввоенсовета армии или фронта.

За бесконечной грудой важных дел Яков Михайлович ни на минуту не упускал из поля своего зрения повседневных вопросов кремлевского обихода, постоянно оказывал помощь нуждавшимся товарищам, следил за жизненным укладом Кремля. Чуть не ежедневно раздавались телефонные звонки Якова Михайловича, и я получал четкие, конкретные указания, задания, распоряжения. Зачастую мне вручали коротенькие записки:

«20 сентября 1918 г. Коменданту Кремля. Считаю целесообразным мебель для квартир в Вознесенском монастыре получать из дворцового имущества. Предлагаю за мебелью и обращаться туда. Я. Свердлов».

Или:

«1 октября 1918 г. Коменданту Кремля. Прошу предоставить кремлевский оркестр для похорон т. В. М. Бонч-Бруевич. Я. Свердлов».

«11 декабря 1918 г. Тов. Мальков. Необходимо, предоставить квартиру т. Бокию. С т. Бонном сговоритесь сейчас же. Я. Свердлов».

«6 февраля 1919 г. Коменданту Кремля. Прошу выдать подателям делегатам жел.-дор. рабочих 25 фунтов хлеба. Я. Свердлов!»

Сколько их было, таких немногословных, лаконичных записок...

Постоянное, живое участие Якова Михайловича в делах комендатуры стало таким привычным, что казалось, будто иначе и быть не может. И вот, вернувшись в первых числах марта 1919 года из поездки на Украину, Яков Михайлович тяжело заболел.

Днем 16 марта 1919 года я заканчивал уборку помещения круглого зала в помещении ВЦИК, где должен был открыться VIII съезд Российской Коммунистической партии (большевиков). Ну что ж, кажется, все готово. Стены увиты гирляндами зелени, празднично алеют знамена, плакаты, тяжелыми складками свисает со стола президиума пунцовая скатерть. В глубине сцены — бюсты Маркса и Ленина.

Да, готово все. Вот еще телефон. Закончена ли подводка? Подхожу к аппарату. Звонок. Ага, значит, уже работает. Снимаю трубку.

— Павел, ты?

Чей это голос? Аванесов? Не может быть! Никогда так не дрожал, не прерывался голос Варлама Александровича.

— Что случилось? — кричу в телефон, охваченный внезапной тревогой.

В ответ слышится глухой, сдавленный голос:

— Да, это я, Аванесов... Яков Михайлович... Пять минут назад...

Без сил, без мыслей я рухнул на стул. Горло свела мучительная спазма, глаза застлал какой-то туман.

...Два дня спустя, 18 марта 1919 года, мы хоронили Якова Михайловича Свердлова. У подножия Кремлевской стены, в самом центре Красной площади, зияла свежая могила. Замерли в горестном молчании десятки тысяч людей, заполнивших из края в край огромную площадь. На могильный холм поднялся Владимир Ильич Ленин.

— Мы опустили в могилу пролетарского вождя, который больше всего сделал для организации рабочего класса, для его победы...

В Кремле, в круглом зале здания ВЦИК, названном отныне Свердловским, я увивал черным крепом алые полотнища знамен и лозунгов. Открывался VIII съезд РКП (б). В гробовой тишине зазвучали скорбные слова Ильича:

— Товарищи, первое слово на нашем съезде должно быть посвящено товарищу Якову Михайловичу Свердлову...

Две недели спустя, 30 марта 1919 года, председателем Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета был избран Михаил Иванович Калинин.

Прошло еще несколько дней, и Михаил Иванович переехал из Питера, где до этого работал, в Москву. Квартиру для него в Кремле подобрали сразу, в Кавалерском корпусе, но она была не в порядке, требовала ремонта, и Калинин поначалу поселился у одного из своих товарищей, тоже из старых питерцев.

Прямо надо сказать, ремонт двигался не очень быстро: то рабочих нет, то материалов. День проходит, другой, неделя, квартира Калинина все не готова. А Михаил Иванович молчит. Хоть бы раз позвонил, напомнил, обругал кого-нибудь, так нет! Живет с семьей в одной комнатке у товарища и молчит. Очень деликатный и обходительный человек. Никогда для себя ничего не требовал.

Прошла этак неделя с небольшим — звонок. Калинин вызывает. Ну, думаю, будет мне за ремонт! Заранее ответ подготовил — дело-то действительно по тем временам не простое.

Пришел к Михаилу Ивановичу, только он о квартире ни слова: пойдём, говорит, по Кремлю, покажи, как у тебя охрана организована, где какие посты стоят, как бойцы живут, на чем спят, чем питаются.

Пошли. Михаил Иванович все обошел, все облазил, на стену Кремлевскую взбирался, всюду побывал. Возле курсантов, стоявших на часах, не раз останавливался и с некоторыми подолгу беседовал, расспрашивал обстоятельно, дотошно: и про то, как несут службу, не трудно ли, и про учебу, и что кому из дому пишут, и про харч кремлевский.

Разговаривал Михаил Иванович с курсантами здорово. Ему было все едино: рабочий ли перед ним, одетый в красноармейскую шинель, крестьянин ли. И с тем и с другим Калинин моментально находил общий язык. Он великолепно знал жизнь, условия труда, всякие там профессиональные тонкости любого собеседника, будь то слесарь, токарь или крестьянин. Обстоятельно, с большой мудростью и неизменным юмором отвечал на любой, порой самый заковыристый вопрос. Я видел, как прямо расцветали лица курсантов во время беседы с Калининым.

И только когда мы кончили обход, Михаил Иванович как бы невзначай спросил:

— Ну, а как там с квартирой моей, скоро ремонт закончат?

Я стал было объяснять, а он руками замахал:

— Да ведь я так, к слову, мне что? Вот только перед товарищем неудобно. У него семья, квартира небольшая, а тут еще я с целой оравой. Живу и живу.

Еще дня три-четыре прошло, вызывает Ильич:

— Что там у Калинина с квартирой? Скоро ремонт закончите? Знаю я вас — на вас не нажмешь, без конца копать будете. Калинин — человек скромный, он небось не требует, а просит, вот вы и тянете. Кончать ремонт надо...

Только мы зря не тянули. Действительно трудно было с ремонтом, делали, как могли, в, чуть закончили, я сразу доложил Михаилу Ивановичу, и он переехал в свою квартиру.

Прием у Калинина был очень большой — бесчисленные делегации и ходоки шли со всей страны к Всероссийскому старосте. Особенно много приезжало крестьян. Каждый хотел повидаться непременно с «самим Калининым», и почти каждого Михаил Иванович стремился сам принять.

Дежурные в бюро пропусков у Троицких ворот сбились с ног. Пойди разбери: кому давать пропуск, кому нет. Вроде каждому, кто идет к Калинин, надо дать пропуск, но давать каждому нельзя, мало ли кто под видом ходака пролезет в Кремль? Выход из положения нашел сам Михаил Иванович. Он перенос свою приемную из Кремля на Моховую, в 4-й Дом Советов, что против Троицких ворот, где и сейчас находится приемная Председателя Президиума Верховного Совета СССР.

Туда к Калинин мог прийти каждый, у кого была нужда в председателе Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, кто хотел встретиться, побеседовать с Всероссийским старостой.

Ежедневно, энергично постукивая по тротуару своей неизменной палочкой, шагая быстро и решительно, направлялся Михаил Иванович Калинин из Кремля в свою приемную, ежедневно сюда стекались десятки и сотни людей со всей страны, рассказывали, искали совета, просили помощи. И ни один вопрос, ни одна просьба не оставались без ответа.

Как-то месяц или два спустя после избрания Калинина председателем ВЦИК я вошел к нему, чтобы доложить кое-какие дела по комендатуре.

— Знаешь, Мальков, — перебил меня Михаил Иванович, — ты уж докладывай лучше все свои вопросы секретарям ВЦИК. Они знают все твои дела досконально, сами разберутся, а мне со всем этим наново знакомиться надо. Не возражаешь?

Так и пошло: делами комендатуры Калинин заниматься не стал, и я докладывал все больше секретарям ВЦИК; или Феликсу Эдмундовичу.

Часть III.

Борьба с контрреволюцией

Разгром анархистов.

В Москве, как и в Петрограде, мне постоянно приходилось выполнять различные боевые задания, участвовать в многочисленных операциях, в разгроме контрреволюционных гнезд, подавлении мятежей, ликвидации заговоров. Такое уж было время!

В апреле 1918 года я принял участие в операциях по разгрому анархистов.

Первое время Советская власть терпела так называемых «идейных» анархистов, выступавших в дни Октября против помещиков и капиталистов. Анархистские группы и федерации существовали легально, представители анархистов даже входили в состав Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. Однако, чем больше крепло Советское государство, чем решительнее вводился порядок во всех сферах общественной и государственной жизни, тем острее и непримиримее становились противоречия между Советской властью и «идейными» анархистами.

Анархисты — порождение наиболее разнузданной части мелкобуржуазной стихии — начертали на своих знаменах требование уничтожить всякую власть, организацию, дисциплину. Они призывали к неорганизованному разрушению основ государственного строя, к освобождению личности от всех законов и обязательств, что неизбежно вело к насилиям, эксцессам, личной выгоде в ущерб общественной.

К анархистам примазывался всякий уголовный сброд: хулиганы, мошенники, грабители, убийцы. Захваченные анархистами особняки, предназначавшиеся, по заверениям вожakov анархистов, для организации культурной работы, превратились в притоны разбоя и разврата. Нашли пристанище у анархистов и ярые белогвардейцы. Под флагом анархии открыто процветал не только бандитизм, но и готовились контрреволюционные заговоры.

К моменту переезда Советского правительства из Петрограда в Москву анархисты бесчинствовали здесь вовсю. Должных мер для борьбы с ними местные власти не предпринимали. В Москве легально выходили две анархистские газеты: «Анархия» и «Голос труда», на страницах которых велась гнусная кампания лжи и клеветы в адрес Советской власти. Открыто существовали анархистские группы и отряды, именовавшиеся «Немедленные социалисты», «Независимые», «Смерч», «Ураган» и т. п., которые захватили в центре города и на важнейших городских артериях ряд особняков, превратив их в настоящие крепости, вооруженные пулеметами, бомбометами и даже орудиями.

Анархисты открыто получали оружие с советских военных складов. Они захватывали среди бела дня целые дома; арестовывали и задерживали по своему усмотрению кого угодно; учиняли в любое время дня и ночи самочинные обыски в частных квартирах, кончавшиеся грабежами; под видом ревизий и конфискации грабили склады, магазины, отдельных граждан. В официальном сообщении Президиума Моссовета указывалось, что в Москве «...не проходило дня без нескольких ограблений и убийств».

Враги революции всячески использовали кажущуюся силу анархистов, пытались дискредитировать Советскую власть перед всем миром. Анархия, вопили иностранные дипломаты и журналисты, русские белогвардейцы, меньшевики и эсеры, — вот к чему привела Октябрьская революция. Большевики, кричали они, сами породили анархию, а обуздать ее не могут!

Советская власть не собиралась терпеть беспрестанное нарушение революционного порядка, постоянные самочинные действия, разбой и грабежи. Безобразиям, творившимся под флагом анархии, нужно было положить конец.

11 апреля 1918 года под руководством Феликса Эдмундовича Дзержинского состоялось заседание Всероссийской Чрезвычайной Комиссии, на которое были приглашены представители военного ведомства, городских и районных организаций Москвы. На заседании было принято решение ликвидировать анархистские гнезда и разоружить всех «черногвардейцев», как именовали себя анархисты. Тут же был утвержден план операции. К участию в разоружении анархистов привлекались отряды ЧК, воинские части и латышские стрелки из охраны Кремля.

За несколько дней до совещания, числа 8–9 апреля, вызвал меня Феликс Эдмундович. С анархистами, говорит, решено кончать. Надо составить план ликвидации анархистских гнезд. Займись, тебе не впервой, кое-какой опыт накопил в Питере.

В ЧК мне вручили адреса особняков, занятых анархистами, — их оказалось двадцать шесть. И все больше в центре города, поближе к Кремлю: на Поварской, Большой и Малой Дмитровке, на Мясницкой.

Вернувшись из ЧК, я вызвал Берзина, который теперь командовал 4-м Видземским полком латышских стрелков, охранявшим Кремль, и комиссара полка Озола и ввел их в курс дела.

Мы решили прежде всего провести разведку: изучить расположение особняков, занятых анархистами, обследовать подходы, выяснить возможные пути отступления наших противников.

Поделив между собой особняки, мы приступили к делу. Берзин отправился в Замоскворечье, Озол — в Хамовники, а я взял Поварскую, обе Дмитровки, Мясницкую. На машине объехал весь район предполагаемых действий. Невдалеке от каждого особняка останавливался, прятал машину куда-нибудь за угол, чтобы не привлекать излишнего внимания, и пешком обходил особняк со всех сторон. Каждый дом тщательно осмотрел, прикинул, откуда и как лучше вести наступление, изучил близлежащие переулки и проходные дворы.

Особо серьезное внимание я обратил на здание бывшего Купеческого собрания по Малой Дмитровке, дом 6 (ныне Театр Ленинского комсомола). В этом здании, именовавшемся «Дом анархии», помещался штаб так называемой «черной гвардии» анархистов. Сюда анархисты натащили уйму всякого оружия, из окон угрожающе торчали пулеметы, а возле подъезда было установлено даже горное орудие.

Когда с разведкой противника было покончено, мы вновь собрались и набросали примерный план действий. Сводился он вкратце к следующему: в заранее назначенное время, ночью, все особняки анархистов одновременно берутся в кольцо, анархистам предъявляется ультиматум с требованием немедленной сдачи оружия. На размышление — 5 минут. Не подчиняются — переходим в решительное наступление и разоружаем их силой.

С этим планом я отправился к Феликсу Эдмундовичу. На совещании 11 апреля план был окончательно доработан и утвержден. Операцию назначили на эту же ночь. Было решено всех захваченных анархистов отправлять под конвоем в Кремль, где я должен был разместить их на кремлевской гауптвахте и обеспечить надежной охраной.

На совещании определили, какие отряды участвуют в операции, и утвердили начальников отрядов. Мне с латышскими стрелками предстояло захватить дом на Большой Дмитровке, возле ломбарда, где ныне находится Академия строительства и архитектуры. Это был небольшой двухэтажный особняк (впоследствии его надстроили), стоявший в глубине обширного двора. Особняк отделяла от улицы высокая чугунная решетка примерно в два человеческих роста, с массивными двустворчатыми воротами, примыкавшая своими концами к фасадам соседних с особняком зданий. Решетка покоилась на каменном фундаменте, на полметра возвышавшемся над тротуаром.

Вскоре после полуночи отряд в двести латышских стрелков уже выходил из Кремля. На безлюдных улицах стояла глубокая тишина, изредка нарушавшаяся грохотом стремительно

проносившихся грузовиков. Это разъезжались по отведенным участкам чекистские отряды и воинские части, принимавшие участие в операции.

Миновав Охотный ряд и Театральную площадь, мы свернули на Петровку. Возле Столешникова переулка отряд разделился. Примерно половина отряда во главе с Берзиным двинулась вверх по Петровке и свернула в Петровский переулок, а мы с Озолом повели остальных по Столешникову и Большой Дмитровке. По мере продвижения вперед отряд вытягивался цепочкой. Через каждые 5–10 шагов мы ставили по часовому. Так же действовал и Берзин. Прошло каких-нибудь 30–40 минут, и мы с Берзиным, двигаясь навстречу друг другу, сошлись против занятого анархистами особняка.

Весь квартал был замкнут в сплошное кольцо. По Столешникову переулку, Петровке, Петровскому переулку, Большой Дмитровке растянулась цепь настороженных, готовых к любой неожиданности латышских стрелков. Возле ломбарда, по соседству с особняком, сосредоточилась группа человек в пятьдесят, предназначенная для непосредственных действий против засевших в особняке анархистов.

Начало светать. В сером предутреннем сумраке четко проступали контуры особняка, угрюмо притаившегося за чугунной оградой. Ворота были наглухо заперты. Вдоль фасада особняка мрачно чернели распахнутые настежь окна. Это было необычно — ведь апрель только начался, было прохладно — и настораживало.

Разделив ударный отряд на две группы, я поставил одну из них, под командой Берзина, возле ломбарда, а вторую, под командой Озола, — за углом другого здания, у противоположного конца решетки. Обе группы со стороны особняка не просматривались. Едва я, закончив все приготовления, вышел из-за укрытия и громко окликнул обитателей особняка, как из окон загремели винтовочные выстрелы, рванула частая пулеметная очередь, дробью рассыпавшись по булыжнику мостовой.

Я поспешно отскочил за угол. К счастью, стреляли анархисты неважно, да и видели они меня плохо — еще не совсем рассвело, — и ни одна пуля меня не зацепила. А анархисты продолжали вести ожесточенную беспорядочную пальбу. Как видно, боеприпасы имелись у них в изобилии.

Поскольку моя попытка вступить в мирные переговоры окончилась безуспешно, я решил действовать иначе. Укрывшись за углом, я отстегнул от пояса ручную гранату и что было мочи швырнул ее вдоль решетки, целясь прямо в ворота.

Десятифунтовая граната взорвалась со страшным грохотом возле самых ворот, заглушив на мгновение ружейную трескотню. Стрельба была утихла, но через минуту возобновилась с еще большим ожесточением. Ворота же стояли себе как ни в чем не бывало.

Дело оборачивалось скверно. Операция могла затянуться, а идти на штурм особняка в лоб, через ограду, было безумием, грозило гибелью десяткам людей.

Берзин предложил вызвать артиллерию или броневик. Я и сам об этом подумывал, приглядываясь к массивной ограде, преграждавшей доступ к особняку. Как вдруг в голове мелькнула одна мысль.

— Постой, постой, — перебил я Берзина. — У тебя нет веревки?

— Какой веревки? — опешил тот.

— Ну, обыкновенной веревки. Шпагата там, что ли, или бечевки. Только попрочнее. Аршин этак двадцать пять — тридцать.

Берзин смотрел на меня во все глаза, ничего не понимая. У одного из латышей оказался прочный шнурок. Правда, не двадцать пять аршин, значительно меньше, но можно было обойтись и этим.

Когда я, засунув в карман шнурок, от которого отрезал предварительно небольшой конец, подошел к углу здания и лег на тротуаре, Берзин сообразил, в чем дело, Нагнувшись, он тронул меня за плечо:

— Павел Дмитриевич, давай-ка я...

Но я, плотно прижимаясь к тротуару, уже полз вдоль каменной опоры, в которую была вделана решетка, прямо к воротам.

Заметив мой маневр, анархисты усилили стрельбу. Вблизи противно взвизгивала пуля, но я был недосягаем. Каменный фундамент решетки служил надежным укрытием.

Вот и ворота. Закинув за прут решетки короткий шнурок, я прочно обвязал им тяжелую гранату и подвесил ее примерно на том уровне, где должен был находиться замок. Затем, прикрепив длинный шнурок к кольцу гранаты, я опять распластался на тротуаре и, пятась, пополз обратно, осторожно разматывая веревку.

Как я и предполагал, веревка кончилась примерно на половине пути между воротами и спасительным углом, за которым можно было укрыться.

Эх, была не была! Прижавшись к холодному камню тротуара, я с силой дернул веревку. Грохнул взрыв, брызнули во все стороны осколки чугуна, и ворота распахнулись настежь. Путь был открыт.

Не теряя ни мгновения, я вскочил на ноги, выхватил из-за пояса кольт и кинулся к воротам. Навстречу вдоль ограды мчался сажеными прыжками Озол. За ним, грозно выставив штыки, лавиной катились латыши. Топот десятков пар сапог гремел и у меня за спиной. Это спешил Берзин со своим отрядом.

Опережая один другого, Озол и я первыми ворвались во двор и увидели белую скатерть, которой размахивал какой-то анархист, стоя в окне второго этажа. Стрельба прекратилась, анархисты капитулировали.

Мы с Озолом остановились, молча взглянули друг на друга. Мимо нас, все так же со штыками наперевес, уже бежали латышский стрелки. Бежали они молча, и это жуткое молчание было куда страшнее любого, самого отчаянного крика.

— Стой! — оглушительно крикнул Берзин, вырываясь вперед и загораживая вход в особняк. — Стой, товарищи! Назад! Лежачего не бьют!

Из особняка потянулись гуськом понурые, взъерошенные фигуры. Впереди вышагивал пожилой тщедушный мужчина, с бородкой клинышком, в донельзя мятой фетровой шляпе. Я присмотрелся к нему.

— Ба. Никак, старый знакомый? Вот где встретились!

Он сумрачно глянул на меня из-под густых, косматых бровей.

— Мальков. Так? Комендант. Так! На революционеров со штыками пошел, с гранатами. Так.

Сейчас он не хорохорился, нет. Совсем не то, что четыре-пять месяцев назад, в Смольном. Во всей его пришибленной фигуре, во внезапно задрожавшем голосе столько было безысходной тоски, что мне стало далее немного жаль его.

— Эх, ты! Революционер! Ну, кой черт тебя дернул со всякой бандитской шпаной спутаться? А туда же, «идейный».

Он горестно махнул рукой и уныло зашагал к воротам, где латыши, окружив плотным кольцом, выстраивали бывших, обитателей особняка в колонну.

Я вошел в особняк, где Озол с группой латышей уже производил обыск. Представившееся моим глазам зрелище производило отталкивающее впечатление. Особняк был загажен до невероятности, Здесь и там виднелись пустые бутылки с отбитыми горлышками из-под водки, дорогих вин, коньяка. Под ногами хрустело стекло. По роскошному паркетному полу расплывались вонючие, омерзительные лужи. На столах и прямо на полу валялись разные объедки, обглоданные кости, пустые банки из-под консервов вперемешку с грязными, засаленными игральными картами. Обок на стенах висели лохмотьями, обивка на мебели была распорота и изорвана в клочья.

В одной из комнат на сдвинутых столах громоздилась куча ценностей и денег, обнаруженных при обыске. Здесь были и десятки пар золотых часов, и множество колец, ожерелий, колье, сережек, и массивные золотые и серебряные портсигары, и мельхиоровая посуда — одним словом, настоящий ювелирный магазин.

Много было изъято оружия: винтовок, револьверов, патронов, ручных гранат. Хранились в особняке и порядочные запасы продуктов и вин, во дворе же латыши обнаружили целый винный склад.

Пока я осматривал особняк я знакомился с «трофеями», латышские стрелки, участвовавшие в операции, собрались во дворе. Операция была закончена, можно было возвращаться в Кремль. Оставалось выставить охрану, чтобы в особняк не проник ненароком никто посторонний, пока не придут выделенные ЧК товарищи. Вдруг вбегают во двор двое чекистов из той группы, которая была направлена на ликвидацию главного гнезда анархистов — «Дома анархии» на Малой Дмитровке.

По их возбужденному виду я понял, что там что-то не ладится, да и стрельба в районе Страстной площади не стихает. Так и оказалось. Анархисты, засевшие в своей крепости, отчаянно сопротивлялись. Они поливали красноармейцев и чекистов ружейным и пулеметным огнем, палили из горного орудия шрапнелью, швыряли бомбы и ручные гранаты. Несколько человек было уже убито и ранено. Требовалась срочная помощь.

Предложив Озолу организовать охрану особняка, я захватил человек пятьдесят латышей, и мы беглым шагом поспешили на Малую Дмитровку.

Наступило утро, московские улицы ожили. Сновали прохожие, изредка громыхал трамвай, проносились одинокие автомобили, медленно тащились извозчики пролетки и телеги ломовиков. Становилосьлюдно. На Страстном бульваре толпились кучки любопытных, неистово носились вездесущие мальчишки. В начале Малой Дмитровки стояла густая цепь красноармейцев, преграждая доступ на улицу.

Завидев наш отряд, красноармейцы дали дорогу, и мы направились на Малую Дмитровку. Как раз в это время со стороны Тверской подтащили трехдюймовое орудие и установили на углу Малой Дмитровки и Страстного бульвара. Один за другим ахнули два орудийных выстрела.

Первым же снарядом искусные артиллеристы снесли горную пушку, стоявшую у подъезда «Дома анархии». Второй выстрел разворотил стену, с треском полопались стекла во всех окнах.

Поняв бессмысленность дальнейшего сопротивления, анархисты выкинули белый флаг. Штаб «черной гвардии» капитулировал. Мы подоспели к шапочному разбору.

Отрядив группу латышских стрелков в помощь красноармейцам, выделенным для конвоирования задержанных анархистов, я отправился в Кремль. Пора было заняться приемкой арестованных.

Часам к двенадцати, к часу со всеми анархистскими гнездами было покончено. В подавляющем большинстве особняков анархисты сложили оружие, не оказав серьезного сопротивления. Бой пришлось вести только на Малой Дмитровке, на Поварской и Донской улицах. Как я узнал к вечеру, всего в результате перестрелки было убито и ранено с той и другой стороны около 40 человек. Из латышских стрелков не пострадал ни один.

Когда я вернулся в Кремль, гауптвахта была уже до отказа заполнена, а новые партии анархистов все продолжали поступать. К полудню набралось до восьмисот человек. Надо было их где-то размещать, чем-то кормить. Я позвонил Феликсу Эдмундовичу и попросил ускорить присылку следователей, которые должны были предварительно допросить арестованных, составить списки, отделить уголовные элементы и передать их в московскую милицию. Феликс Эдмундович обещал дать необходимое распоряжение, я вскоре в Кремле появилась группа следователей во главе с одним из членов коллегии ВЧК.

Допрашивали анархистов у меня в комендатуре. Впрочем, какие это были анархисты? Многие из участников анархистских отрядов и понятия не имели, что такое анархизм, не представляли себе ни основ анархистского учения, ни анархистских доктрин. Настоящих, «идейных», анархистов вроде моего питерского знакомого оказалось среди задержанных не более двух-трех десятков. Они сразу бросались в глаза в общей массе всякого сброда, взятого в анархистских особняках. В большинстве своем это был народ пожилой. У многих из них были за плечами годы борьбы с царизмом, каторга, тюрьмы, ссылки. Вряд ли все они понимали, к каким губительным последствиям вела их пропаганда всеобщего разрушения, их разнузданная агитация против всякой государственной власти. Сами они, как правило, совершенно не были причастны к грабёжам и разбою.

Следователи ЧК начали свою работу с того, что выделили из общей массы арестованных «идейных» анархистов (кстати, в большинстве известных чекистам) и тут же их освободили. Кое-кто из них вскоре понял всю глубину своих заблуждений и стал искренним сторонником Советской власти, те же, кто не пожелал пересмотреть анархистских убеждений, полностью скатились в болото контрреволюции и закончили свою бесславную карьеру в бандах Махно, Григорьева и прочих оголтелых врагов советского народа.

Разобравшись с «идейными» анархистами, следователи принялись за остальных. Среди задержанных попадались и такие, что сами толком не знали, как попали к анархистам, просто пришли, надеясь прожить на даровщину, не задумываясь над тем, чем все это может кончиться.

Один из допрашиваемых, например, заявил при мне следователю:

— Дайте квартиру и обед, ей-богу, никогда анархистом не буду.

Другой, недоучившийся студент-медик, говорил, что у него не было ни копейки, а в отряде «Буря» обещали платить жалованье, вот он и пошел.

Иначе держались на допросах матерые уголовники. Те всячески изворачивались, лгали, пытались выдать себя за настоящих анархистов, идейных врагов старого строя. Однако тут же обнаруживали свою чудовищную политическую неграмотность.

Чтобы как можно полнее выявить затесавшихся в анархистские отряды бандитов, громил и убийц, ВЧК 13 апреля 1918 года опубликовала в газетах следующее сообщение:

«От Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией при Совете Народных Комиссаров.

Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией при Совете Народных Комиссаров приглашает всех граждан, пострадавших от вооруженных ограблений, явиться в уголовно-розыскную милицию (3-й Знаменский переулок) для опознания грабителей, задержанных при разоружении анархистских групп, в течение 3 дней от 12 ч. до 2 ч., считая первым днем 13 апреля.

Председатель Комиссии *Дзержинский*».

Мне пришлось провозиться с анархистами около суток. За это время списки задержанных были составлены, предварительная проверка и опросы проведены, и в течение 13 апреля я постепенно передал всех арестованных московской милиции. С анархистскими бандами и отрядами, с бесчинствами и самоуправством анархистов в Москве было покончено раз и навсегда.

Меньшевистская конференция

После разгрома анархистов крупных операций в Москве некоторое время не проводилось, меня почти не отвлекали от моих текущих дел, и все свое время я посвящал организации охраны Кремля. Разве что приходилось иногда выделять людей на облавы, на проведение обысков и арестов. Обычно в таких случаях я посылал группы латышских стрелков под руководством кого-либо из командиров. Самому приходилось ездить лишь иногда, когда дело шло о ликвидации контрреволюционных групп или организаций, враждебных Советской власти, а не о простом бандитизме.

Как-то летом, месяца два-три спустя после разгрома анархистских гнезд, вызвал меня Аванесов.

Было уже далеко за полночь. Варлам Александрович только что вернулся из ВЧК.

— Держи, — протянул он мне узкую полоску бумаги, едва я вошел. Там был написан какой-то адрес: один из переулков в районе Арбата.

Я с недоумением посмотрел на Варлама Александровича. Он не спеша достал папиросу, закурил, сделал несколько глубоких затяжек и продолжал:

— По этому адресу собираются меньшевики. Нелегальное совещание, вроде съезда. Обсуждают, как свергнуть Советскую власть. Спелись с белогвардейцами. Всех участников этого собрания надо арестовать.

Я поднялся.

— Хорошо. Через десять, самое большее через пятнадцать минут выеду...

— Стой, стой, — перебил меня Варлам Александрович. — Как раз сейчас-то ехать и не к чему. Меньшевики, как ты знаешь, народ интеллигентный. По ночам они спят, и никого ты там в такое время не застанешь. Ехать надо днем, не раньше одиннадцати, вот тогда все и будут на месте, в полном сборе.

На следующее утро я посадил в грузовик пятнадцать латышских стрелков и отправился по адресу, который вручил мне Варлам Александрович. Аванесов сказал, что в заседаниях меньшевистского «съезда» участвуют человек двадцать — тридцать, и я рассудил, что пятнадцати стрелков хватит за глаза. Меньшевики не анархисты, они только говорить мастера.

Оставив машину в начале переулка, мы разыскали нужный нам дом, Меньшевистский «съезд» заседал во флигеле, во дворе.

Рассыпавшись в цепь, латыши мгновенно окружили флигель, а я с двумя стрелками направился внутрь.

Прямо от наружной двери начиналась небольшая лесенка, которая вела вниз, в полуподвальное помещение. В конце лестницы — другая дверь, из-за нее доносились громкие, возбужденные голоса.

«Тоже мне, конспираторы!» — мелькнула мысль.

Рывком я распахнул дверь настежь. Перед нами был сравнительно просторный зал, сплошь заставленный стульями, В дальнем конце стоял стол, покрытый красным сукном. Президиум. На столе — графин с водой, стакан, одним словом, все как полагается. Половина стульев в зале была пуста, другую половину занимали преимущественно пожилые, в большинстве прилично одетые люди. Лишь двое-трое походили своим обликом на рабочих.

Отстранив плечом какого-то парня, притулившегося возле двери, я шагнул в комнату. Все, кто там был, так и замерли, с ужасом воззрясь на мою матросскую форму. Оратор застыл возле стола президиума, забыв закрыть рот.

Несмотря на серьезность момента, я не мог удержаться от улыбки.

— Эх вы, деятели! Хоть бы охрану, что ли, выставили. Ну, ладно. Руки вверх, да поживее! Вы арестованы.

Раздались возгласы протеста:

— Это насилие!

— Вы не имеете права!

— Завтра же о вашем произволе узнает весь рабочий класс...

— Мировая демократия...

Руки, однако, подняли все, продолжая выкрикивать бессвязные угрозы и проклятия по адресу большевиков.

Не обращая внимания на поднятый шум, я не спеша прошел к столу президиума, взял с него папку с бумагами, сложил туда с десятка разбросанных по скатерти записок и велел арестованным выходить во двор. Они поспешно повскакали с мест и, толкая друг друга, кинулись к двери.

Пришлось их одернуть:

— Тихо, тихо. Выходите по одному. Успеете!..

Вставшие в дверях латыши бегло обыскивали выходивших из зала меньшевиков, а во дворе уже тарахтел мотор подошедшего грузовика. Протестуя и возмущаясь, меньшевики взбирались на грузовик. Латыши молча и не очень почтительно подсаживали тех, кто медлил.

Через несколько минут посадка была закончена, и грузовик тронулся. Мы отвезли меньшевиков прямо на Лубянку, где и сдали дежурному по ВЧК. Захваченные во флигеле бумаги я занес Феликсу Эдмундовичу. Он хохотал до слез, когда я ему рассказывал о «героическом» поведении меньшевиков в момент ареста.

Ликвидация мятежа левых эсеров

Далеко не все операции проходили так легко и гладко, как арест меньшевистского «съезда». Но ни одна самая серьезная, самая сложная операция не была сопряжена с такими трудностями, не приносила столько тревог и волнений, как ликвидация левозэсеровского мятежа.

Это и понятно. Левые эсеры не только готовили заговор, не только замыслили контрреволюционный переворот. Они выступили против Советского правительства, подняли вооруженный мятеж, и, если бы не решительные действия ни на минуту не дрогнувшей Советской власти, сумевшей подавить мятеж в самом начале, последствия левозэсеровской авантюры могли бы быть весьма тяжелыми.

В Октябрьские дни 1917 года левые эсеры выступали за Советскую власть. На II, III, IV, V Всероссийских съездах Советов представители левых эсеров составляли около трети делегатов съездов. Среди членов Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, избиравшегося II, III и IV съездами Советов, также около трети было левых эсеров.

Вскоре после Октября представители левых эсеров вошли в состав Советского правительства, некоторые из них заняли посты наркомов и заместителей наркомов, даже в ВЧК заместителем Дзержинского был левый эсер Александрович, да и в аппарате ВЧК были левые эсеры.

Вплоть до июля 1918 года, несмотря на серьезнейшие разногласия с большевиками, левые эсеры не порывали открыто с Советской властью, оставались на руководящих постах в ряде советских учреждений. Однако по мере укрепления советского строя разногласия между большевиками и левыми эсерами, отражавшими настроения зажиточной части крестьянства, все более и более обострялись.

Уже с марта 1918 года, с момента заключения Брестского мира, борьба между большевиками и левыми эсерами приняла самый острый характер. Левые эсеры выступали непримиримыми противниками мира, подвергали отчаянным нападкам мирную политику большевиков, упорно отстаивали авантюристскую, гибельную для дела революции политику продолжения войны с Германией. Когда вопреки ожесточенному сопротивлению левых эсеров и «левых коммунистов», разделявших одну и ту же точку зрения в вопросе о войне и мире, ВЦИК и Совнарком приняли решение о заключении мирного договора с Германией, а чрезвычайный IV Всероссийский съезд Советов это решение утвердил, левые эсеры оставили правительственные посты и вышли из состава Совнаркома{6}.

Борьба левых эсеров против большевиков стала принимать все более ожесточенный и открытый характер с весны 1918 года по мере распространения социалистической революции в деревне и перехода нашей партии и Советской власти в наступление на кулачество. Наряду с беспрестанными выступлениями во ВЦИК, в печати, на митингах и собраниях против политики большевистской партии левые эсеры начали тайком, за спиной у Советской власти, готовить контрреволюционный мятеж.

В середине июня 1918 года Центральный комитет левых эсеров принял на нелегальном заседании решение свергнуть Советское правительство и захватить власть в свои руки. Подготовка вооруженного мятежа пошла полным ходом.

Левые эсеры решили приурочить мятеж к V Всероссийскому съезду Советов. Они намеревались захватить президиум съезда, арестовать Ленина, Свердлова и других членов ЦК большевиков, обезглавить Советское правительство, взять власть в свои руки и возобновить войну с Германией. Сигналом к выступлению должно было послужить убийство германского посла в Москве графа Мирбаха.

К началу мятежа левые эсеры располагали в Москве довольно солидной военной силой. Во главе находившегося в Москве отряда ВЧК стоял левый эсер Попов, активный участник подготавливаемого мятежа. В отряд Попов подбирал либо своих сторонников, на которых мог

целиком положиться, либо деклассированные, полубандитские элементы, вроде совершенно разложившихся и опустившихся бывших матросов Черноморского флота, готовых за стакан спирта и пару новых сапог впутаться в любую авантюру. Отряд Попова и должен был, по замыслу мятежников, явиться их основной ударной силой.

V Всероссийский съезд Советов открылся 4 июля 1918 года в Большом театре. С момента открытия съезда левые эсеры повели дело к разрыву с большевиками. Они устраивали бесконечные обструкции, прерывали большевистских ораторов оскорбительными репликами. Я присутствовал на первых заседаниях съезда и видел, что там творилось. Левые эсеры вели себя настолько нагло, что только исключительная выдержка большевистской части президиума съезда, самообладание председательствовавшего Якова Михайловича сдерживали кипевшие страсти, каждую минуту грозившие взрывом. «Правда» 5 июля писала: «Эсеры вели себя, как заправские деревенские горлопаны на сельских сходах. Они так кричали, стучали, неистовствовали, что порой казалось, что их большинство... Их бессильная злоба на силу и влияние большевиков выливалась порой в форму грубых мелочных выходок. Тов. Свердлов не раз просил их выражать свои чувства членораздельно».

В конце первого дня работы съезда левые эсеры дошли до того, что после очередной обструкции демонстративно покинули зал заседания. Мы, большевики, встретили их уход шумными аплодисментами. Яков Михайлович поднялся со своего председательского места и спокойно, чуть торжественно провозгласил: «Фракция левых социалистов-революционеров покинула зал заседания, заседание Всероссийского съезда Советов продолжается!» — и повел заседание дальше.

На следующий день, 5 июля, левые эсеры вернулись на съезд, но вели себя еще хуже, еще более вызывающе, чем прежде. Можно было предполагать, что они готовят новые провокации, замышляют что-то против большевиков.

Комендантом Большого театра был Стрижак, однако в организации охраны съезда и я принимал самое активное участие.

По распоряжению Якова Михайловича на все наиболее важные посты внутри театра были выставлены латышские стрелки из охраны Кремля. Уже 4 июля Яков Михайлович меня предупредил, что надо быть начеку. От левых эсеров можно ожидать всяких пакостей. По его распоряжению были усилены наружные караулы и внутренние посты в Большом театре. Если бы левые эсеры попытались предпринять что-либо в самом зале заседания, как они вначале и намеревались, или напасть на театр извне, они получили бы самый сокрушительный отпор.

Мятеж начался 6 июля. В этот день, часов около трех, в германское посольство явились левые эсеры Блюмкин и Андреев, бывшие сотрудники ЧК. Предъявив подложное удостоверение, на котором была подделана подпись Дзержинского, Блюмкин добился личного свидания с германским послом Мирбахом. Когда Мирбах вышел к нему, Блюмкин выхватил из портфеля пистолет и выстрелил в него, затем швырнул гранату, смертельно ранившую посла, и выскочил в окно. В переулке возле посольства убийц ожидал автомобиль, на котором они и удрали.

Получив сообщение о покушении на Мирбаха, Дзержинский немедленно выехал в германское посольство. Выяснив на месте, что преступление совершил Блюмкин, Феликс Эдмундович, связавшись предварительно с Владимиром Ильичем и Яковом Михайловичем, помчался к Покровским воротам, в Трехсвятительский переулок, где в роскошном особняке, принадлежавшем до революции крупнейшему русскому фабриканту Морозову, размещался штаб отряда Попова. Как и предполагал Дзержинский, именно здесь укрылся Блюмкин.

К моменту приезда Феликса Эдмундовича в морозовском особняке собрался почти весь ЦК левых эсеров. Тысячный отряд Попова был на ногах. Подбадривая себя спиртом, который по приказу Попова с утра выдавался без ограничения, мятежники готовились к выступлению. Дзержинского они встретили враждебно и, вместо того чтобы выдать Блюмкина, арестовали самого Феликса Эдмундовича и его спутников. Одновременно, воспользовавшись тем, что часть охраны ВЧК состояла из левых эсеров, мятежники захватили здание ВЧК, арестовали заместителя Дзержинского Лациса и отправили его под конвоем также в штаб отряда Попова.

От морозовского особняка, ставшего штабом мятежников, по ближайшим улицам и переулкам рассыпались патрули. Поднялась бессмысленная стрельба, пугавшая случайных прохожих.

Пользуясь внезапностью выступления, мятежники начали хватать советских работников, случайно оказавшихся в районе Покровских ворот. Был арестован председатель Московского Совета Смидович и еще несколько ответственных товарищей. Обманным путем левые эсеры захватили Центральный телеграф и поспешили разослать повсюду телеграммы, что власть перешла к их партии и все приказы и распоряжения за подписями Ленина или Свердлова отныне не действительны. Пока разворачивались все эти события, ничего не подозревавшие делегаты V съезда Советов собрались в Большом театре и недоумевали, почему так долго не открывается очередное заседание съезда.

Заседание, однако, так и не началось. Вместо пленарного заседания внезапно было назначено совещание фракций.

Все члены фракции левых эсеров были тут же, в Большом театре, задержаны и взяты под стражу, чтобы воспрепятствовать тем из них, кто был связан с мятежниками, принять участие в вооруженной борьбе против Советской власти.

Члены большевистской фракции съезда, заслушав краткую информацию о последних событиях, разошлись, не теряя времени, по районам, фабрикам и заводам, вокзалам и воинским частям в качестве политических комиссаров и агитаторов. Но агитировать им никого не понадобилось. Пролетарии Москвы и солдаты Московского гарнизона с негодованием встретили весть о левоэсеровском мятеже и дружно поднялись на защиту Советской власти, Советского правительства.

Я пришел в Большой театр часа в два пополудни. Проверил посты, на которых стояли латышские стрелки, и стал ожидать начала заседания. Как и другие, я недоумевал, почему оно запаздывает.

Прошел час, второй. Вдруг, когда часовая стрелка подползала уже к четырем, ко мне подбежал запыхавшийся Стрижак:

— Павел Дмитриевич, только что звонил Яков Михайлович и велел тебе немедленно явиться в Кремль, прямо к нему.

Через пять минут я был уже в Кремле, благо машина стояла наготове.

Якова Михайловича в его кабинете я не застал. Мне сказали, что он у Ильича, и велели идти туда же. Из отрывочных фраз, которыми я успел на ходу обменяться со встречаемыми сотрудниками ВЦИК и Совнаркома, мне стало ясно, что левые эсеры подняли мятеж.

Я прошел в кабинет Ильича через аппаратную и остановился возле притолоки. В кабинете находились Ленин, Свердлов и Лашевич, один из военных работников, которого я знал еще по Питеру. Они оживленно обсуждали первоочередные мероприятия по ликвидации левоэсеровского мятежа. Поскольку в самом городе почти никаких войск в этот момент не было — все находилось в летних лагерях, — было решено, как я понял, вызвать воинские части и артиллерию с Ходынки, двинуть латышских стрелкой из Кремля, оцепить район действий мятежников и разгромить отряд Попова. Одновременно поднять на ноги все районы города. Командование вооруженными силами, которые будут брошены против мятежников, решили возложить на Николая Ильича Подвойского, только что вернувшегося с фронта.

Все делалось удивительно быстро, четко, слаженно. Владимир Ильич и Яков Михайлович тут же на листках блокнотов писали телефонограммы, распоряжения, приказы.

Заметив меня, Ильич приветливо кивнул и вновь повернулся к Якову Михайловичу и Лашевичу, сидевшим напротив, продолжая быстро, уверенно говорить. Лашевич, нагнувшись к столу, что-то усердно строчил в своей полевой записной книжке.

Так прошло несколько минут. Ильич кончил, они обменялись с Яковом Михайловичем короткими, быстрыми репликами, и Свердлов обратился ко мне:

— Вы в курсе дела? Знаете о мятеже?

— Знаю.

— Тем лучше. Надо немедленно усилить охрану Кремля. Мятежники могут предпринять попытку штурма, пока не подошли войска. Все приведите в боевую готовность, выставьте дополнительные посты, установите на стенах пулеметы.

— Слушаю, Яков Михайлович.

— Впускать в Кремль только те машины, — вмешался Владимир Ильич, — которые будут иметь пропуска за моей личной подписью или подписью Якова Михайловича, все остальные задерживать.

— Слушаю, Владимир Ильич.

— Да, — продолжал Яков Михайлович, — посмотрите, сколько человек сможете выделить в распоряжение Подвойского. Это необходимо.

— Выделите всех, кого можно, — подчеркнул Владимир Ильич. — Резерв оставьте самый минимальный. Все ясно?

— Ясно, Владимир Ильич.

— Тогда действуйте, товарищ Мальков, действуйте. А если что случится серьезное, немедленно докладывайте мне, прямо мне.

Я вышел из кабинета Ильича. Через пять минут гарнизон Кремля был поднят по боевой тревоге. Латыши бегом катили на Кремлевские степы пулеметы, занимали посты. На площади против Совнаркома строился отряд, выделенный в распоряжение Подвойского. Кремль насторожился, ошестинился штыками, уставился грозными дулами пулеметов на прилегающие улицы, площади, скверы.

Между тем Владимир Ильич и Яков Михайлович отправились вдвоем в германское посольство, чтобы выразить соболезнование в связи с гибелью посла. Вернулись сердитые, недовольные. Процедура, конечно, была не из приятных, но они пошли на этот визит, стремясь сгладить последствия левозсеровской провокации.

Ночь прошла тревожно. Подвойский стягивал к району Покровских ворот войска, охватывая морозовский особняк широким плотным кольцом. По Маросейке, Ильинке, Солянке с грохотом катились артиллерийские орудия.

Всю ночь от передвигавшихся войск, из районов города поступали донесения. Левых эсеров выбили из ЧК, из Центрального телеграфа. Среди ночи ко мне привели левозсеровского комиссара телеграфа, у которого мы обнаружили копию пресловутой телеграммы: «Приказов Ленина и Свердлова не исполнять».

Я пошел с этой бумажкой к Ильичу. Всю ночь Владимир Ильич не смыкал глаз, всю ночь в его кабинете кипела напряженная работа.

Прочитав копию телеграммы, Владимир Ильич протянул ее Якову Михайловичу, находившемуся здесь же:

— Полюбуйтесь, какая самоуверенность, какая наглость. Да, да, наглость!

С утра наши части перешли в наступление. Загрохотала артиллерия. Снаряды начали рваться во дворе морозовского особняка. При первых же разрывах среди мятежников поднялся неимоверный переполох. В штаб наступающих войск отправилась делегация с сообщением, что мятежники готовы сдаться на определенных условиях.

— С предателями Советской России ни в какие переговоры не вступаем, — ответил Подвойский. — Условие одно: безоговорочная капитуляция, немедленное освобождение Дзержинского, Лациса, Смидовича и других товарищей. Все!

Делегаты вернулись в штаб мятежников ни с чем. Особняк пустел с каждой минутой. Первыми бросились наутек члены ЦК левых эсеров. В одиночку и группами бежали ближайшие сотрудники Попова, бежали рядовые бойцы поповского отряда. Сопротивление продолжали только отдельные кучки поповцев, укрепившихся на дальних подступах к особняку.

Феликс Эдмундович бросал вслед бегущим слова, полные гнева и глубокого презрения. Кто-то из главарей мятежников, пробегая мимо помещения, куда после начала обстрела были переведены арестованные, крикнул:

— Расстрелять!

Поповцы, охранявшие Дзержинского, Лациса и других большевиков, схватились за винтовки и повернули дула против того, кто отдал эту команду. Прислушиваясь к словам Дзержинского, рядовые бойцы отряда Попова все отчетливее понимали, в какую подлую, бесчестную авантюру их втянули. Они продолжали охранять Феликса Эдмундовича, охраняли еще тщательнее, чем вначале, но теперь уже охраняли его от собственных главарей, взяв на себя заботу о его безопасности.

К полудню сопротивление мятежников было окончательно сломлено. Последние группы складывали оружие. Во двор особняка ворвался патруль красноармейцев. Навстречу вышли Дзержинский, Лацис, Смидович и другие большевики, ведя за собою собственных сторожей, добровольно сдавшихся своим пленным. Мятеж левых эсеров был ликвидирован.

Остатки отряда Попова в поисках убежища рассыпались по всей Москве. Большая группа поповцев кинулась было на грузовиках к Курскому вокзалу, но встретив отпор, прорвалась на Владимирское шоссе и ударилась в бегство.

Поскольку опасаться за Кремль больше было нечего, я получил приказ отменить усиленные посты и принять непосредственное участие в поимке разбегавшихся мятежников. Вдогонку мятежникам я послал по Владимирскому шоссе отряд латышских стрелков на двух грузовиках, а сам с небольшой группой латышей пустился в погоню на паровозе.

Мы настигли бежавших километрах в тридцати — сорока от Москвы, остановили паровоз и бросились наперерез мятежникам. Завязалась короткая перестрелка. Мятежников было вдесятеро больше нас, но действовали они крайне нерешительно, а тут подоспели на грузовиках латышские стрелки, и мятежники сразу сложили оружие.

В Кремль я вернулся к вечеру и тут же отправился к Владимиру Ильичу доложить о результатах операции. Он выслушал мой доклад внимательно, но как-то спокойно, без особого интереса. Было очевидно, что для него левоэсеровский мятеж — уже прошлое, пройденный этап, что все его думы, помыслы устремлены вперед, в завтрашний день. Если что его и интересовало в связи с мятежом, то только вопрос о том, как дальше будут вести себя вожаки левых эсеров, выступившие с оружием в руках против Советской власти.

— Да, вот что, — заметил как бы между прочим Владимир Ильич, когда я закончил доклад. — Спиридонова и Саблин задержаны в Большом театре вместе со всей фракцией левых эсеров. Остальных членов фракции мы, по-видимому, отпустим, а их придется арестовать и судить. Так вы заберите-ка их обоих в Кремль и держите пока здесь, так будет надежнее.

— Охрану, конечно, организуйте, какую полагается, — добавил вошедший в кабинет Яков Михайлович, — но стеснять их особо не стесняйте. Обеспечьте книги, питание, прогулки. Разрешите передачи, но принимайте сами. За Спиридоновой вообще наблюдайте повнимательнее. Она превосходный агитатор, да и конспиратор неплохой, кого хочешь вокруг пальца обведет, учтите.

В тот же вечер я отправился в Большой театр и привез Спиридонову и Саблина в Кремль. Поместил я их в отдельных комнатах, в пустовавшем тогда так называемом Чугунном коридоре, приставив надежных часовых.

Первые дни ни от Спиридоновой, ни от Саблина никаких неприятностей не было, но уже через неделю-две Спиридонова начала всякие фокусы. Вот уж неугомонная была женщина! Да и друзья ее на воле никак не хотели успокоиться.

Прошли считанные дни после водворения Спиридоновой и Саблина в Кремль, как к Троицким воротам явилась какая-то пожилая интеллигентная женщина и заявила, что ей необходимо видеть коменданта. Все вопросы дежурного по Троицкой будке она оставляла без ответа, твердя одно; не уйду, пока не приведете коменданта.

Дежурный позвонил мне по телефону, и я велел пропустить настойчивую посетительницу ко мне в комендатуру.

Убедившись, что перед ней комендант Кремля, посетительница, назвавшаяся Сидоровой, заявила, что она близкая родственница Спиридоновой, и потребовала, чтобы ей разрешили передать Спиридоновой продукты.

— Маруся больна, серьезно больна, — упорно твердила Сидорова, — ей необходимо усиленное питание, которого вы обеспечить не сможете.

— А откуда вы знаете, — перебил я ее, — как питается у нас Спиридонова? Быть может, лучше, чем на воле.

Сидорова отрицательно покачала головой:

— Нет, нет, как кормила ее я, вы кормить не будете.

Поскольку было указание принимать передачи, я обещал Сидоровой удовлетворить ее просьбу, хотя настойчивость странной посетительницы и показалась мне несколько подозрительной.

На следующий день Сидорова явилась ровно в назначенное время с небольшим свертком продуктов.

— Вы извините, — встретил я Сидорову, — но я вынужден проверить, что вы принесли. Уж такой у нас порядок.

— Ах, боже, да делайте что угодно, — устало ответила Сидорова, — только бы продукты были переданы Марусе.

— Об этом не беспокойтесь. Себе не возьму.

Сидорова спокойно, не спеша развернула сверток. Однако — или это мне показалось? — руки у нее при этом немного дрожали.

Бегло, для виду, осмотрев продукты, я еще раз извинился и заверил Сидорову, что сегодня же все будет передано Спиридоновой.

Как только посетительница ушла, я вновь принялся за сверток. Бережно развернув бумагу, я аккуратно разложил содержимое свертка на своем письменном столе и тщательно все осмотрел. Мое внимание привлекли папиросы. Ведь Спиридонова не курит. Очевидно, угощать часовых!

Я вскрыл коробку и высыпал все до единой папиросы на стол. Взял первую, тщательно осмотрел ее, заглянул внутрь мундштука, осторожно помял мундштук между пальцев.

Папироса была обычная, ничего подозрительного. Взял вторую, третью, пятую, десятую. Все как будто в порядке. Кучка папирос на столе таяла, постепенно переключиваясь обратно в коробку. Вдруг я обнаружил, что мундштук одной из папирос на ощупь тверже, плотнее, чем у других. Ага, так и есть. Внутри мундштука аккуратно вставлена скатанная трубочкой папиросная бумага. Я взял булавку и осторожно извлек записку. Так вот почему Сидорова так заботилась о здоровье и питании дорогой ей Маруси!

Я тут же позвонил Дзержинскому и доложил о своей находке. Феликс Эдмундович велел все продукты и папиросы передать Спиридоновой, а записку немедленно привезти ему в ВЧК.

Когда я приехал к Феликсу Эдмундовичу, он принялся меня расспрашивать о Сидоровой. К сожалению, я мало что мог сказать. Ни адреса ее, ни места работы я не знал, одни внешние приметы. Сама она о себе ничего не говорила, кроме того, что является родственницей Спиридоновой, а расспрашивать я считал неуместным.

Феликса Эдмундовича моя неосведомленность огорчила мало. Он даже был доволен, что я не задавал Сидоровой лишних вопросов. — Хорошо. Значит, не спугнул.

Больше всего интересовало Дзержинского, явится ли Сидорова еще, будет ли дальше носить передачи.

Я был уверен, что явится. Так мы с ней условились. Она хотела прийти даже на следующий день, но я ей сказал, что принимать передачи так часто не могу, и просил быть дней через пять.

— Вот и хорошо, — сказал Феликс Эдмундович. — Сделаем так. Когда она придет в Троицкую будку и позвонит насчет пропуска, ты ее пропусти, а сам тут же позвони мне. Принимать ее сразу не принимай, а поддержи минут двадцать — двадцать пять в комнате дежурного, этого будет достаточно. Извинись, конечно. Скажи, что очень занят. Совещание там какое-нибудь у себя устрой или что-либо в этом роде, чтобы она видела, что ты действительно занят. Одним словом, что-нибудь придумай. Ясно?

— Ясно.

— Теперь насчет продуктов. Все проделай точно так же, как и в первый раз. Смотри, чтобы не обнаружить что-нибудь при ней, в ее присутствии. Продукты прими, условься о следующей встрече и отпусти ее с миром. Да! Не вздумай пойти на уступки, не разрешай приходить чаще, чем в первый раз. Это может ее насторожить.

Возвращаясь от Феликса Эдмундовича, я думал об одном: «Только бы не подвела Сидорова, только бы пришла!»

Наконец назначенный день наступил. Прошло утро, миновал полдень, Сидоровой не было. День кончился, наступила ночь. Ждать дальше не имело смысла. Итак, Сидорова не пришла. Придет ли вообще?

Феликс Эдмундович трижды звонил, спрашивал. Он был, казалось, расстроен не меньше моего, однако успокаивал меня: ничего, мол, посмотрим, что будет завтра. Но ни завтра, ни послезавтра Сидорова не появилась. Я потерял всякую надежду. Не справлялся больше и Феликс Эдмундович. Прошло три дня. Все, казалось, было кончено, ниточка оборвалась, как вдруг раздался звонок:

— Товарищ комендант, дежурный бюро пропусков. К вам гражданка Сидорова.

— Сидорова! Пришла таки...

Я велел выдать ей пропуск и тотчас позвонил Феликсу Эдмундовичу:

— Пришла! Получает пропуск.

— Пришла? Ну, действуй, как условились. Я немедленно вызвал своих помощников и устроил им длинный, нудный «разнос» по поводу всяких мелких неполадок, которые всегда случались. Сидоровой волей-неволей пришлось с полчаса просидеть у дежурного.

Окончив «совещание», я пригласил Сидорову, извинившись, что задержал ее. В руках у нее был очередной сверток.

— Что ж это вы,— спросил я самым безразличным тоном, — не пришли в тот день, как мы условились?

— Ах, вы даже запомнили, на какое число назначили мне прийти? Это очень, очень любезно с вашей стороны.

Рассыпаясь в изъяснениях благодарности, Сидорова искоса внимательно посматривала на меня: придаю ли я значение тому, что она, рядовой и довольно надоедливый проситель, не явилась в условленное время.

Как мог равнодушнее, я заметил:

— Да нет, точно не запомнил, но мне казалось, что мы условились на вчерашний или позавчерашний день. Впрочем, это и не важно.

Давайте-ка ваш сверток.

Повторилась точно такая же процедура, как и в прошлый раз. Опять беглый осмотр в присутствии Сидоровой и тщательное исследование после ее ухода, опять записка, только теперь скатанная в маленький комочек, в мякише белого хлеба.

Передавая эту записку Феликсу Эдмундовичу, я не утерпел:

— Ну, как?

— Ты насчет своей Сидоровой? — Феликс Эдмундович устало, сдержанно улыбнулся. — Не беспокойся, все в порядке. Кстати, когда ты назначил ей прийти в следующий раз?

— Дней через пять — семь.

— Через пять — семь? Отлично.

На этот раз Сидорова явилась аккуратно в назначенный день. Сомнений не было: в прошлый раз она опоздала умышленно и проверяла, как я буду реагировать на это опоздание.

Прошло около месяца. Сидорова по-прежнему регулярно появлялась у меня в комендатуре со свертками продуктов — для Спиридоновой, и каждый раз то в котлетах, то в хлебе, то в папиросах я обнаруживал искусно заделанные крохотные клочки папиросной бумаги, исписанные мелким, бисерным почерком.

Ни одна из записок до Спиридоновой не дошла. Я аккуратно их изымал и передавал Дзержинскому. С содержанием записок я никогда не знакомился, не мое это было дело.

Однажды, когда я вручил Феликсу Эдмундовичу очередную записку, он сказал:

— Знаешь, между прочим, твоя «Сидорова»-то вовсе и не Сидорова. Это старая эсерка, опытный конспиратор, связник подпольной эсеровской организации. Затевают они побег Спиридоновой, так что будь начеку. Одно их беспокоит — почему Спиридонова молчит, не отвечает на их послания.

— Ну, что «Сидорова» не Сидорова и никакая не родственница Спиридоновой, это, Феликс Эдмундович, я предполагал с самого начала, а насчет остального, конечно, не знал. Только как же теперь быть с записками, если эсеры что-то пронюхали или заподозрили?

— О записках не беспокойся. «Сидорова» явится к тебе еще один раз, и все. Хватит.

Больше ты ее не увидишь...

Действительно, передав еще один сверток, «Сидорова» исчезла. Больше я ее не видел. Попытки эсеровского подполья наладить через «Сидорову» связь со Спиридоновой принесли пользу только нам, помогли разоблачить и ликвидировать нелегальную эсеровскую организацию.

Между тем и сама Спиридонова не сидела сложа руки. Чуть не с первых дней пребывания под стражей она принялась обрабатывать охрану. На что латыши народ кремневый, и то кое-кто поддавался ее искусной агитации. Мне постоянно приходилось менять часовых, охранявших Спиридонову.

Сама Спиридонова была упряма и самолюбива, никого не хотела слушать. В начале сентября явились ко мне бывшие члены ЦК левых эсеров Устинов и Колегаев и предъявили записку:

«Коменданту Кремля. Допустить тт. Устинова на свидание со Спиридоновой и Саблиным. Я. Свердлов».

Ни Устинов, ни Колегаев никакого отношения к левозэсеровской аванюре не имели. Подготовка к мятежу велась без их ведома, как без ведома и еще ряда левых эсеров, которых уже тогда Спиридонова, Камков, Карелин и прочие левозэсеровские главари считали слишком «обольшевичившимися».

В дни мятежа значительная группа левых эсеров во главе с Устиновым и Колегаевым решительно выступила против левозэсеровского ЦК, резко его осудила и полностью порвала с левыми эсерами. В дальнейшем большинство из них вошло в нашу партию.

Устинов и Колегаев пытались переубедить Спиридонову и Саблина, указывали на гибельность и безнадежность левозэсеровской политики, на преступность затевавшейся ими авантюры.

С Саблиным они быстро нашли общий язык. Вообще-то говоря, Саблин был по натуре не плохим парнем — пылким, непосредственным, хотя и ввязался в левозэсеровскую авантюру и даже играл активную роль в мятеже. Ему было всего 25–26 лет, не больше. Он потом пересмотрел свои позиции и перешел к нам. В годы гражданской войны сражался в рядах Красной Армии, командовал дивизией. Рассказывали, воевал неплохо.

Не такой была Спиридонова. Устинова и Колегаева она и слушать не хотела. Наоборот, после каждого их посещения Спиридонова накидывалась на охрану с новой энергией, подбивая часовых устроить ей побег или хотя бы передать письмо ее сообщникам.

Особенно усилился натиск Спиридоновой с конца сентября, когда на смену сдержанным, неразговорчивым латышам на охрану Кремля пришли общительные, задорные курсанты.

Наряд часовых для охраны Спиридоновой из числа курсантов я подбирал сам, брал только коммунистов, бывших рабочих и лично всех инструктировал. Подчеркнув лишний раз, что представляет собой Спиридонова, какой вред она принесла Советской власти, несмотря на свое революционное прошлое, я предупредил часовых, что она будет пытаться их обрабатывать, и строго-настрого приказал докладывать мне обо всем, что вызовет подозрение.

Прошло несколько дней, и в комендатуру явился один из часовых, молодой интеллигентный парень, бывший питерский металлист, видом напоминавший сельского учителя.

— Товарищ комендант! Переведите вы меня на другой пост, замучила, проклятая!

Спиридонова, оказывается, облюбовала несчастного парня и повела на него сокрушительные атаки. Стоило ему встать на пост, как она приоткрывала дверь и начинала его агитировать.

Принимая его за интеллигента из крестьян (чего он не опровергал), Спиридонова всячески порочила Советское правительство и большевиков, якобы ввергающих крестьянство в пучину бедствий, и каждый разговор заканчивала требованием, чтобы он помог ей «вернуться к революционной борьбе», установить связь с «подлинными революционерами», то бишь с эсерами.

Пока часовой рассказывал, у меня созрел план. Я его перебил:

— Знаешь что? Раз она так пристает, соглашайся.

Часовой опешил:

— Как соглашаться? Вы шутите?!

— Вовсе не шучу. Соглашайся, брат, соглашайся! Не сразу, конечно, а постепенно. Спиридонова — стреляный воробей, на мякине ее не проведешь. Заявишь себя сразу ее сторонником — не поверит, замолчит. А ты так; сделай вид, что поддаешься ее агитации, уступаешь. Попросит передать письмо — согласи по началу не давай. Боязно, мол, опасно. А там — махни рукой: ладно, была не была, попробую! Понял? Тут вести себя тонко придется. Сумеешь?

— Суметь-то сумею, только прок какой?

— А такой: начнет Спиридонова давать тебе поручения, значит, назовет своих сообщников.

Понял? Часовой оказался парнем сообразительным, смелым и расторопным. Мысль повернуть против Спиридоновой и ее сообщников то самое оружие, которым она хотела бороться против Советской власти, его увлекла, и, поразмыслив, он с охотой взялся выполнить мое поручение.

— Хорошо, — закончил я разговор, — так и договоримся. Только первое — молчок. Никому ни слова. Второе — пока ничего не предпринимай, жди дополнительных распоряжений. Отпустив часового, я поехал к Феликсу Эдмундовичу и все ему рассказал. Он одобрил мой план, и на следующий день я вызвал часового и дал ему указание приступить к действиям.

С самого начала все пошло как по маслу. Самовлюбленная, истеричная Спиридонова сама верила в силу своей агитации и ничуть не удивилась, что «наивный сельский учитель», «случайно попавший» в большевистские часовые, начал быстро ей поддаваться.

Очень скоро торжествующий часовой явился ко мне с письмом, вернее — короткой запиской, написанной Спиридоновой. Сама по себе записка интереса не представляла, но, вручая ее часовому, Спиридонова указала адрес конспиративной квартиры левых эсеров, куда следовало отнести записку, и назвала пароль. А это уже кое-чего стоило.

Феликс Эдмундович, выслушав с интересом мой доклад, задумался.

— Что же, товарищ Мальков. Начнем, пожалуй, игру.

Он велел немедленно сфотографировать записку и вернул ее мне.

— Отдай часовому. Пусть идет по адресу и передаст записку. Может, получит и ответ. Посмотрим.

На следующий день я снова был у Дзержинского уже с ответной запиской, полученной часовым у эсеров. В тот же вечер часовой, заступив на пост, передал эту записку Спиридоновой.

Так и пошло. Часовой регулярно получал от Спиридоновой записки и так же регулярно приносил ей ответы, а ЧК получала обширную информацию о нелегальной деятельности эсеров.

Долго, однако, продолжаться это не могло. Рано или поздно эсеры заподозрили бы часового и попытались бы ему отомстить. Поэтому, когда, однажды явившись ко мне, часовой заявил, что он замечает со стороны эсеров недоверие, я решил, что пора кончать. Получив разрешение Феликса Эдмундовича, я через день перевел часового на другой пост. Игра была окончена. Очередная попытка Спиридоновой наладить конспиративную связь с эсеровским подпольем вновь обернулась против самих же эсеров.

Некоторое время спустя, в конце ноября 1918 года, организаторы и руководители контрреволюционного мятежа левых эсеров предстали перед судом Революционного трибунала. Главарь банды мятежников, поднявших оружие против Советской власти, Попов был объявлен врагом народа и приговорен к расстрелу. Камков, Карелин и прочие руководители мятежа получили различные сроки тюремного заключения. Учитывая прошлые заслуги Саблина и Спиридоновой перед революцией, трибунал счел возможным ограничить для них наказание одним годом тюрьмы каждому.

Конец заговора Локкарта

Было около часа ночи. Я сидел у себя в кабинете, в комендатуре Кремля, и старался вникнуть в накопившиеся за эти дни бумаги. Сосредоточиться, однако, никак не удавалось, и не потому, что шла вторая кряду бессонная ночь — это было не в диковинку, — но слишком сильно было потрясение от последних событий. Мысли невольно возвращались все к одному... Внезапно раздался резкий, пронзительный телефонный звонок. Я настолько глубоко задумался, что даже вздрогнул от неожиданности, поспешно хватая трубку.

— Мальков? — послышался глуховатый, неторопливый голос заместителя председателя ВЧК Петерса. — Приезжай сейчас в ЧК, ко мне. Есть срочное дело. Положив трубку, я пристегнул к ремню свой неизменный кольт, вызвал машину и, предупредив дежурного по комендатуре, что еду в ЧК, к Петерсу, вышел на улицу. Было еще по-летнему тепло. Высоко в небе мерцали звезды, из-за Кремлевской стены доносился чуть слышный шелест листвы деревьев в Александровском саду. Под сводами Троицких ворот привычно светила лампочка возле поста проверки пропусков, неярко горели уличные фонари. Свет виднелся и во многих окнах Потешного дворца, Кавалерского корпуса и других зданий, выходивших на Дворцовую улицу. Там, по-видимому, не спали. Над Кремлем нависла какая-то необычная, напряженная, тревожная тишина. Шла ночь с 31 августа на 1 сентября 1918 года...

Немногим более суток прошло с тех пор, как шофер Ленина — Гиль привез с завода Михельсона раненого Ильича. На нашу молодую, истекающую кровью Республику обрушился самый страшный, самый тяжелый удар...

Между тем положение в августовские дни 1918 года и без того было крайне тяжелым. Крым, Дон, Украина, северо-западные губернии России, Прибалтика были захвачены немецкими оккупантами. В Архангельске и Мурманске хозяйничали английские, французские и американские интервенты. Десятками и сотнями хватали коммунистов, рабочих, бросали их в тюрьмы, ставили к стенке. По Уралу и Сибири мутной волной катились белогвардейские восстания и белочешский мятеж. В руках белогвардейцев и контрреволюционных чехословацких частей оказались Уфа, Екатеринбург, Самара, Казань, Симбирск, Оренбург. Ожесточенная борьба развернулась и в нашем глубоком тылу, по всей территории Советской России. То тут, то там вспыхивали белогвардейско-эсеровские мятежи, горели продовольственные склады, взрывались железнодорожные мосты. От вражеских пуль пали в Петрограде Володарский и Урицкий. Под Балашовом был пущен под откос поезд Подвойского, и Николай Ильич уцелел чудом. Шпионаж, диверсия, вредительство, террор — все наиболее гнусные, отвратительные средства пустила в ход контрреволюция, стремясь задушить первое в мире государство рабочих и крестьян.

В борьбе против Советской власти русские белогвардейцы, меньшевики и эсеры объединились с немецкими, английскими, американскими, французскими, японскими империалистами. Самые подлые заговоры зарождались в тиши дипломатических кабинетов, вынашивались за стенами иностранных миссий. Сотрудники представительств бывших союзных держав России — Англии, Франции, США, — прикрываясь дипломатической неприкосновенностью, нагло вмешивались в наши внутренние дела, тратили миллионы на подкуп советских граждан в контрреволюционных целях, на организацию диверсий, шпионажа, террора.

Чтобы пресечь преступную деятельность белогвардейских, эсеровских и иных заговорщиков, надо было ответить ударом на удар, обезглавить и уничтожить заговорщические центры. Накануне злодейского покушения на Ленина, 24–26 августа 1918 года, в Москве была раскрыта крупная белогвардейская контрреволюционная организация и арестовано свыше ста заговорщиков. Был ликвидирован и ряд других организаций, помельче. Следствие показало, что нити почти всех заговоров тянутся в британскую, американскую и французскую миссии. В руки ВЧК поступил за последние дни и новый материал, полностью изобличивший некоторых из находившихся в Москве иностранных дипломатов в организации контрреволюционного заговора с целью свержения Советской власти.

Кое-что об этом заговоре я слышал уже до звонка Петерса, но ни подробностей, заговора, ни как он был раскрыт не знал. Все это мне стало известно несколько позже. Не знал я, когда ехал по вызову Петерса в ЧК в ночь с 31 августа на 1 сентября, также и о том, что принято решение о ликвидации заговора и об аресте его главарей.

Подъехав к зданию ВЧК, я велел шоферу ждать, а сам быстро взбежал наверх, в кабинет Петерса. Навстречу мне из-за стола поднялся высокий, худощавый латыш с широким скуластым лицом. Говорил Петере всегда не спеша, медленно, как бы с трудом подбирая каждое слово, с сильным латышским акцентом. Движения у него были тоже медлительные, скупые, зато спокойные и уверенные. И сейчас Петерс был нетороплив и немногословен.

— Поедешь брать Локкарта, — сказал он, — вот ордер. Ты ведь его знаешь, тебе и карты в руки. В помощь возьми одного чекиста и милиционера. Хватит?

Я ответил, что хватит.

— Учти, — продолжал Петере, — действовать надо решительно, но... культурно. Как-никак фактический глава британской миссии в России. Так что постарайся быть с ним повежливей, поделikatней. Однако обыск проводи как следует, а если попытается оказать сопротивление, ну, тогда...

— Да нет, — отвечаю, — Локкарта я знаю. Он сопротивляться не будет.

С минуту подумав, Петерс заметил:

— Сопротивляться Локкарт, пожалуй, действительно не будет. Не его это стиль, да и трусоват он к тому же. Корчит из себя этакого святошу, самую грязную часть работы перекладывает на своих помощников, чтобы у самого руки оставались чистыми. Однако предусмотреть надо все. Сам понимаешь.

Я, конечно, понимал Локкарт — не простой белогвардеец, эсер или бандит. Дипломат!

Взяв ордер, я вышел из кабинета Петерса. В приемной уже ожидал выделенный мне в помощь сотрудник оперативного отдела, крепкий, подтянутый чекист лет тридцати пяти — сорока, в штатском. Все в нем — чистый, опрятный, хоть и поношенный костюм, немного сдвинутая на затылок кепка, въевшаяся в кожу рук черная металлическая пыль, мозоли, чувствовавшиеся на его ладонях при крепком рукопожатии, — выдавало коренного рабочего, скорее всего токаря или слесаря, недавно оставившего станок.

Чтобы не терять времени попусту, я решил проинструктировать его в машине по дороге к Локкарту, и, обменявшись несколькими незначительными фразами, мы спустились вниз, вышли на улицу и сели в поджидавшую машину. Шофер, выбравшись из машины, достал из-под сиденья заводную рукоятку, повозившись с полминуты, приладил ее, несколько раз крутанул (стартеров тогда еще не было и в помине), и мотор заработал. Мы тронулись.

Локкарт жил в Хлебном переулке, в районе Поварской. Туда мы и направились. Миновав просторную Лубянскую площадь, машина помчалась вниз, пересекла Театральную площадь, Никитскую и свернула на Воздвиженку. Моховая, Воздвиженка, как и другие центральные улицы, уж не говоря об окраинах, еле освещались тусклыми фонарями, горевшими на большом отдалении друг от друга. Целые кварталы тонули в сплошном мраке. Желтые, дрожащие снопы света, бросаемые фарами нашей машины, вырывали из темноты то стены домов, то заколоченные витрины давно бездействовавших магазинов. Прохожих почти не попадалось.

Пока мы ехали через центр и по Воздвиженке, я успел вкратце посвятить своего спутника в существо предстоящей операции. Она не казалась мне сложной, поскольку с Локкартом я не раз ранее встречался, он знал меня, и я был уверен, что ни особого шума он не поднимет, ни скандала устраивать не будет. Вообще это был скорее интриган, способный исподтишка строить любые козни, науськивать других, но вряд ли пожелавший бы даже в случае крайней нужды рисковать собственной шкурой.

Впервые я встретился с Локкартом еще в Питере, в Смольном, в конце февраля 1918 года, как раз в те дни, когда немецкий генеральный штаб, нарушив перемирие с Советской Россией, двинул на нас свои войска. Ленин, Свердлов и некоторые другие члены ЦК потребовали принятия германских условий и немедленного заключения мира. Троцкий упорно возражал, выдвинув хитроумный лозунг, грозивший гибелью Советской Республике: войны не ведем, мира не подписываем. «Левые коммунисты» во главе с Бухариным оголтело требовали «революционной войны», кричали о недопустимости «переговоров с империалистами», ведя, по существу, дело к срыву заключения мира с Германией. Вот тут-то и появился в Смольном глава британской миссии в Советской России господин Локкарт.

Локкарт приехал в Россию в конце января 1918 года в качестве агента Британского правительства и фактического руководителя британской миссии взамен уехавшего незадолго до этого в Англию посла Великобритании в России Джорджа Бьюкенена. Английские дипломаты, как и дипломаты США и Франции, стремились всеми силами и средствами воспрепятствовать выходу Советской России из войны, помешать заключению Брестского мира. Они были не прочь сыграть на внутривластных разногласиях и использовать в своих интересах противников Брестского мира, среди которых одним из наиболее яростных был Троцкий. Сам Локкарт в своих мемуарах впоследствии писал: «Лондон неоднократно рекомендовал мне заняться исследованием вопроса о резких противоречиях между Лениным и Троцким, на которые наше правительство возлагало большие надежды».

Очевидно, с целью «расследования» и «использования» той политики, которую Троцкий и его сторонники пытались противопоставить Ленину, Локкарт накануне того, как ЦК должен был принять окончательное решение о Брестском мире, и явился в Смольный для личных переговоров с Троцким, занимавшим тогда пост Народного комиссара по иностранным делам.

Числа 23–24 февраля ко мне в комендантский отдел в Смольном часовые привели задержанного у входа высокого, худощавого иностранца, одетого в хорошо сшитую военную форму цвета хаки. Его внешнее спокойствие, военная выправка, сухое, энергичное лицо под густой шапкой темно-русых, зачесанных назад волос говорили, что человек это бывалый, хотя на вид ему и нельзя было дать более тридцати — тридцати пяти лет. По-русски он говорил совершенно свободно, без всякого акцента.

На мои вопросы, кто он такой, зачем сюда явился и откуда достал пропуск в Смольный, задержанный ответил, что он агент британского правительства, зовут его Локкарт, а явился он к «мистеру Троцкому», с которым предварительно сговорился по телефону и который «любезно предоставил» ему пропуск.

Я тут же позвонил «мистеру Троцкому», а тот, резко указав мне, что я не имел права задерживать «иностранного дипломата», велел немедленно провести Локкарта к нему. (Троцкий вообще говорил почти со всеми оскорбительно, свысока, по-барски. Впрочем, с Локкартом он был весьма любезен.) Сам я, конечно, Локкарта к Троцкому не повел, поручив это часовому, и Локкарт довольно вежливо, хотя и слегка иронически распростился со мной и отправился к Троцкому. Так состоялось наше первое знакомство с мистером Локкартом.

Естественно, что этой мимолетной встречи было недостаточно, чтобы получить какое-то, кроме чисто внешнего, представление о Локкарте, однако в дальнейшем мне пришлось еще несколько раз пропускать его в Смольный к Троцкому, а затем и познакомиться с ним поближе. Произошло это в марте 1918 года при следующих обстоятельствах.

После отъезда Советского правительства в Москву я, как уже было сказано, по указанию Ильича задержался на несколько дней в Петрограде. Наконец все дела были закончены, можно было двигаться, а тут как раз ехал в Москву Троцкий. В поезде Наркоминдела мне и предоставили место. Ехал я просто пассажиром, к охране поезда никакого отношения не имел и кто, кроме Троцкого, едет в этом поезде, не знал.

В назначенное время я приехал на вокзал и забрался в свое купе. Поздним вечером, когда поезд уже тронулся, вышел я в коридор, вдруг вижу — Локкарт! Собственной персоной. Стоит себе, улыбается и этак рукой меня приветствует. Да не один. С ним еще какой-то долговязый, худой,

с узким лицом и пепельно-серыми волосами, бесцветный англичанин — как я узнал потом, помощник Локкарта Гике — и тощая злобная секретарша.

Оказывается, Троцкий распорядился предоставить Локкарту и его ближайшим сотрудникам два купе в поезде Наркоминдела, и англичане разместились как раз по соседству со мной.

Вот тут-то у нас и состоялось более близкое знакомство с Локкартом. Хотя во время путешествия, длившегося около суток, Локкарт несколько раз по приглашению Троцкого бегал к нему в вагон и иногда подолгу там засиживался, он находил время и для того, чтобы (без всякого, конечно, приглашения) приходил ко мне в купе и приставать с бесконечными разговорами, расспросами, рассказами.

Говорун он был отменный. Занятно рассказывал о своих путешествиях, делился воспоминаниями о различных эпизодах из своей прошлой жизни в Москве, где, как оказалось, он работал в качестве английского консула еще до войны, чуть ли не с 1912 года, и откуда уехал уже после Февральской революции. Таким образом, в России Локкарт был далеко не впервые.

Рассказывая о себе, Локкарт заодно пытался осторожно расспрашивать и меня о моей службе во флоте (я не расставался с матросской формой), о работе в Смольном. Слушать-то его я слушал, а сам все больше помалкивал или отделивался односложными ответами. Так мы и беседовали. В результате я попал в число «знакомых» Локкарта, а заодно составил себе о нем некоторое представление. Теперь, когда мне предстояло арестовать Локкарта, это знакомство могло пригодиться.

Захватив в районной милиции одного милиционера, мы свернули к Хлебному переулку и, немного не доезжая до дома № 19, где жил Локкарт, остановились. Было уже около двух часов ночи.

Без труда отыскав нужный подъезд, мы, освещая себе дорогу зажигалками — на лестнице стояла кромешная тьма, света, конечно, не было, — поднялись на пятый этаж, где находилась квартира Локкарта. Поставив на всякий случай своих помощников несколько в стороне, так, чтобы, когда дверь откроется, их из квартиры не было видно, я энергично постучал в дверь^{7}. Прошло минуты две-три, пока, после повторного стука, за дверью не послышались чьи-то шаркающие шаги. Загремел ключ, брякнула цепочка, и дверь слегка приоткрылась. В прихожей горел свет, и в образовавшуюся щель я увидел фигуру знакомой мне по путешествию из Петрограда в Москву секретарши Локкарта.

Попробовал потянуть дверь на себя, не тут-то было. Секретарша предусмотрительно не сняла цепочки, и дверь не поддавалась. Тогда я встал таким образом, чтобы свет из прихожей падал на меня, и, дав секретарше возможность рассмотреть меня со всех сторон, как мог любезнее поздоровался с ней и сказал, что мне необходимо немедленно видеть господина Локкарта. Секретарша не повела и бровью. Сделав вид, что не узнает меня, она ломаным русским языком начала расспрашивать, кто я такой и что мне нужно.

Вставив ногу в образовавшуюся щель, чтобы дверь нельзя было захлопнуть, я категорически заявил, что мне нужен сам господин Локкарт, которому я и объясню цель столь позднего визита. Секретарша, однако, не сдавалась и не выказывала ни малейшего намерения открыть дверь. Неизвестно, чем бы кончилась уже начавшая раздражать меня словесная перепалка, если бы в прихожей не появился помощник Локкарта Гике.

Увидев меня через щель, он изобразил на своей бесцветной физиономии подобие улыбки и скинул цепочку.

— Мистер Манков? — так англичане меня называли. — Чем могу быть полезен?

Я немедленно оттеснил Гикса и вместе со своими спутниками вошел в прихожую. Не вдаваясь в объяснения с Гиксом, я потребовал, чтобы он провел меня к Локкарту.

— Но, позвольте, мистер Локкарт почивает. Я должен предупредить его...

— Я сам предупрежу, — заявил я таким решительным тоном, что Гике, поняв, как видно, в чем дело, отступил в сторону и молча указал на дверь, ведущую в спальню Локкарта. Все четверо — мои помощники, я и Гикс — вошли в спальню. Мы оказались в небольшой узкой комнате, обстановка которой состояла из двух удобных мягких кресел, карельской березы платяного шкафа, того же, что и шкаф, дерева туалетного столика, уставленного изящными безделушками, и широкой оттоманки, покрытой свисавшим до пола большим красивым ковром. Пушистый расписной ковер лежал и на полу. Кровати в комнате не было. Локкарт спал на оттоманке, причем спал настолько крепко, что не проснулся, даже когда Гике зажег свет. Я вынужден был слегка тронуть его за плечо. Он открыл глаза.

— О-о! Мистер Манков?!

— Господин Локкарт, по постановлению ВЧК вы арестованы. Прошу вас одеться. Вам придется следовать со мной. Вот ордер.

Надо сказать, что ни особого недоумения, ни какого-либо протеста Локкарт не выразил. На ордер он только мельком глянул, даже не удосужившись как следует прочесть его. Как видно, арест не явился для него неожиданностью.

Чтобы не стеснять Локкарта, пока он будет одеваться, и не терять даром времени, я сообщил ему, что вынужден произвести обыск в его квартире, и, бегло осмотрев спальню, вышел вместе со своими помощниками и Гиксом в соседнюю комнату, смежную со спальней, — кабинет Локкарта.

Между прочим, Локкарт в своих мемуарах, о правдивости которых можно судить хотя бы по тому, как он описывает сцену своего ареста, изображает дело так:

«...В половине четвертого раздался грубый голос, приказывавший мне встать. Первое, что увидели мои глаза, было стальное дуло револьвера. В моей комнате стояло около десяти вооруженных людей. Предводителя их я знал, это был прежний комендант Смольного Манков. На мой вопрос, что все это означает, он ответил отрывисто и сухо:

— Оставьте ваши вопросы и одевайтесь! Вы будете отвезены на Лубянку, № 11... Пока я одевался, чекисты перерыли всю нашу квартиру в поисках уличающих нас бумаг».

Бывает, что у некоторых от страха двоится в глазах, у Локкарта, очевидно, троилось, если три человека превратились в десять, да еще вооруженных, хотя ни у кого из нас, кроме милиционера, никакого оружия Локкарт видеть никак не мог, да и милиционер не вынимал, конечно, своего нагана из кобуры, у меня же кольт висел под матроской, у чекиста пистолет лежал в заднем кармане брюк. Как я уже сказал, предоставив Локкарту возможность спокойно одеться, мы перешли из спальни в кабинет. Кабинет Локкарта был немного побольше спальни. Там стояли письменный стол красного дерева, такой же книжный шкаф, небольшая кушетка, несколько стульев и кресел. Мебель была стильная, дорогая. Пол, как и в спальне, был покрыт пушистым ковром.

Обыск кабинета я взял на себя, а мои помощники обыскивали остальные комнаты квартиры Локкарта.

В ящиках стола оказалось множество писем, различных бумаг, пистолет и патроны. Кроме того, там была весьма значительная сумма русских царских и советских денег в крупных купюрах, не считая «керенок». Ни в шкафу, ни где-либо в ином месте я больше ничего не нашел. Ничего не обнаружилось и в других комнатах, хотя мы тщательно все осмотрели, прощупали сиденья и спинки мягких кресел, кушеток и Диванов, простукали стены и полы во всех комбатах. Искали внимательно, но, как и предупреждал Петерс, деликатно: не вскрыли ни одного матраца, ничего из мягкой мебели. Пока я обыскивал кабинет, Локкарт успел одеться. Я предложил ему присутствовать при обыске и предъявил переписку, деньги и оружие, которое забирал с собой для передачи Петерсу.

По окончании обыска мы все: Локкарт, мои помощники и я — вышли на улицу и сели в поджидавшую нас машину. Было уже около пяти часов утра, рассвело, на востоке, за

видневшимися с Воздвиженки стенами Кремля, разгоралась заря, вот-вот должно было взойти солнце...

Сдав арестованного дежурному по ВЧК, я поспешил в Кремль. Зайдя на несколько минут к себе в комендатуру и узнав, что никаких происшествий за время моего отсутствия не произошло, я пошел в Совнарком, надеясь встретить Николая Александровича Семашко, наркома здравоохранения, Бонч-Бруевича, а то и Якова Михайловича и от них узнать, как чувствует себя Ильич.

Быстро поднявшись на третий этаж здания Совнаркома, я прошел сначала в приемную — там никого не было, затем, по пустому коридору, к квартире Ильича. Завидев меня, постовой возле входа в квартиру поднялся и шепотом доложил, что на его посту все в порядке^{8}. Я его расспросил, как прошла ночь, как себя чувствует Ильич, — уж он-то должен был хоть что-нибудь знать. Часовой сказал мне, что вроде ничего тревожного за ночь не было. Спит, говорят, Ильич спокойнее, чем вчера, врачи, судя по выражению их лиц, вроде немного повеселели.

Побеседовав с часовым, я спустился вниз, на улицу, и пошел проверять посты. Поднялся возле Спасской башни на Кремлевскую стену и обошел по стене весь Кремль, проверив каждого из стоявших на стене часовых, затем обошел посты внутри Кремля. Все было в порядке.

Тем временем Кремль уже проснулся, начался день, кончилась еще одна бессонная ночь. Зайдя домой — жил я напротив комендатуры, возле Троицких ворот — и наскоро перекусив, я вернулся в комендатуру, решил самые неотложные вопросы и снова приехал в ВЧК к Петерсу. Было около десяти часов утра.

Дежурный по приемной сказал, что Петерс только часа два назад лег спать, однако просил в 10 часов его разбудить. Я вошел в кабинет. Петерс крепко спал на простом кожаном диване, стоявшем тут же, в кабинете. Мне пришлось чуть не стащить его за ногу на пол, чтобы добудиться. Это и понятно, ведь за трое суток заместитель председателя ВЧК впервые прилег отдохнуть, и то всего на два часа. Трудно ему было в эти дни. Феликс Эдмундович еще не вернулся из Петрограда, куда он уехал 30 августа, сразу по получении известия об убийстве Урицкого, и где, как мы знали, он лично руководил операцией по ликвидации крупного заговора, организованного помощниками Локкарта в Петрограде. Как раз в прошедшую ночь там, в Петрограде, чекисты окружили здание британского посольства и накрыли многочисленное конспиративное собрание заговорщиков.

Контрреволюционеры пытались оказать вооруженное сопротивление, и в перестрелке было убито и тяжело ранено несколько человек. Сопротивление было сломлено, и заговорщиков арестовали. Среди них оказались ряд белогвардейцев, в том числе офицер царской армии князь Шаховской, и несколько сотрудников английского и американского посольств.

Я едва успел сообщить Петерсу подробности ареста Локкарта и выслушать его рассказ о событиях в Петрограде, как вошел дежурный и доложил, что «оттуда» привезли неизвестную женщину, задержанную засадой.

Я с недоумением посмотрел на Петерса. Он перехватил мой взгляд.

— Я велел на всякий случай возле квартиры Локкарта организовать засаду, — пояснил Петерс, — вот, по-видимому, кто-то и попался. Сейчас выясним. Пусть введут задержанную, — приказал он дежурному.

Дежурный впустил в кабинет двух молодых женщин и вышел, плотно прикрыв за собой двери. Одна из вошедших, чуть выше среднего роста, лет тридцати — тридцати двух, была очень хороша собой. Ее красивое лицо обрамляли густые каштановые волосы, с изящной небрежностью выбивавшиеся из-под модной шляпки. Одета она была в скромное, но очень элегантное, с большим вкусом сшитое платье, ловко облежавшее ее стройную фигуру. Через левую руку было перекинута легкое летнее пальто, а в правой она держала жестяной бидон, совсем не шедший ко всему ее облику. Держалась она спокойно, уверенно.

Вторая, строгая, подтянутая девушка, в хорошо пригнанном полувоенном костюме, держала в руке толстый пакет. Она шагнула вперед, протянула Петерсу пакет и спокойно, четко доложила, что около часа назад возле квартиры № 24 в доме № 19 по Хлебному переулку засада задержала неизвестную гражданку, пытавшуюся пройти в указанную квартиру (кивком она указала на женщину с бидоном). При ней был обнаружен запечатанный пакет без адреса или каких-либо надписей. Пакет изъят.

— Вот он, — показала она на переданный Петерсу пакет.

Петере молча выслушал молодую разведчицу, не спеша поднялся из-за стола, пожал ей руку, поблагодарил за бдительность и отпустил, а задержанной кивнул на стул, стоявший против стола. Затем, так же молча, вскрыл пакет, просмотрел содержащиеся в нем бумаги и протянул мне. Это были данные о дислокации частей Красной Армии и оперативные сводки с фронтов.

Во время всей этой немой сцены лицо Петерса оставалось хмурым и бесстрастным, словно было высечено из камня. Спокойно держалась и сидевшая напротив нас молодая женщина, и только легкий румянец, выступивший на ее лице, когда Петере начал читать содержимое пакета, да предательское дрожание нижней губы, которую она чуть прикусила, выдавали ее волнение^{9}.

— Имя, фамилия? — спокойно спросил Петерс.

— Мария Фриде.

— К кому вы шли в ту квартиру, возле которой вас задержали? Зачем?

— Понимаете, это просто недоразумение. Я никого в этой квартире не знаю...

— Не знаете? А откуда у вас этот пакет, — Петерс чуть приподнял лежавшей перед ним конверт, — тоже не знаете?

— Нет, почему же, это я знаю. Мне вручил его какой-то незнакомый человек, но что в нем находится, мне совершенно неизвестно.

— Неизвестно?.. — Петерс все не повышал голоса, и тем суровее, жестче звучали его вопросы.

— Да, да. Прошу мне верить. Я вышла утром поискать молока. Видите? — Слегка нагнувшись, она показала на бидон, который поставила на пол возле своих ног, когда садилась к столу. — Иду по Хлебному переулку, вдруг подходит ко мне какой-то человек и говорит, что ему нужно передать этот пакет в двадцать четвертую квартиру того дома, с которым я как раз поравнялась, а он очень спешит, так не смогу ли я оказать ему одолжение и занести пакет. Просил он очень убедительно, производил впечатление вполне порядочного, интеллигентного человека, ну я и согласилась. Вот и все.

Она замолчала. Молчал, глядя на нее в упор, и Петерс. Прошла минута, две... Не выдержав, Мария Фриде начала вновь повторять с мельчайшими подробностями, как таинственный незнакомец вручил ей пакет, описывала его внешность, костюм.

— Врете, — внезапно, но все так же невозмутимо, по-прежнему не повышая голоса, перебил ее Петере.

Мария Фриде, словно споткнувшись с разбегу, прервала на полуслове:

— Что?

— Все. Все врете, — отрезал Петерс. — Откуда у вас пакет? Кому его несли?

— Но богом клянусь...

— Не клянитесь, в бога мы не верим. Родственники есть? Семья?

— Есть два брата.

— В Москве, работают в каком-то комиссариате, не знаю в каком.

— Так не намерены рассказывать правду? Надеетесь, что мы поверим нелепому вымыслу, будто вы сами не знали, куда, к кому и с чем шли?

— Я говорю все, как было.

Петерс вызвал дежурного:

— Уведите задержанную. Поместите в камере, в одиночке. Пусть на досуге подумает...

В тот же день были арестованы оба брата Марии Фриде, оказавшиеся махровыми белогвардейцами. Один — подполковник, другой — капитан царской армии. Братья в качестве военных специалистов пробрались на работу в Комиссариат по военным делам, похищали там секретные оперативные документы и через сестру передавали их Локкарту и его помощникам. Игра Марии Фриде была проиграна.

После того как Фриде увели, Петерс сказал мне, что Локкарта он решил выпустить. Я даже опешил от неожиданности. Однако Петерс успокоил меня. Он сказал, что сейчас, побывав под арестом, Локкарт не опасен, так как вынужден будет на время свернуть активную контрреволюционную деятельность, да и большинство его помощников и агентов арестовано. Находясь же на свободе, Локкарт может, сам того не подозревая, принести кое-какую пользу. За ним будет организовано тщательное наблюдение, и, глядишь, кто-нибудь из его сообщников, еще не известный чекистам, попытается с ним связаться и будет выявлен. Имеются и некоторые дипломатические соображения, говорящие в пользу освобождения Локкарта. Деваться же он никуда не денется и в случае необходимости в любой момент вновь окажется за решеткой. По словам Петерса, он уже советовался с Яковом Михайловичем и с Чичериным, (Народный комиссар иностранных дел) и получил соответствующие указания.

Рассказал, мне Петерс и некоторые подробности заговора Локкарта. Обстоятельнее я все узнал несколько позже от Аванесова. Довольно подробно писали о заговоре в первых числах сентября и наши газеты. Само собой разумеется, в газетах приводились не все подробности, не указывалось, как на самом деле был арестован Локкарт, тем более что для широкой публики, среди которой могли оказаться его сообщники, нужно было дать логичное объяснение его освобождению менее чем через сутки после ареста. Поэтому в газетных сообщениях указали, что Локкарта задержали будто бы случайно на конспиративной квартире и по установлении личности выпустили.

Заговор Локкарта был одним из самых крупных контрреволюционных заговоров в первые годы существования Советской власти и, пожалуй, одним из наиболее ярких примеров необычайно наглого, беззастенчивого вмешательства иностранных держав в наши внутренние дела. В самом деле, ведь надо только подумать: официальный представитель иностранного государства в нашей стране, глава иностранной миссии, вопреки всем законам, нормам и правилам взаимоотношений между государствами, вопреки элементарным требованиям совести, чести и морали, пользуясь правами дипломатической неприкосновенности, готовит свержение того самого правительства, с которым поддерживает официальные отношения, и убийство его руководителей. Он подкупает граждан той страны, которая гостеприимно приняла его в качестве дипломатического представителя, и швыряет им миллионы, требуя, чтобы они свергли свое правительство и уничтожили признанных вождей советского народа. Что может быть циничнее и гнуснее? Причем ставится еще и цель — страну, вышедшую из войны и заключившую мир, вновь втянуть в бойню, вновь погнать ее народ на поля сражений. Такова в основных чертах была суть заговора Локкарта, раскрытого и обезвреженного благодаря мужеству советских людей, их беспредельной преданности делу революции.

Локкарт развернул подрывную работу сразу же после своего приезда из Англии в Советскую Россию. Уже весной, а особенно летом 1918 года он установил тесные связи с целым рядом контрреволюционных организаций, которым постоянно оказывал значительную финансовую

поддержку. У него регулярно бывали представители белогвардейских генералов Корнилова, Алексеева, Деникина, поднявших восстание на юге России. Он был связан с белогвардейско-эсеровской организацией террориста Савинкова. Локкарт выдал представителям Керенского подложные документы, снабдив их штампами и печатями британской миссии, при помощи которых Керенский пробрался в Архангельск и был с почетом вывезен оттуда в Англию. Но всего этого Локкарту и его помощникам из британской миссии было мало. В конце Лета 1918 года они попытались сами организовать государственный переворот, свергнуть власть Советов и установить в России военную диктатуру.

Локкарт и его помощник Сидней Рейли, уроженец Одессы, а затем лейтенант английской разведки, намеревались осуществить свои дьявольские замыслы следующим образом. Они решили подкупить воинские части, несшие охрану Кремля и правительства, с тем чтобы при их помощи на одном из пленарных заседаний ВЦИК, в десятых числах сентября 1918 года, арестовать Советское правительство и захватить власть. Будучи заранее уверены в успехе, агенты Локкарта установили даже связь с тогдашним главой русской православной церкви патриархом Тихоном, который дал согласие сразу же после переворота организовать во всех московских церквях торжественные богослужения «в ознаменование избавления России от ига большевиков» и во здравие заговорщиков.

Сразу после переворота заговорщики намеревались, используя ими самими сфабрикованные фальшивые документы, расторгнуть Брестский мир и принудить Россию возобновить участие в мировой войне на стороне Англии, Франции и США.

Членов Советского правительства заговорщики собирались отправить после ареста в Архангельск, захваченный в начале августа 1918 года англичанами, там посадить на английский военный корабль и увезти в Англию. Так они намеревались поступить со всеми, кроме Ленина. Ленина же, поскольку, как они говорили, его воздействие на простых людей столь велико, что он и охрану в пути может сагитировать, решили уничтожить, то есть попросту убить при первой же возможности.

Для осуществления намеченных планов агент Локкарта англичанин Шмедхен в начале августа 1918 года попытался завязать знакомство с командиром артиллерийского дивизиона Латышской стрелковой дивизии Берзиным и прощупать его настроение, чтобы определить возможность использования Берзина в качестве исполнителя планов заговорщиков{10}.

При первых же разговорах со Шмедхеном Берзин насторожился, хотя и не подал виду, но сразу же после встречи доложил обо всем комиссару Латышской стрелковой дивизии Петерсону, а тот сообщил в ВЧК Петерсу. Было решено проверить, чего добивается Шмедхен, и Петерсон возложил это дело на Берзина, поручив ему при встрече со Шмедхеном прикинуться человеком, несколько разочаровавшимся в большевиках. Берзин так и сделал, тогда Шмедхен с места в карьер повел его к своему шефу — Локкарту, встретившему командира советского артиллерийского дивизиона с распростертыми объятиями.

Эта встреча произошла 14 августа 1918 года на квартире Локкарта в Хлебном переулке. Локкарт предложил Берзину 5–6 миллионов рублей: для него лично и на подкуп латышских стрелков.

Дальнейшую связь Локкарт предложил Берзину поддерживать с лейтенантом Рейли, он же «Рейс» иди «Константин», как быстро выяснила ВЧК.

Берзин, отказавшийся вначале от денег, держал себя настолько ловко и умно, что полностью провел Локкарта, выведав его планы. Комиссар дивизии Петерсон представил Я. М. Свердлову после ликвидации заговора Локкарта подробный доклад, в котором, в частности, о встрече Берзина с Локкартом писал, что опытный дипломат «культурнейшей страны» Локкарт на этом экзамене позорно срезался, а товарищ Берзин, впервые в жизни соприкоснувшийся с дипломатией а с дипломатами, «выдержал экзамен на пятерку».

17 августа Берзин встретился уже с Рейли, вручившим ему 700 тысяч рублей. Эти деньги Берзин тут же передал Петерсону, а Петерсон отнес их непосредственно Ленину, доложив ему всю историю в малейших подробностях. Владимир Ильич посоветовал Петерсону передать деньги пока что в ВЧК — там, мол, разберемся, как с ними поступить, — что тот и сделал.

Через несколько дней Рейли передал Берзину 200 тысяч, а затем еще 300 тысяч рублей, все на подкуп латышских стрелков и в вознаграждение самому Берзину. Таким образом, в течение двух недель англичане вручили Берзину 1 миллион 200 тысяч рублей. Вся эта сумма надежно хранилась теперь в сейфах Всероссийской Чрезвычайной Комиссии.

В конце августа Рейли поручил Берзину выехать в Петроград и встретиться там с питерскими белогвардейцами, также участвующими в заговоре. 29 августа Берзин, получив соответствующие указания от Петерсона и ВЧК, был уже в Петрограде. Там он повидался с рядом заговорщиков, явки к которым получил от Рейли, и помог раскрыть крупную белогвардейскую организацию, работавшую под руководством англичан, которая после отъезда Берзина в Москву была ликвидирована.

Всецело доверяя Берзину и рассчитывая осуществить переворот при его помощи, Локкарт и Рейли сообщили ему свой план ареста Советского правительства на заседании ВЦИК. Осуществление ареста, как заявил Рейли, возлагается на руководимых Берзиным латышских стрелков, которые будут нести охрану заседания. Одновременно Рейли поручил Берзину подобрать надежных людей из охраны Кремля и обязать их впустить в Кремль вооруженные группы заговорщиков в тот момент, когда будет арестовано правительство на заседании ВЦИК. Рейли сообщил также Берзину, что Ленина необходимо будет «убрать» раньше, еще до заседания ВЦИК.

Берзин тотчас же доложил Петерсону об опасности, грозившей Ильичу, и просил немедленно предупредить Ленина. Не теряя ни минуты, Петерсон отправился к Владимиру Ильичу и подробнейшим образом его обо всем информировал.

Так благодаря мужеству, находчивости и доблести Берзина, проникшего в самое логово заговорщиков, планы и намерения Локкарта, Рейли и их сообщников были раскрыты и заговор был ликвидирован, Англичане намеревались сыграть на национальных чувствах латышей, думали, что латыши с неприязнью относятся к русскому народу. Матерым английским разведчикам было невдомек, что латышские трудящиеся связаны многолетней дружбой с рабочими России, что в рядах латышских стрелков преобладали стойкие, закаленные пролетарии Латвии, среди них было много большевиков, и латышские стрелки были беззаветно преданы пролетарской революции.

Комиссар Латышской стрелковой дивизии Петерсон, представив Я. М. Свердлову доклад о том, как был раскрыт заговор Локкарта, поставил вопрос: что делать с принадлежащими английскому правительству 1 миллионом 200 тысячами рублей, выданными Локкартом и Рейли Берзину «для латышских стрелков», которые по указанию Владимира Ильича до поры до времени находились в ВЧК (Владимир Ильич в это время еще не оправился от болезни, вызванной ранением). Что ж, ответил Яков Михайлович, раз деньги предназначались латышским стрелкам, пусть их и получают латышские стрелки. Надо использовать деньги так:

1. Создать фонд единовременных пособий семьям латышских стрелков, павших во время революции, и инвалидам — латышским стрелкам, получившим увечья в боях против контрреволюционеров всех мастей и в первую голову против английских и других иностранных интервентов. Отчислить в этот фонд из суммы, полученной от английского правительства через господина Локкарта, 1 миллион рублей.
2. Передать 100 тысяч рублей из той же суммы Исполнительному Комитету латышских стрелков с условием, что эти деньги будут израсходованы на издание агитационной литературы для латышских стрелков.
3. Отпустить 100 тысяч рублей артиллерийскому дивизиону латышских стрелков, которым командует товарищ Берзин, на создание клуба и на культурно-просветительные надобности.

Так распорядился Яков Михайлович израсходовать деньги, «поступившие» от английского правительства через мистера Локкарта.

Сам Локкарт, просидев в ЧК менее суток, был, как я уже говорил, выпущен. Однако на свободе он оставался недолго. Уже 4 сентября Локкарта арестовали вновь. На этот раз я в его аресте не участвовал и подробностей не знаю, не интересовался.

Передав 1 сентября арестованного Локкарта дежурному по ВЧК, я, признаться, не думал, что мне придется еще иметь с ним дело, однако не прошло и полутора недель, как я вновь встретился с Локкартом, причем на этот раз наша встреча затянулась на довольно длительное время.

Числа 9–10 сентября мне опять позвонил Петерс, днем.

— Послушай, Мальков, придется тебе забрать Локкарта.

— Как забрать? — спросил я с недоумением. — Да ведь он уже с неделю как сидит, чего же его забирать?

— Сидеть-то он сидит, — ответил Петерс, — и все же тебе придется его забрать. К себе.

Я понял. Значит, решено содержать Локкарта в Кремле.

Само собой разумеется, никакого тюремного помещения в Кремле не было и в помине, каждый раз приходилось что-либо придумывать. Локкарта я решил поместить в так называемых фрейлинских комнатах Большого Кремлевского дворца. Фрейлинские комнаты, как и почти весь дворец, тогда пустовали. Расположены они были в одном из крыльев дворца, несколько на отшибе, и организовать их охрану было сравнительно легко.

Локкарту я отвел три небольшие комнаты: спальня, столовая, кабинет. Была там и ванная комната. Одним словом, целая квартира.

Уборку квартиры и наблюдение за порядком в ней я решил поручить старику швейцару, убиравшему мою квартиру.

В честности и неподкупности старика швейцара я не сомневался ни минуты. Он никогда не согласился бы передать от Локкарта кому-нибудь тайком записку, ни за что не взялся бы за какое-либо сомнительное поручение. Его нельзя было ни уговорить, ни подкупить, слишком высоко было развито у него сознание долга и чувство дисциплины.

Для охраны Локкарта я подобрал несколько латышских стрелков-коммунистов и тщательно их проинструктировал. Каждого из них я предупредил, что глаз с Локкарта не спускать и следить за ним вовсю. Прогулки ему разрешать, когда он захочет и сколько захочет, но водить гулять только вниз, в Тайницкий сад, да и там не отходить далеко от Тайницкой башни. Ни на шаг от него во время прогулок не отходить, ни с кем не разрешать разговаривать и никуда, кроме сада, из отведенного ему помещения не выпускать.

Когда все было готово, я поехал в ВЧК, забрал Локкарта, привез его во дворец, в предназначенную ему квартиру, и выставил охрану.

Через несколько дней меня вызвал Феликс Эдмуидович и спросил, как я устроил Локкарта. Я ему подробно доложил, и Дзержинский со всем согласился.

Пока Локкарт находился в Кремле, я почти каждый день заходил к нему: справлялся, есть ли жалобы, претензии. В подробные разговоры с ним не вступал. Локкарт постоянно ныл и брюзжал. То ему не нравилось питание (а обед ему носили из той самой столовой, где и наркомы питались. Ну да обеды-то были действительно неважные, только лучших в Кремле тогда не было), то он просил свидания со своей сожительницей, некоей Мурой, коренной москвичкой, то с кем-либо из иностранных дипломатов. На такие просьбы я ему отвечал, что это дело не мое, пусть обращается к Дзержинскому или Петерсу.

Прошло что-то около месяца, надоел мне Локкарт изрядно, и я искренне обрадовался, получив распоряжение доставить его обратно в ВЧК. Советское правительство обменяло Локкарта из

нашего представителя в Англии Литвинова, задержанного там после того, как появилось сообщение о раскрытии заговора Локкарта. Максима Максимовича Литвинова англичане доставили в Советскую Россию, а мы передали им их Локкарта. Так закончилась «дипломатическая миссия» господина Локкарта в нашей стране в 1918 году, в первый год существования Советской власти.

Шли дни за днями. Как-то незаметно промелькнула зима 1918/19 года, наступило лето.

Тяжкое это было лето! Все туже сжималось огненное кольцо фронтов. Жестокие, кровопролитные бои грохотали со всех сторон. На востоке ожесточенно сопротивлялся перешедшим в наступление доблестным советским войскам Колчак, изрядно потрепанный, но еще не добитый. В его руках оставалась почти вся Сибирь, часть Урала.

С юга рвалась к Москве так называемая Добровольческая армия Деникина, захватившая в июле-августе 1919 года Харьков, Царицын, Воронеж, Курск...

С северо-запада на Петроград двигались полчища генералов Юденича и Родзянки, занявшие в мае — июне Псков, Нарву и угрожавшие самому Петрограду.

На севере, вкупе с белогвардейцами, орудовали войска английских, французских, американских интервентов под командой английского генерала Аронсайда. В их руках были Мурманск, Архангельск...

Походом на Советскую Россию шли 14 государств. К советским берегам тянулись транспорты с войсками интервентов, шли бесконечные грузы оружия, боеприпасов, снаряжения, которыми империалисты снабжали армии белогвардейских генералов.

Не прекращали контрреволюционеры ожесточенной борьбы против Советской власти и внутри страны.

В своей ненависти к пролетарской революции открыто объединились меньшевики и монархисты, левые эсеры и кадеты. Все они выступали заодно с иностранными дипломатами и профессиональными разведчиками. Один заговор следовал за другим, одна попытка контрреволюционного мятежа сменяла другую.

Разгром мятежа левых эсеров и ликвидация заговора Локкарта не охладили контрреволюционного пыла иностранных разведчиков и русской белогвардейщины не умили их вражеской активности.

Однажды, в конце августа 1919 года, мы возвращались с Аванесовым с заседания Оргбюро ЦК, куда меня иногда вызывали по вопросам, связанным с охраной Кремля. Когда мы поравнялись с комендатурой и я собрался свернуть к себе, Варлам Александрович решительно тронул меня за локоть:

— Пройдем-ка ко мне, есть разговор.

Оставшись с глазу на глаз со мной в своем кабинете, Аванесов заговорил:

— Надо решительно усилить охрану Кремля, особенно днем. Подумай об этом, прими меры.

Я насторожился. Аванесов говорит неспроста, это ясно. Зря такого предупреждения он не сделает. В чем же дело? А Варлам Александрович неторопливо продолжал:

— Видишь ли, мне и самому пока еще не все известно. К нам, в ЧК, попали нити, которые стягиваются во все более и более тугую клубок. Речь идет о крупном, очень крупном белогвардейском военном заговоре. Сказать пока о составе военной организации белогвардейцев ни чего нельзя, ко таковая существует, действует, это установлено, и необходимо принять все возможные меры предосторожности, ждать можно всякого.

Варлам Александрович напомнил мне обстановку под Питером, со всей очевидностью показывавшую, что наступающие на Петроград белогвардейцы имеют в нашем тылу широко

разветвленную шпионскую сеть, снабжающую войска Юденича и Родзянки обстоятельной информацией.

— Вспомни, — сказал Аванесов, — обращение «Берегитесь шпионов!», подписанное Владимиром Ильичей и Феликсом Эдмундовичем, которое было опубликовано в конце мая. Вспомни и вдумайся в его смысл. Кстати, вот оно. Я, в который уже раз, вчитался в знакомые строки:

«Смерть шпионам!

Наступление белогвардейцев на Петроград с очевидностью доказало, что во всей прифронтовой полосе, в каждом крупном городе у белых есть широкая организация шпионажа, предательства, взрыва мостов, устройства восстаний в тылу, убийства коммунистов и выдающихся членов рабочих организаций.

Все должны быть на посту...

Председатель Совета Рабоче-Крестьянской Обороны *В. Ульянов (Ленин)*

Наркомвнудел *Ф. Дзержинский*».

— Как ты знаешь, — продолжал Аванесов, когда я кончил читать, — тогда была раскрыта крупная белогвардейская военная организация во главе с начальником штаба Кронштадтской крепости Будкевичем, готовившая вооруженное восстание.

— Варлам Александрович, — перебил я Аванесова, — все это я отлично знаю. Только, убей меня бог, к Кремлю-то вся эта история непосредственного отношения не имеет, и не этот заговор вы имели в виду, когда говорили о необходимости принять особые меры предосторожности. Уж вы не томите, выкладывайте.

— Чудак ты человек, — рассмеялся Аванесов. — Я же тебе и «выкладываю», только ты не торопись, не перебивай. Конечно, заговор в Кронштадте и даже в Питере непосредственно Кремлю не угрожает, но нити-то этого заговора далеко потянулись и привели в Москву.

Это для меня было новостью, и я весь превратился в слух. В тот вечер мы засиделись с Варламом Александровичем допоздна, и он подробно рассказал мне о тех данных, которые поступили в ЧК за последнее время. Впервые я узнал, что еще в начале июня при попытке перехода границы на лужском направлении (войска Родзянки, заняв Псков, подошли к Луге) был убит бывший офицер царской армии Никитенко. При обыске в мундштуке папиросы обнаружили письмо, адресованное генералу Родзянке, подписанное «Вик». В письме сообщались пароли и опознавательные, знаки, по которым войска Родзянки узнают «своих» при приближении к Петрограду. Из письма было ясно, что в Питере существует широко разветвленная белогвардейская организация и во главе ее стоит этот самый «Вик». Но кто такой «Вик», как до него добраться, кто входит в состав организации, было неизвестно.

Между тем в эти дни задержали еще ряд офицеров на границе, и опять с письмами от таинственного «Вика».

А там 13 июня вспыхнул мятеж в фортах Красная Горка и Серая Лошадь, на подступах к Петрограду, во главе которого стоял бывший царский офицер Неклюдов, и нити опять потянулись к «Вику»...

Питерская ЧК не знала ни сна, ни отдыха, работала не покладая рук, пока наконец «Вик» не был обнаружен. Под этим именем, как оказалось, скрывался активный кадет В. И. Штейнингер, владелец фирмы «Фос и Штейнингер».

Штейнингер и ряд его сообщников были арестованы, в руках ВЧК оказались первые нити крупного заговора. Штейнингер признался, что он является участником контрреволюционной организации, именуемой «Национальным Центром», но никого из участников организации, кроме тех, кто уже был арестован Питерской ЧК, не назвал. Ниточка оборвалась.

Я опять не удержался и прервал рассказ Аванесова:

— Почему же все-таки нужно принимать меры предосторожности в Москве? Что же, у этого самого «Вика» есть связи в Москве?

— Не спеши, — опять повторил Варлам Александрович, — в том-то и дело, что никаких данных об участниках организаций в Москве и других городах получить до поры до времени не удалось. А они были, это не вызывало сомнения.

Варлам Александрович положил в пепельницу докуренную папиросу, взял новую и продолжил свой рассказ. ВЧК, сказал он, не успокоилась. С особой тщательностью анализировался теперь каждый сигнал, сопоставлялись и обобщались самые на первый взгляд разнородные данные. И результат упорной, кропотливой работы чекистов в конце концов сказался, усилия оправдались. В конце июля в одной из деревень Вятской губернии задержали некоего Карасенко, у которого оказалось при себе свыше 900 тысяч рублей деньгами и два заряженных пистолета. Карасенко переправили в Вятку, а оттуда, сочтя дело серьезным, в Москву.

Вскоре Карасенко признался, что никакой он не Карасенко, а Крашенинников, сын помещика, бывший царский офицер, ныне сотрудник разведывательного отделения ставки Колчака. Деньги он вез якобы «Национальному центру». В Москве, как говорил Крашенинников, он должен был по паролю передать деньги неизвестному человеку на Николаевском вокзале, где была обусловлена встреча. Часть суммы предназначалась для Петрограда, «Вик».

Опять появился «Национальный центр» я опять «Вик»! Но «Вик»-то теперь был хорошо известен ВЧК, сидел под стражей. Показания Крашенинникова дали новые материалы следствию по делу «Вика» и его компании. Хуже обстояло дело с Москвой. Крашенинников упорно утверждал, что никого из участников «Национального центра» в Москве он не знает, что, кроме пароля и явки на Николаевском вокзале, ни о чем не осведомлен. Казалось, и эта ниточка готова была оборваться. Но упорные чекисты продолжали работу.

Благодаря умелым действиям следователей у Крашенинникова создалось впечатление, что он провел чекистов, что они ему верят и полностью убеждены, что ничего больше сообщить о «Национальном центре» и его составе он не может.

Придя к такому выводу, Крашенинников попытался из тюрьмы завязать связь с московскими участниками «Национального центра». Он переслал две записки, в которых сообщал, что «все благополучно», и просил подготовить различные справки «для мужчины лет 25–30», которыми вскоре рассчитывал воспользоваться. Одна записка была адресована некоему Щепкину, проживавшему в районе Трубной площади, вторая — Алферову. Появились новые нити. Проверка показала, что Николай Николаевич Щепкин являлся в прошлом активным членом кадетской партии, еще в августе 1917 года принимал деятельное участие в так называемом Совещании общественных деятелей, состоявшемся в Москве накануне Московского государственного совещания.

Совещание общественных деятелей проходило под руководством бывшего председателя Государственной думы М. В. Родзянки, в его работе участвовали виднейшие русские капиталисты и лидеры кадетской партии, вроде Рябушинского, Милюкова, Маклакова и других. Уже тогда, в августе 1917 года, оно готовило контрреволюционный переворот, стремясь установить в России режим единоличной военной диктатуры. Московские «общественные деятели» были тесно связаны с генералами Алексеевым, Корниловым, Калединым и являлись вдохновителями корниловского мятежа, поднятого реакционной военщиной в конце августа 1917 года. Вот куда потянулись нити, полученные от Крашенинникова.

28 августа 1919 года Щепкин был арестован. При обыске у него были изъяты шифры, пленки, многочисленные сводки о численности, дислокации, состоянии советских войск и планах советского командования. Нужно было иметь многочисленную, широко разветвленную шпионскую сеть в воинских соединениях и в высших штабах Красной Армии, чтобы располагать такими подробными данными, какими располагал Щепкин. Кроме того, у Щепкина обнаружили письма одного из лидеров кадетской партии Астрова и других кадетских главарей, бежавших в свое время из Москвы и находившихся в штабе деникинской армии в роли «политических советников».

Общие контуры контрреволюционной организации, именовавшейся «Национальным центром», начали проясняться.

Выяснилось, что осенью 1917 года, в канун Октябрьской революции, Собрание общественных деятелей образовало совет, который продолжал функционировать и после Октября. Однако после того как Советская власть победоносно распространилась по всей стране, большинство членов совета, куда входило 30–40 человек, разбежались кто на Юг, кто на Восток организовывать совместно с царскими генералами, иностранными дипломатами, военными и разведчиками мятежи и восстания против Советской власти, разжигать в России гражданскую войну.

В феврале-марте 1918 года в Москве из остатков совета Собрания общественных деятелей возник так называемый «Правый центр» — кадетская организация, ориентированная в основном на немцев.

Эта ориентация «Правого центра» привела, в связи с военным поражением Германии, к его распаду. Кроме того, значительная часть кадетов продолжала цепляться за бывших союзников царской России — Англию, Францию, Америку и с самого возникновения «Правого центра» была против германской ориентировки его руководителей.

Между тем наряду с «Правым центром» в Москве одновременно возник и еще ряд контрреволюционных организаций: «Союз возрождения», созданный кадетами совместно с правыми эсерами и наиболее оголтелыми меньшевиками, и «Союз защиты Родины и свободы», где преобладало бывшее царское офицерство. Обе эти организации придерживались союзнической ориентации, поддерживали тесную связь с английской, французской, американской миссиями в Москве, откуда получали крупные субсидии. Были они также связаны через специальных курьеров и с командованием белогвардейских армий Алексеева, Корнилова, Деникина, Колчака.

В «Союзе возрождения» верховодили кадеты Кишкин и Шаховской, эсеры Авксентьев и Маслов, меньшевик Потресов и другие. Большинство из них в начале 1918 года удрало из Москвы. «Союз защиты Родины и свободы» был создан при непосредственном участии нелегально пробравшегося с Дона в Москву эсера Бориса Савинкова.

В мае — июне 1918 года часть кадетов вышла из «Правого центра» и образовала «Национальный центр». В этот центр вошли «Союз возрождения», остатки Собрания общественных деятелей, «Союз защиты Родины и свободы». Образовался блок контрреволюционных сил, от крайних монархистов до представителей так называемой демократии, «социалистических» партий, от кадетов до меньшевиков и эсеров, причем каждая из организаций, входившая в «Национальный центр», сохраняла в то же время свою самостоятельность.

Во главе «Национального центра» оказались Щепкин, Струве, князь Трубецкой, Астров и другие, большинство которых опять-таки удрало в 1918 году на Юг и подвизалось в так называемой Добровольческой армии Алексеева и Деникина. Оставшиеся в Москве участники «Национального центра» посылали Деникину подробную политическую и военную информацию.

«Национальный центр» имел организации на местах, с которыми поддерживал более или менее регулярную связь через специальных курьеров, преимущественно из бывших офицеров.

Ориентация «Национального центра» была чисто союзнической, и связи с представителями Англии, Франции и других держав Антанты поддерживались самые тесные. Ее руководители постоянно встречались с Полем Дьюксом, крупным английским разведчиком, поспешившим удрать из России, как только заговор был раскрыт.

В октябре 1918 года в Яссах даже состоялось специальное совещание представителей Антанты с уполномоченными «Национального центра».

Своей задачей «Национальный центр» ставил свержение Советской власти и установление личной диктатуры, с последующим созывом Учредительного собрания.

Вот что я узнал в тот вечер и в последующие дни от Варлама Александровича Аванесова и других руководящих работников ВЧК о контрреволюционной организации, именовавшейся «Национальным центром». Как рассказал Аванесов, «Национальный центр» был причастен к организации контрреволюционных мятежей в Ярославле, Муроме, Вологде и к целому ряду других контрреволюционных заговоров, раскрытых в 1918 — первой половине 1919 года. Однако бдительность советских людей, дружно разоблачавших преступную деятельность заговорщиков, сплоченность рабочих и крестьян вокруг Советской власти да неусыпная энергия славных чекистов неизменно срывали вражеские замыслы «Национального центра», связанных с ним контрреволюционных организаций и их англо-франко-американских покровителей.

Серьезный удар по «Национальному центру» нанесла перерегистрация офицеров, проводившаяся в Москве в июле — августе 1918 года, во время которой полностью был ликвидирован «Союз защиты Родины и свободы». Новым ударом была ликвидация заговора Локкарта и ряда других контрреволюционных заговоров помельче, однако «Национальный центр» тогда раскрыт еще не был. Сейчас с арестом Штейнингера, Щепкина, вслед за ними Алферова, генерала Махов а и других в руках ЧК наконец оказались данные и о самом «Национальном центре» в целом. Но даже теперь из-за уверток и запирательств схваченных с поличным главарей «Национального центра» не вся организация была раскрыта, многое предстояло еще выяснить. В частности, было ясно, что «Национальный центр» располагает в Москве какой-то военной силой, опираясь на которую он намеревался поднять вооруженный мятеж, приурочив его к наступлению Деникина на Москву. Но какой? Где? Это пока еще не установили.

Совершенно очевидным было и то, что заговорщики располагают широкими связями среди бывших царских офицеров, пошедших на службу в Красную Армию в качестве военных специалистов. Обо всем этом свидетельствовали изъятые у Щепкина документы: его переписка с главарями «Национального центра», находящимися в штабе Деникина, в которой прямо указывалось на подготовку выступления, оперативные сводки и планы советского командования. И опять конкретных данных было очень мало.

Совершенно неизвестен состав контрреволюционной военной организации, связанной с «Национальным центром». Никаких списков у Щепкина не нашли, а называть своих сообщников он не намеревался, заявляя, что он больше никого не знает. Военная организация оставалась нераскрытой, продолжала вынашивать свои преступные замыслы. Поэтому и предупреждал меня Аванесов о необходимости усилить охрану Кремля, повысить бдительность часовых.

После нашего разговора прошло несколько дней. Я сделал все, что было необходимо, но чувство тревоги не проходило. Плохо, когда знаешь, что рядом притаился свирепый, коварный враг, готовый вот-вот всадить нож в спину революции, а кто он и где — попробуй догадайся.

Числа 10–12 сентября я засиделся в комендатуре далеко за полночь. Еще и еще раз проверял себя: все ли сделано, все ли необходимые меры приняты для обороны Кремля на случай внезапного нападения? Как будто все было в порядке. Ночью в любой момент можно поднять гарнизон Кремля по тревоге, и через считанные секунды Кремль будет готов к отражению любого удара. А днем? Днем — хуже. Курсанты на учениях: кто на плацу, на строевых занятиях, кто в Тайницком саду, а кто и вне Кремля, на стрельбище. Днем сразу гарнизон не соберешь, это ясно. А вдруг нападение готовится именно днем? Весьма вероятно. Может, у этого самого «Национального центра» и в Кремле, среди военспецов — преподавателей курсов, есть свои люди, которые информировали заговорщиков, что днем на Кремль нападать сподручнее. Все может быть! Надо, пожалуй, отменить на время всякие учения, связанные с выводом курсантов из Кремля.

Сказано — сделано. Я решил на завтра же отдать нужное распоряжение. Надо только предварительно посоветоваться с Варламом Александровичем... Глянул на часы: четвертый час ночи. Пожалуй, Варлам Александрович уже ушел домой, поздно. Впрочем, может, и не ушел? Попробуем.

Я снял трубку и попросил соединить меня с Аванесовым.

— Аванесова? Соединяю, — послышался бодрый голос дежурного Верхнего коммутатора.

Варлам Александрович был у себя.

— Павел Дмитриевич? Хорошо, что позвонил. Я как раз вернулся с Лубянки и собирался сам тебе звонить. Есть серьезные новости, зайди. Кстати, тебе будет одно поручение.

Через несколько минут я был уже в кабинете Аванесова. Варлам Александрович, дымя, как всегда, папиросой, пристально рассматривал какие-то бумаги. Увидев меня, он устало откинулся на спинку кресла и привычным жестом поправил пенсне. Вид у него был до крайности утомленный, но голос звучал бодро, энергично:

— Ну-с, Павел Дмитриевич, новости серьезные. Кажется, мы таки нащупали военную организацию «Национального центра». И знаешь, где? В школе маскировки.

— У Сучковых?..

— Да, да, не удивляйся. Именно у Сучковых, в школе военной маскировки.

Школу военной маскировки я знал превосходно. Помещалась она в Кунцево, по соседству с дачей, на которой жил прошлым летом Яков Михайлович с семьей, куда часто ездили Аванесов, Ярославский, другие товарищи.

Инициаторами создания школы были офицеры военного времени братья Сучковы, незаурядные специалисты в области военной маскировки. Казались они людьми вполне лояльными, советскими, подлинными энтузиастами своего дела. Один из них — начальник школы — даже был принят в прошлом году в партию. Братья Сучковы при жизни Якова Михайловича неоднократно бывали у него на даче, ходили они иногда и в Кремль, и с обоими я был знаком.

Остроумные, порой дерзкие и почти всегда полезные и дельные проекты Сучковых нередко увлекали Николая Ильича, и Подвойский охотно помогал школе.

Неужели же эти самые Сучковы оказались такими негодьями, впутались в белогвардейский заговор? А комиссар школы, тот что же? Просто шляпа! Уж он-то обязан был заметить, выяснить, разобраться. Впрочем, комиссар этот производил впечатление человека, весьма легкомысленного. У него был роман с сотрудницей Управления делами Совнаркома Озеревской, интересной женщиной лет двадцати восьми — тридцати.

Озеревская жила в Кремле. Муж ее, военный работник, постоянно бывал в разъездах, и Озеревская частенько в его отсутствие обращалась ко мне с просьбой выдать пропуск в Кремль ее знакомому — это как раз и был комиссар школы военной маскировки.

Между тем Варлам Александрович подробно рассказал мне о событиях минувшего дня.

Дело, оказывается, обстояло так. В это утро в Кунцево, в школу военной маскировки, поехала пожилая женщина — инструктор Московского комитета партии — с целью ознакомиться с постановкой партийной работы. Была она там впервые, никого, кроме комиссара, в школе не знала, и ее никто из сотрудников школы и курсантов не знал.

Когда она приехала, комиссара на месте не оказалось, он куда-то ненадолго вышел. Она решила подождать, так как не хотела начинать работу, не побеседовав с комиссаром школы. Ждать пришлось в пустом, полутемном коридоре. От нечего делать она начала читать вывешенные на доске объявлений приказы и распоряжения по школе, с трудом разбирая расплывавшиеся в полумраке строки.

Возле того места, где она стояла, коридор под прямым углом поворачивал вправо, и видеть, что делалось за углом, она не могла, но слышала все. В то же время и ее из-за угла не было видно.

Она успела уже два раза прочесть немногочисленные приказы и подумала было отправиться сама на поиски комиссара, как послышались чьи-то шаги и голоса. Сначала она не обратила на это внимания, мало ли кто ходил мимо и разговаривал, но шаги приближались, собеседники

остановились как раз за углом, поблизости от нее, видимо закуривая, и она невольно прислушалась. Судя по голосам, беседовали трое. Говорили они негромко, некоторые слова терялись, но и то, что она слышала, ее потрясло.

Разговор был примерно таков:

— А ты уверен, что не передумают?

— Нет, все решено окончательно. Повторяю: выступаем через неделю. Да и нельзя тянуть, наши того и жди будут под Москвой. Пора ударить отсюда.

— Эх, и ударим! Эх, ударим...

Чиркнула спичка, другая. Раздалась короткая грубая брань. Уже громче прозвучал голос:

— Спички шведские, головки советские. Пять минут вонь, одну — огонь.

Собеседники вышли из-за угла. Их было действительно трое. Заметив незнакомую женщину, они на мгновение остановились, но женщина так пристально разглядывала приказы, столько в ее фигуре было глубокого безразличия ко всему окружающему, что они, молча переглянувшись, быстро прошли мимо.

Тогда представительница Московского комитета не спеша последовала за ними. Она умела достаточно хорошо владеть собой и прекрасно понимала, насколько важно выяснить, кто именно вел разговор, свидетелем которого она невольно стала.

К ее счастью, собеседники вошли в канцелярию, находившуюся в противоположном конце коридора. Побыв там две-три минуты, они вышли и направились на улицу.

Не теряя времени, она зашла в канцелярию, сказала, что больше комиссара ждать не будет, некогда, заедет, мол, завтра, и, между прочим, выяснила фамилии «симпатичных курсантов», заходивших сюда только что. Затем отправилась в Москву, в ВЧК, прямо к Дзержинскому...

— Завтра с утра, — закончил Варлам Александрович свой рассказ, — мы их возьмем. Постараемся сделать это тихо, без шума. Но все равно через день-два об аресте станет известно. Придется тогда, по-видимому, курсантов разоружить, школу расформировать. Но тут вот какое дело. Как ты знаешь, в Кусково имеется другая военная школа. Курсанты там, как и в кунцевской школе маскировки, больше из бывших юнкеров и гимназистов. Надо полагать, что и они замешаны в этой истории. Школы-то, что кунцевская, что кусковская, друг друга стоят. Придется, как видно, разоружать и ту и другую. Ну, кунцевскую-то школу мы хорошо знаем, а вот в Кусково надо провести разведку: досмотреть, как школа расположена, каковы подходы, где хранится оружие. Советовались мы сегодня с Феликсом Эдмундовичем и решили поручить разведку тебе. Тут требуется глаз опытный, наметанный.

— Я готов хоть сейчас...

— Сейчас-то, пожалуй, не к чему, надо с утра, только не вздумай ехать в таком виде, — Варлам Александрович кивнул на мою матросскую форменку, — всех перебулгачишь. Оденься в штатское. Найдется?

— Найду.

— Поедешь, ну, что ли, под видом инспектора по библиотечному делу, проверять библиотеку. Подойдет?

— Попробую.

— Попробуй. Завтра с утра зайди ко мне, заготовим мандат от Наркомпроса, и двигай.

Наутро, снабженный аршинным мандатом, из которого явствовало, что «предъявитель сего Павел Дмитриевич Марков действительно является инспектором Библиотечного отдела Наркомпроса РСФСР и ему поручается ознакомиться с работой библиотеки Военной школы в Кусково», я выехал на место.

Добирался я до Кусково, конечно, на своей машине. Пятнадцать — двадцать километров было по тем временам, при тех средствах сообщения, расстоянием нешуточным. Однако, не доезжая с километр до места, я из предосторожности вылез из машины и пошел пешком. Не мог же, в самом деле, скромный инспектор Наркомпроса явиться в школу на новехоньком «Паккарде»!

Встретили меня в школе по меньшей мере неприветливо: кто такой, зачем? Причем здесь Наркомпрос? Мы учреждение военное, Наркомпрос нам не указ, поворачивай оглобли!

Я старался и так и сяк. Вы, мол, люди военные, у вас свое начальство. Я не военный, но начальство тоже есть, свое, не выполню распоряжения, попадет на орехи. И я многозначительно махал в воздухе своим мандатом. Наконец уломал какой-то чин в канцелярии и получил разрешение осмотреть библиотеку.

В библиотеке я проболтался часа два: беседовал с библиотекарями, листал каталоги, присматривался к читателям — курсантам школы^[1]. Ничего подобного тому, что услышала вчера инструктор МК в Кунцево, я не слышал. Впрочем, на это я и не рассчитывал, зато общее впечатление о школе и ее слушателях получил исчерпывающее.

Курсанты кусковской школы, будущие красные офицеры, ничем не напоминали тех курсантов, которых я превосходно знал, — кремлевских. И своей выправкой и дисциплиной кремлевцы выгодно отличались от здешних курсантов. Они были куда подтянутее, значительно больше походили на кадровых военных, чем слушатели военной школы в Кусково. Но основная разница была не в этом, не военная выправка бросалась в глаза. Там, в Кремле, были рабочие и крестьяне. Простой, открытый, мужественный народ. Здесь — хлыщи, лощеные, манерничающие барские сынки. Как они разговаривали с библиотекарями! Презрительно, сквозь зубы. Наблюдая эту картину, я еле сдерживался. Кулаки так и чесались. За два года Советской власти мы уже поотвыкли от этой барской мерзости.

А их язык! Ни дать ни взять старорежимное офицерское собрание. То и дело звучали французские слова и целые фразы, друг к другу они не обращались иначе, как «господа», упоминая о женщинах, говорили «дамы». Через какой-нибудь час-полтора я был сыт впечатлениями по горло.

В самом деле, думалось, где, как не здесь, зародиться белогвардейскому заговору? И кто только комплектует эти школы, кто за ними следит? Доверили небось это дело военным специалистам, а те и стараются по-своему.

Караульная служба в школе была поставлена из рук вон плохо. Покончив с библиотекой, я беспрепятственно обошел все здание, разыскал места хранения оружия, изучил расположение постов. Потратив еще некоторое время на осмотр прилегавшего к школе парка и определив наилучшие пути подхода, я вернулся в Кремль и доложил Аванесову о результатах поездки. На этом моя миссия в Кусково окончилась.

Тем временем ЧК распутывала все новые и новые нити заговора.

Едва я успел вернуться из Кусково, как позвонил Дзержинский:

— В Кремле на курсах есть два преподавателя: один — строевик, бывший капитан; другой — инструктор по тактике, из генштабистов.

— Знаю таких.

— Тем лучше. Обоих немедленно арестуйте и препроводите в ЧК.

— Слушаю.

Положив трубку, я велел вызвать сначала капитана. Через несколько минут ко мне в кабинет вошел высокий худощавый блондин, с умным, энергичным лицом. Сделав несколько шагов от порога, он вытянулся и четко отрапортовал:

— Явился по вашему приказанию.

Выправка у него была превосходная. Сразу чувствовался опытный кадровик, настоящий командир. От всей его подтянутой фигуры так и веяло силой, мужеством. Такого жаль. И чего вязывается? Впрочем, сам виноват...

Не повышая голоса, я спокойно произнес:

— Сдайте оружие. Вы арестованы.

Ни один мускул не дрогнул на его лице, только щеки вдруг залила смертельная бледность. Он молча отстегнул наган и протянул его мне рукояткой вперед. Затем, также молча, сделал два шага назад и застыл в положении «смирно».

Я вызвал ожидавших за дверью курсантов, и капитана увели.

Спустя некоторое время явился второй — генштабист. Когда объявил, что он арестован, руки у него затряслись, губы задрожали:

— Товарищ комендант, пощадите. Ради Христа. Все скажу. Ей-богу, сам скажу. Я не виноват, запутали...

Этот был противен. Он лгал, изворачивался, подличал. Мерзость, а не человек. Прошло еще дня три, и меня вызвал к себе Дзержинский.

— Готовь людей. Сегодня в ночь приступаем к разоружению «Национального центра».

— Сколько надо, Феликс Эдмундович?

— Дашь человек сто. Хватит.

Я было собрался сам вести курсантов, но Феликс Эдмундович категорически запретил:

— Твое место сейчас в Кремле. Пока операцию не кончим, никуда ни на шаг. Ясно?

Как ни досадно было сидеть в такой момент в комендатуре, спорить не приходилось. Впрочем, вся операция прошла на редкость гладко, без сучка и задоринки. Никто из заговорщиков серьезного сопротивления не оказал. Военные школы были разоружены без единого выстрела, активные участники заговора из числа слушателей и преподавателей школ арестованы. В ту же ночь чекисты арестовали всю головку военно-повстанческой организации вместе с ее руководителем полковником Ступиным.

У полковника Ступина изъяли при обыске ряд документов, полностью раскрывавших контрреволюционные планы заговорщиков. Были обнаружены, в частности, проекты приказов о выступлении и воззваний к населению, написанные Ступиным совместно со Щепкиным. Нашли и оперативную схему мятежа. Аванесов велел потом самому Ступину перенести ее на кальку и как-то показывать мне.

Выступая в конце сентября на Московской общегородской партийной конференции, Дзержинский докладывал: «... в результате усиленной работы нам удалось открыть не только главарей, но ликвидировать всю организацию, возглавляемую знаменитым «Национальным центром». Председатель «Национального центра» Щепкин был захвачен, когда принимал донесение от посла Деникина... Затем мы напали на след военной организации, состоящей в

связи с «Национальным центром», но имевшей свой собственный штаб добровольческой армии Московского района. Этот военный заговор также удалось ликвидировать. Арестовано около 700 человек».

Как только заговорщики оказались за решеткой, они начали поспешно выдавать друг друга, боясь опоздать, не успеть за своими сообщниками.

— Слюнтяи! — говорил презрительно о них Аванесов. — Мало того, что мерзавцы, еще и слюнтяи, ничтожества. Никаких принципов, никаких убеждений. Топят один другого с головой, изворачиваются, наговаривают друг на друга, лишь бы спасти собственную шкуру.

«Национальный центр» намеревался осуществить вооруженный переворот в середине сентября 1919 года, в тот момент, когда Деникин собирался предпринять форсированное наступление на Москву, Юденич — на Петроград.

Участники контрреволюционной военной организации, которые, как оказалось, регулярно получали жалованье (вот куда шли деньги, поступавшие от англичан, французов и прочих «союзников», от Колчака и Деникина!), должны были встать во главе ударных отрядов. У них уже были намечены командиры рот, батарей, полков, даже дивизий. Только ни дивизий, ни полков, ни даже рот не было.

Заговорщики предполагали начать выступление в Вешняках, Кунцево и Волоколамске, отвлечь туда силы, а затем уже поднять восстание в самом городе. Штаб мятежников разбил Москву по Садовому кольцу на секторы. В первую очередь предполагалось захватить Садовое кольцо, установить по кольцу пулеметы и артиллерию, устроить баррикады, чтобы изолировать центр от районов и повести наступление на Кремль. Все это было наглядно изображено на схеме, составленной Ступиным.

«Национальному центру» и военно-повстанческой организации не удалось осуществить свои замыслы. 23 сентября 1919 года в газетах было опубликовано обращение ВЧК «Ко всем гражданам Советской России».

«Всероссийская Чрезвычайная Комиссия, — говорилось в обращении, — разгромила врагов рабочих и крестьян еще раз. В то время как Советская Республика билась на всех фронтах, обложенная и с суши и с моря ратью бесчисленных врагов, предатели народа, наемники иностранного капитала в тылу точили уже свой нож людоеда, чтобы зарезать пролетариат, напав на него врасплох сзади... Притаившись, как кровожадные пауки, они расставляли свои сети повсюду, начиная с Красной Армии и кончая университетом и школой...

Сейчас, когда орды Деникина пытаются прорваться к центру Советской России, шпионы Антанты и казацкого генерала готовили восстание в Москве. Как в свое время на Петербургском фронте они сдали Красную Горку и чуть было не сдали Кронштадт и Питер, так теперь они пытались открыть врагу ворота на Москву. Они очень торопились, эти негодяи. Они даже подготовили «органы власти» на случай своего успеха, и их продавшийся англичанам «Национальный центр» должен был бы вынырнуть на поверхность, как только генеральская заговорщическая организация взяла бы Москву.

Но изменники и шпионы просчитались! Их схватила за шиворот рука революционного пролетариата и сбросила в пропасть, откуда нет возврата».

Взрыв в Леонтьевском переулке

25 сентября 1919 года в помещении Московского комитета РКП (б), в Леонтьевском переулке, собрался московский партийный актив. Заседание открыл секретарь МК РКП (б) Владимир Михайлович Загорский. Первым был заслушан доклад одного из руководителей московских большевиков в 1917 году, старейшего члена партии, заместителя Народного комиссара просвещения, крупного советского ученого-историка Михаила Николаевича Покровского о вражеской деятельности и ликвидации «Национального центра».

Я был на заседании актива. Когда Покровский закончил доклад и актив перешел к очередным делам, мне пришлось уйти. Надо было возвращаться в Кремль, сегодня же решить ряд срочных вопросов.

Когда я вышел из здания МК, уже стемнело, наступил вечер. Разыскав в темноте свою машину (уличные фонари не горели, переулок освещался слабым светом, падавшим из окон близлежащих домов), стоявшую невдалеке, я уселся на переднее сиденье. Шофер вылез и принялся ожесточенно крутить заводную рукоятку. Машина, открытый «Паккард», как назло, не заводилась.

Я собрался было выйти из машины и помочь шоферу, как вдруг блеснула ослепительная вспышка и вечернюю тишину рванул оглушительный грохот. Из окон соседних домов с дребезгом посыпались стекла.

Ничего еще не соображая, не поняв еще толком, что произошло, я рывком махнул через дверцу машины и кинулся к зданию МК, откуда вышел всего несколько минут назад, где остались мои товарищи, мои боевые друзья, актив московской партийной организации большевиков...

Ни в одном из окон Московского комитета РКП (б) свет не горел. Да и были ли окна, был ли дом?.. В сгустившемся внезапно мраке передо мной высилась страшная, изуродованная стена, зиявшая пустыми глазницами выбитых окон. На голову, на плечи оседало густое облако кирпичной пыли, трудно было дышать, под ногами хрустело стекло. Из глубины дома неслись приглушенные стоны, крики о помощи, чьи-то рыдания...

Я попытался проникнуть в здание — тщетно. Вход засыпало, ничего в темноте нельзя было разобрать. Тогда я бросился к машине. Шофер, дрожа, сидел за рулем. Мотор работал. Когда он его завел, ума не приложу. Я велел ему мчаться в Моссовет — ведь рядом! — позвонить в ЧК Дзержинскому, в Кремль, вызвать пожарных и скорее возвращаться назад, а сам побежал в ближайший дом в надежде раздобыть хоть какую-нибудь лампу.

Между тем безлюдный до того переулок ожил. Со всех сторон раздавались голоса, неистово хлопали двери соседних домов, по тротуарам, по мостовой к месту катастрофы бежали десятки людей.

Я торопился, медлить было нельзя. Кто знает, не скрываются ли в густевшей толпе преступники, совершившие злодеяние, не готовят ли они новый удар, стремясь добить тех, кто чудом уцелел в полуразрушенном здании Московского комитета?

Ворвавшись в первую попавшуюся квартиру, я крикнул:

— Лампу, скорее дайте лампу! Какая-то старушка, открывшая мне дверь, на мгновение застыла от ужаса, затем спохватилась, поспешно засеменила в одну из комнат и через минуту вернулась, неся керосиновую лампу. Я тут же ее зажег и выскочил на улицу.

Расталкивая встречных, я подбежал к зданию МК. Вновь сунулся к дверному тамбуру, быстро прошел вдоль стены. Нет, света моей лампы было недостаточно, пробраться внутрь здания не было возможности. А оттуда все неслись и неслись стоны и крики, и я ничем, ровно ничем не мог помочь.

К, счастью, в этот момент в конце переулка замаячили фары стремительно мчавшейся машины, второй, третьей... Оглушительно рывкнул сигнал, заскрежетали тормоза. Из первой машины выскочил председатель МЧК Манцев, за ним еще люди, еще. Со стороны Тверской раздался топот множества бегущих людей. К месту катастрофы мчались бегом, прямо с заседания, члены пленума Московского Совета, все в полном составе.

Замелькали огни карманных фонариков. Как на штурм, кидались к дому, карабкались друг другу на плечи, лезли в окна члены Моссовета, чекисты, добровольцы. Большая группа рассыпалась по переулку в цепь, оттесняя любопытных, охватывая кольцом дом, квартал.

Вдалеке пронзительно взвыли сирены. Все ближе, ближе, и вот уже несутся по переулку огромные пожарные машины. Десятки пожарников, с ярко пылающими факелами в руках с ходу устремляются в развалины.

Закипела бешеная работа. Чекисты, пожарники разбирали обрушившиеся балки, стены, извлекая из-под обломков жертвы ужасного преступления. Одних несут на руках, другим помогают идти, третьи, освободившись из-под развалин, идут сами. Их много, очень много. Ведь на активе присутствовало свыше ста человек, лучшие из московских большевиков.

Вот, тяжело опираясь о плечо рослого пожарника, прихрамывая, шагает Михаил Степанович Ольминский.

Под руки ведут раненого Мясникова. Бодрится и пытается вмешаться в общую работу легко раненный Емельян Ярославский... Живы, живы товарищи, целы! А где же Загорский, где Владимир Михайлович? Его нет. Нет среди живых, нет среди мертвых. Нашли Загорского только некоторое время спустя, а на следующий день выяснились подробности гибели секретаря Московского комитета партии большевиков Владимира Михайловича Загорского.

...Александр Федорович Мясников, председательствовавший на собрании, только что предоставил слово очередному оратору, как в окне, выходившем в небольшой сад, с треском лопнуло стекло и в гущу собравшихся грохнулась, шипя и дымя, большая бомба. Все на мгновение оцепенели, затем шарахнулись к двери, давя и толкая друг друга. Моментально образовалась пробка.

В этот момент прозвучал спокойный, решительный голос Загорского:

— Спокойно, товарищи, спокойно. Ничего особенного не случилось. Сейчас мы выясним, в чем дело...

Загорский стремительно встал, вышел из-за стола президиума и уверенно, твердыми шагами направился к дымящемуся чудовищу. При звуках его голоса суэта и давка прекратились, восстановился порядок. Многие успели выйти в дверь, другие отодвинулись подальше, а он шел в мертвой тишине, решительный и неустрашимый, прямо на бомбу.

Все это заняло считанные секунды. Загорского отделяло от бомбы пять шагов, три, два... Он протянул руку, стремясь вышвырнуть за окно шипящую смерть, уберечь товарищей от страшной гибели, и тут грохнул взрыв...

Почти никто из находившихся в президиуме не пострадал, ведь стол президиума стоял в отдалении от места падения бомбы, а Загорский... Труп Загорского опознали лишь через несколько часов после взрыва. Он был изуродован больше, чем какой-либо другой.

Владимир Михайлович Загорский был на редкость обаятельным, мужественным человеком, закаленным революционером, большевиком. Он был совсем молод, ему едва исполнилось 36 лет, из них восемнадцать он отдал партии, вступив в ее ряды еще в 1901 году. За плечами у него были тюрьмы, ссылки, каторга, годы вынужденной эмиграции после одного из удачных побегов...

Загорский приехал в Москву в 1918 году и вскоре был избран секретарем МК. Я его чаще всего встречал у Якова Михайловича, с которым Загорский был очень дружен еще с давних времен, с мальчишеских лет.

...Я и не заметил в горячке, когда приехал Феликс Эдмундович, всего вернее одним из первых, когда я вместе с другими разгребал развалины. Мы извлекли из-под обломков девять трупов, еще трое вскоре умерли от ран. Двенадцать человек было убито, погибло двенадцать большевиков: Загорский, Игнатова, Сафонов, Титов, Волкова... Пятьдесят пять человек было ранено, многие — серьезно.

Сразу по прибытии на место Феликс Эдмундович возглавил работы по спасению жертв катастрофы и одновременно начал расследование обстоятельств злодейского преступления. В сопровождении группы чекистов он тщательно обследовал садик, прилегавший к зданию МК со стороны Большого Чернышевского переулка, осмотрел все вокруг. Постепенно восстанавливалась вся картина.

Преступники, как видно, хорошо знали обстановку. Они проникли в сад через небольшую калитку, которая обычно была заперта, предварительно взломав замок. Очутившись в саду, террористы метнули бомбу именно в то окно, против которого сидело больше всего народу, и поспешно скрылись. Бомбу они изготовили сами, начинив ее взрывчаткой страшной разрушительной силы.

Все это выяснилось, но кто подготовил взрыв, кто совершил это чудовищное злодеяние, кто повинен в гибели наших товарищей — ответа на эти вопросы пока не было. Правда, кое-какие факты говорили о многом. Не вызывало сомнения, что преступники неоднократно бывали в здании до взрыва, отлично знали дом, знали расположение комнат. Иначе чем объяснить, что бомба так точно была брошена?

Бывший особняк графини Уваровой, где помещался в 1919 году Московский комитет большевиков, ранее, в 1918 году, занимали ЦК и МК левых эсеров. Кто же, как не они, мог в совершенстве знать дом? Не среди ли левых эсеров следовало искать преступников? Так и поступила ЧК.

Вскоре было установлено, что одним из организаторов взрыва в Леонтьевском переулке является бывший член ЦК левых эсеров, активный участник левозероэсеровского мятежа Донат Черепанов.

Шаг за шагом распутывали чекисты зловещий клубок. Оказалось, что взрыв был осуществлен преступной бандой так называемых «анархистов подполья», насчитывавшей около тридцати человек, занимавшихся грабежами, политическим бандитизмом, распространением антисоветских листовок. Были в составе банды и два меньшевика, а направлял ее борьбу против Советской власти эсер Черепанов.

Спустя некоторое время после взрыва вся банда была выявлена и ликвидирована.

Жизнь между тем шла своим чередом, каждый день выдвигая все новые вопросы, ставя новые задачи. Гибель товарищей вызывала не растерянность, не уныние, а стремление работать еще плодотворнее, еще больше на благо общего дела, которому отдали свою жизнь товарищи, друзья, еще крепче защищать завоевания пролетарской революции. Врагов революции, пытавшихся организовать в Москве заговоры и мятежи, неизменно настигала суровая кара, со многими контрреволюционерами было покончено, но до полного разгрома белогвардейцев и интервентов было еще далеко, еще всю пылало пламя Гражданской войны.

В эти дни, осенью 1919 года, рвался к Москве Деникин. Белые захватили Курск, взяли Орел, подступали к Туле. Московская партийная организация объявила мобилизацию коммунистов на фронт. Становились под ружье коммунисты Питера, Иваново-Вознесенска, Тиери, Саратова, Симбирска... Сотни и тысячи коммунистов вливались в Красную Армию, цементируя и сплавивая ее ряды, увлекая бойцов личным примером, закладывая основы грядущей победы.

Вызвал меня как-то Николай Ильич Подвойский и предложил, чтобы я выделил сто человек курсантов на фронт. Я запротестовал. Не могу, говорю, мне тогда Кремль не с кем будет охранять... Подвойский, однако, настаивал, и я решил обратиться к Владимиру Ильичу. Выслушав мою жалобу, Ильич глянул на меня и покачал головой:

— Эх вы, чудака-человек! Конечно, надо курсантов дать. Сейчас фронт — главное. Если белые дойдут до Москвы, Кремль поздно будет защищать, да и незачем. Нас с вами тогда рядом на телеграфных столбах повесят. Непременно.

Ильич на минуту задумался. Потом хитро улыбнулся, поманил меня пальцем и вполголоса, тоном заговорщика произнес:

— А знаете, батенька, что я думаю? Ведь контрреволюционерам-то у нас внутри, в Москве, Питере, по всей стране, все труднее становится. Народ против них стеной идет. Да и основные кадры заговорщиков мы повыбили, а где же им новых, таких же матерых взять? Негде! Не в ту сторону жизнь идет! Остались, конечно, враги, и не мало. Будут нам пакостить и дальше, но чем дальше, тем меньше их будет.

Глядишь, скоро сможем отказаться от крайних мер, будем все решительнее водворять законность. Думаю, что и Кремлю теперь не угрожает такая опасность, как прежде, а скоро, очень скоро никакая опасность не будет угрожать Кремлю. Так-то.

Владимир Ильич встал, вышел из-за стола, несколько раз прошелся по кабинету, остановился возле окна. Потом повернулся ко мне:

— Был тут у меня вчера один товарищ, весьма ответственный. Трудно, говорит, тяжело. Что-то дальше будет, удержимся ли? Смотришь на него, слушаешь и диву даешься: до чего же у человека нервы расшалились! Трудно, конечно, и впереди тяжелого немало, только разве в этом главное? Главное в том, что каждый день, каждый час миллионы рабочих и крестьян на собственном опыте убеждаются в нашей правоте, и этот опыт — лучший учитель большевизму. Буржуазия старается затемнить сознание трудящихся силой и обманом, но все ее труды разлетаются, как карточный домик, перед растущим сознанием пролетариата и беднейшего крестьянства, и в этом вернейший залог нашей неминуемой победы.

Я молча стоял и как зачарованный слушаю Ленина.

...Прошло столько лет! За окном шумит жизнерадостная, веселая, бодрая Москва. Бесконечным потоком идут по просторным улицам люди, не знающие нищеты и угнетения, хозяева собственной жизни, своего города, своей страны. Пронесются тысячи автомобилей, сделанных на наших, советских заводах. Гудят под землей поезда метро, сделанные нашими руками. Высоко в небе реют чудесные воздушные корабли, равных которым нет в мире, — плод вдохновенного труда наших, советских конструкторов, инженеров, рабочих. А еще выше, в безбрежном эфире, бороздят космос наши, советские спутники Земли. Хорошо жить на свете!

1955–1960 гг.

Москва.

Примечания

{1} В царской армии и на флоте, когда несколько офицеров одного подразделения или соединения носили одну и ту же фамилию к ней добавлялся порядковый номер: Иванов 7-й, Петров 4-й, Васильев 2-й и т. д.

{2} «Аврора», закончив ремонт, швартовалась у причалов Франко-Русского завода, недалеко от устья Невы.

{3} «Известия», 6 ноября 1918 г., № 243.

{4} Военно-революционный комитет. — Ред.

{5} «Правда», 6–7 октября 1921 г., № 251. Как известно, к окружению Зимнего практически приступили около 4 часов дня 25 октября 1917 года. — ред

{6} Во ВЦИК и в ряде правительственных учреждений, в частности в ВЧК, левые эсеры остались.

{7} Звонки в большинстве московских квартир не работали.

{8} По распоряжению Ильича на посту у его квартиры был поставлен стул, и часовые могли сидеть во время дежурства.

{9} Я сидел рядом с Петерсом, возле края стола, прямо напротив задержанной.

{10} Кстати, мне за последнее время приходилось встречать всякую писанину, где Берзина изображают предателем, пособником Локкарта и т. д. и т. п. Все это — выдумка невежественных людей, взявшихся писать о том, о чем они не имеют никакого понятия. Берзин — честный советский командир, мужественно выполнивший ответственнейшее поручение и сыгравший выдающуюся роль в раскрытии заговора Локкарта.

{11} Надо сказать, их было не очень много. Книги, как видно, мало интересовали обитателей Кусково.